



ИСТПАРТ ОТДЕЛ ЦК РКП (б.) ПО ИЗУЧЕНИЮ
ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И РКП (б.)

Ф. Ф. РАСКОЛЬНИКОВ

КРОНШТАДТ И ПИТЕР
в 1917 году



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ОТДЕЛ ЦК РКП(б) ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ и РКП(б) (ИСТПАРТ)

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДАНИЙ.

Хроника революции.

	р.	к.
Авдеев, Н. Революция 1917 года, т. I (январь—апрель). 2-е издание	1	40
" " " т. II (апрель—май)	2	50
Владимирова, В. Революция 1917 года, т. III (июнь—июль)	3	—
" " " т. IV (июль—сентябрь)	3	50
Мансаков, В. и Нелидов, Н. Хроника революции. Вып. I	—	50
Революция и РКП в материалах и документах, т. I (1861—1899)	3	50
" " " " т. II (1900—1904)	3	50
" " " " т. III (1905)	3	75
" " " " т. V (1907—1911)	—	—
" " " " т. VI (1912—1914)	3	25
" " " " т. VII (1914—1916)	2	50

Сборники, статьи и исторические исследования.

	р.	к.
Аркомед, С. Рабочее движение и с.-д. на Кавказе	—	50
Из эпохи „Звезды" к „Правды". (1911—1914 г.г.). Сборник I	—	30
" " " " " " " " II	—	40
" " " " " " " " III	1	35
Невский, В. Николаевский Южно-Русский Рабочий Союз	—	25
Ольминский, М. Из прошлого. Сборник статей	—	25
Шляпников, А. Канун 17 года. Часть 1-я (2-е издание)	—	60
" " " " 2-я (3-е издание)	—	85
Шляпников, А. 17-й год. Книга 1-я (4-е издание)	—	80
Лелевич, Г. В дни Самарской учредилки	—	6
" Стрекопытовщина (2-е издание)	—	60
Свечников, С. Революция и гражданская война в Финляндии	1	—
Пионтковский, С. Октябрьская революция, ее предпосылки и ход. 2-е издание	—	50
20 лет рабочей организации в городах Муроме, Кулебаке, Выксе и других. Сборник	1	50
Волков, Е. Революционное движение среди черноморских моряков	1	50
Владимирова, В. Контр-революция в 1917 г. Изд. „Красная Новь"	—	—

Биографии, автобиографии и мемуары.

	р.	к.
Сборник воспоминаний о Н. Е. Федосееве	—	40
Старый товарищ А. П. Скляренко. 1870—1916 г.г.	—	35
Рябинин, А. Семенчиков, Р. П. (Из истории рабочего движения в Иваново-Вознесенске.)	—	20
Александрова, Н. Артем	—	50
Фурманов, Д. Чапаев. 3-е издание. С предисловием А. Луначарского	1	25
От группы Благоева к Союзу Борьбы. (1885—1894 г.г.) Сб., ч. 1-я	—	20
Шаповалов, А. И. По дороге к марксизму (воспоминания рабочего революционера). Ч. 1-я и 2-я (2-е издание)	1	25
Фишер, А. В Англии и России. (Воспоминания.)	—	20
Лепешинский, П. Н. На повороте. Воспоминания (1890—1905 г.г.)	—	70
Самойлов, Ф. Н. Воспоминания об Иваново-Вознесенском рабочем движении (1903—1905 г.г.), ч. 1-я. 2-е издание	—	60
Его же. Воспоминания об Иваново-Вознесенском рабочем движении (1906—1911 г.г.), ч. 2-я	1	—
Его же. Воспоминания, ч. 3-я	—	85
Сверчков, Д. На заре революции. Воспоминания (1903—1905 г.г.)	—	60
Волков, Е. Христо Ботев	1	80
Новиков, В. Воспоминания подпольщика (1900—1913 г.г.)	—	60
Моисеенко, П. А. (1873—1923 г.г.) Воспоминания	1	—

„Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

ИСТПАРТ

ОТДЕЛ ЦК РКП (Б.) ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И РКП (Б.)

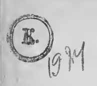
Ф. Ф. Раскольников

КРОНШТАДТ И ПИТЕР
в 1917 году

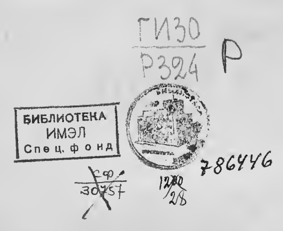


ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД









Гиз № 8255. Главлит № 28730. Напеч. 7000 экз.

1-я Образцовая типография Госиздата. Москва, Пятницкая 71.

I. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

1. ФЕВРАЛЬСКИЕ ДНИ.

Февральская революция застала меня в Отдельных Гардемаринских Классах. Нельзя сказать, чтобы она пришла неожиданно. Не говоря уже о профессиональных революционерах, которые явственно чувствовали глухие подземные толчки революции, даже среди моих случайных коллег, учеников «привилегированной» морской школы, в последнее время все чаще слышались разговоры на тему о неизбежном вооруженном восстании и о возможной победе восставших.

Конечно, юные гардемарины, получившие доступ в кастовую морскую среду лишь благодаря своему дворянскому происхождению, рассматривали себя, как сословие «белой кости», предназначенное для наслаждения благами мира. Эти безусые «дворянчики», отражавшие в своих тревожных беседах настроения дворянских салонов, не имели оснований ликовать в предчувствии бури.

«Сегодня женский день, — промелькнуло у меня в голове утром 23 февраля. — Будет ли сегодня что-нибудь на улице?» Как оказалось, «женскому дню» суждено было стать первым днем революции. Женщины-работницы, выведенные из себя тяжелыми условиями жизни, терзаемые муками голода, первые вышли на улицу, требуя «хлеба, свободы, мира».

В этот день, запертые в своем интернате, мы могли видеть из окон совершенно необычайную картину. Трамваи не ходили, что придавало улицам несвойственный им пустынный и тихий вид. Но на углу Большого Проспекта и Гаваньской улицы беспрерывно собирались группы работниц. Конные городовые пытались их разго-

нять, грубо расталкивая мордами лошадей и ударяя их плашмя обнаженными шашками. Когда царские опричники въезжали на панель, тогда толпа, не теряя спокойствия, временно расступалась, осыпая их градом проклятий и угроз; но как только полицейские всадники отступали обратно на мостовую, толпа снова смыкалась в сплошную массу. В некоторых группах были заметны мужчины, но преобладающее большинство этих кучек составляли женщины-работницы и жены рабочих.

В субботу 25 февраля, когда я пошел в отпуск, трамваи не ходили. На Васильевском острове все казалось обычным. Мирные обыватели с повседневной суетливостью сновали по улицам. Доверху нагруженные телеги тяжеловесно громыхали по булыжным мостовым.

Но когда мы вышли на Невский, то первое, что бросилось в глаза, это—несметные толпы народа, собравшиеся у Казанского собора. Когда мы с гардемарином В. прошли Большую Конюшенную и хотели итти по Невскому дальше, конные и пешие городовые грубо преградили нам путь и заставили свернуть в одну из боковых улиц. Дальше, от колонн Казанского собора до дома Зингера, во всю ширину Невского проспекта, растянулась многоголовая толпа. Она бурлила, роптала, протестовала; из ее глубины раздавались отдельные, гневно-негодующие возгласы. Против нее сплошной стеной стояла полиция, не допускавшая толпу к Адмиралтейству. Конные жандармы, с обнаженными шашками, временами с разбегу врезались в толпу, вызывая протестующие возгласы демонстрантов. На Большой Конюшенной улице мне навстречу попался отряд быстро мчавшихся броневиков. Эти движущиеся грозные коробки, со всех сторон окованные тяжелой броней, с торчащими во все стороны дулами выглядывавших изнутри пулеметов, производили жуткое впечатление каких-то мрачных разъяренных чудовищ. Резкие, тревожные и отрывистые звуки их рожков дополняли это неприятное ощущение.

Вскоре со стороны Невского послышались частые ружейные залпы... Они гулко разнеслись в февральском морозном воздухе...

На следующий день, 26 февраля, я шагал по пустынным улицам в свои ненавистные классы. Наше ротное поме-

щение имело вид вооруженного лагеря. На конторках были разложены подсумки; повсюду стояли винтовки с примкнутыми к ним штыками. Оказалось, что начальство классов вооружило всех гардемарин. Официально это мотивировалось необходимостью самозащиты на случай возможных нападений со стороны уголовных громил.

Я подошел к гардемаринам В. и Т., с которыми был наиболее дружен. Они дали мне категорическое заверение, что ни в коем случае не будут стрелять в толпу, а все свои выстрелы направят в воздух. По боевому расписанию их места были как раз в авангарде — на улице, а я, как политически неблагонадежный в глазах начальства, получил назначение на верхнюю площадку здания, т.-е. в самый глубокий тыл.

27-го утром у нас происходили экзамены, а вечером примыкавшие к нашему зданию Дерябинские казармы были внезапно осаждены правильной цепью вооруженных рабочих. Против них во дворе казармы прямо на снегу лежала другая цепь, состоявшая из молодых матросов, новобранцев последнего осеннего призыва. Со стороны рабочих порой выделялся один из товарищей и пытался вступить с ними в переговоры, но никакого результата пока не было видно: молодые новобранцы обладали весьма невысокой политической сознательностью.

Гардемарины столпились у окон и с интересом наблюдали происходившую на их глазах сцену. Для того, чтобы лучше видеть, в зале было потушено электричество. Наиболее экспансивные юноши принялись выражать свои чувства. Сразу стало видно, что большинство гардемарин настроено в пользу оборонявшихся новобранцев, т.-е. контр-революционно.

— Вот, сволочи! — восклицал по адресу рабочих грек Ипотиматопуло. — Вот тут бы им и всыпать как следует!

Часть товарищей, настроенных революционно и отдававших все свои симпатии наступавшим рабочим, передергиваясь от этих слов, вступила в резкий спор с Ипотиматопуло. Дипломатические переговоры между рабочими и молодыми матросами продолжались до позднего часа, пока, наконец, рабочие не заявили, что они дают на раздумье матросов целую ночь, а на утро явятся снова. Никакой перестрелки между обеими сторонами не последовало.

Однако, вскоре из города стали доноситься ружейные залпы. Было видно, что на улицах Петрограда происходит борьба. Я подошел к телефону и позвонил тов. Старку К аппарату подошла его жена. На мой вопрос о положении, создавшемся на улицах Петрограда, она ответила: «Подождите минуточку, я сейчас пойду посоветуюсь». Она не заставила себя долго ждать и вскоре вернулась со следующими словами: «Знаете, мы решили, что об этом неудобно говорить по телефону». Мне пришлось попрощаться и повесить трубку. Тем не менее, сгорая от нетерпения, я позвонил своему старому знакомому, профессору Семену Афанасьевичу Венгерову. Он, волнуясь, рассказал, что в государственной думе образовался думский комитет, что на питерских улицах уже нет ни одного городового, что по всем направлениям города разъезжают автомобили с группами вооруженных рабочих и солдат. Из его слов было видно, что положение еще не определилось, но тем не менее, в данный момент, хозяевами положения являются революционные, антиправительственные войска. С глубоким волнением я рассказал обо всем услышанном собравшимся вокруг гардемаринам. В это же время позвонили по телефону из дому гардемарину В. и сообщили ему об убийстве городовыми на Бассейной улице его знакомой — жены присяжного поверенного И. И. Тарховского. Это была одна из первых случайных жертв чердачной засады протопоповских палачей. Несмотря на позднее время, В. срочно отправился в отпуск.

В морозной тишине февральской ночи все чаще и все слышнее раздавались ружейные выстрелы пачками и в одиночку. Борьба за свержение старого режима еще не закончилась. Вскоре к начальнику Отдельных Гардемаринских Классов позвонил по телефону командир 2-го Балтийского флотского полуэкипажа Гирс и для его сведения сообщил: «Сергей Иванович, знаете, что случилось? К зданию нашего экипажа подъехали броневики, навели на окна пулеметы,— ну, что же делать, я и сдался». Это вызвало у всех веселое настроение. Гардемарины стали обмениваться между собой впечатлениями. Здесь мне впервые бросилась в глаза та легкость, с которой многие заядлые царисты отрешились и открестились от своих старых монархических воззрений.

тотчас после первой неудачи; здесь ход идей в одно мгновение ока определился ходом вещей. — «Что же, если все пройдет безболезненно, бескровно, то это очень хорошо», проговорил поляк К., в свободное время любивший читать сочинения Адама Мицкевича. Но все-таки среди гардемарин нашлось несколько ярых монархистов, не пожелавших сдать своих позиций.

На следующее утро к зданию гардемаринских классов подошла несметная, многотысячная толпа, среди которой больше всего пестрели солдатские шинели цвета хаки. Не было видно конца-краю этой толпы, уходившей в даль Гаваньской улицы. Навстречу явившимся на подъезд вышел начальник Отдельных Гардемаринских Классов — Фролов. Толпа заявила, что она требует немедленного роспуска всех гардемарин по домам и безоговорочной выдачи огнестрельного и холодного оружия.

«Господа, это невозможно, — попробовал возражать Фролов. — У нас сейчас экзамены, гардемарины экзамены держат». — «Какие тут экзамены? — громко воскликнул кто-то из толпы. — Сейчас вся Россия экзамен держит». Такие меткие, необыкновенно удачные выражения, вырывающиеся из самой гущи толпы, и неизвестно кому принадлежащие, нередко свойственны историческим, революционным моментам.

Представители толпы тем временем храбро вошли в ротное помещение, беспрепятственно захватили винтовки и потребовали ключи от цейхгауза. Мичман Ежов, заведующий цейхгаузом, по обыкновению пьяный, самолично проводил их туда. В общем, все прошло чинно и мирно в отличие от морского корпуса, где черносотенно настроенные гардемарины под руководством князя Барятинского оказали вооруженное сопротивление, забаррикадировав ходы и выходы здания и открыв стрельбу с верхних этажей.

С радостным чувством покидал я затхлые казармы, чтобы присоединиться к восставшему народу.

В тот же день я пошел в Таврический дворец. Там было необычайно людно: один за другим прибывали полки, заявляя о своем присоединении к революции. Полным ходом работал отдел по снабжению продовольствием частей восставшего

гарнизона. Среди первых явившихся во дворец работников энергичное участие принимала Г. К. Суханова. Получив груды хлеба и консервов для солдат, охранявших здание ссудной кассы, которые с утра ничего не ели, я вместе с Старком повез им продовольствие.

Снаружи дворца, на улице и в сквере, стояла невообразимая толкотня. По внешнему впечатлению можно было подумать, что в распоряжении думского комитета имеются огромные силы. Однако, на самом деле, эффектно манифестировавшие революционные войска были еще настолько неорганизованы, что с ними легко могла бы справиться какая-нибудь одна, вызванная с фронта и незатронутая политической пропагандой, казачья дивизия.

Внутри, в Екатерининском зале, происходили беспрерывные митинги. Ораторской трибуной служили длинные и широкие хоры, выходящие на две стороны: на Екатерининский зал и на зал заседаний. Составлявшая большинство солдатская аудитория встречала каждого оратора единодушными возгласами: «Кто говорит? Какой партии? Как фамилия? Фамилия оратора?». Было видно, что массы вполне сознательно относились к происходившим событиям и не хотели слушать речей вслепую.

Однажды на хорах появился и, встав в ораторскую позу, начал говорить довольно пожилой, но хорошо сохранившийся мужчина в высокой светлой папахе, какую в ту пору носили военные чиновники санитарного ведомства и служащие союза земств и городов. На плечах выступавшего была накинута серая николаевская шинель. На вопросы об его имени, он громким голосом отчеканил: «Говорит член государственной думы Пуришкевич». Несмотря на одиозность имени черносотенного депутата, толпа ему все же позволила говорить.

«Правительство, оказавшееся неспособным справиться с разрухой, в настоящее время свергнуто», начал свою речь Пуришкевич. Короткий смысл длинной речи этого зубра сводился к тому, что он тоже присоединяется к Февральской революции. В середине его речи неожиданно раздался выстрел: у одного из солдат нечаянно разрядилась винтовка. Пуришкевич продолжал свою речь и благополучно довел ее до конца. Настроение солдат тогда было праздничное,

и одного голословного заявления Пуришкевича о разрыве с поверженным строем, который на самом деле он неустанно защищал до последнего дня своей жизни, было достаточно, чтобы даже он удостоился рукоплесканий.

В тот же день с хор Екатерининского зала выступил с речью некий гражданин среднего возраста, с бритой физиономией, по внешнему виду присяжный поверенный, который, отрекомендовавшись левым кадетом, торжественно сообщил о только что принятом решении возведения на престол Алексея при установлении над ним регентства Михаила. Трудно передать, какое глубочайшее возмущение вдруг прокатилось по залу. Вместо восторженных криков «ура», на что, вероятно, рассчитывал кадетский оратор, из сотен солдатских глоток вырвался единодушный протестующий возглас: «Долой Романовых! Да здравствует демократическая республика!» Сконфуженный кадет, потрясенный неожиданным эффектом своей речи, поспешно пояснил, что он не высказывает мнения своей партии, а лишь делает информационное сообщение, а, мол, партия кадетов, будет иметь свое суждение несколько позже. Однако эта попытка выйти из неловкого положения ничуть не успокоила солдатской толпы, которая еще долго оглашала воздух проклятиями по адресу ненавистной династии. Рабочая и солдатская масса с первых же дней Февральской революции не хотела и слушать ни о чем ином, кроме республики.

В коридоре я случайно встретился с моим бывшим профессором по экономическому отделению Петроградского политехникума П. Б. Струве. Мы на ходу обмениваемся рукопожатиями, его лицо блином расплывается в торжественную улыбку, и он с радостным умилением произносит: «Какой праздник! Какой праздник!». Ему тогда казалось, что революция — это праздник на его улице.

Зарегистрировавшись в Военной Комиссии, я получил там удостоверение и специальный документ на право ношения оружия. При выходе из Таврического дворца я с большим трудом протискался через толпу, собравшуюся на тротуаре. В то время, как мостовую Шпалерной улицы занимали манифестанты, на ее тротуаре толпилась интеллигентско-буржуазная публика. В то время каждый обыватель считал своим долгом украсить грудь

пышным бантом из красного шелка или кумача. И вдруг, среди этой разношерстной толпы, я, к удивлению, различил знакомую бульдожью физиономию жандармского офицера, который в 1912 году в доме предварительного заключения, в качестве бдительного недреманного ока, присутствовал на всех свиданиях политических заключенных. На широкой груди этого толстого жандарма, уже достигшего генеральских чинов, развевался красный бант колоссальной величины. Я собирался задержать его, но людская волна подхватила меня и понесла по течению.

Тут же, на Шпалерной улице, но лишь немного дальше, ближе к Литейному, мне пришлось с тумбы или с фонаря произносить свою первую речь против кадетов, собиравшихся возвести на престол Алексея и тем самым сохранить династию, спасти самодержавие, в то время, когда рабочий класс, поддержанный переодетой в солдатские шинели крестьянской массой, восстал как один человек во имя свержения царизма.

Через несколько дней я был вызван в гардемаринские классы. Начальник классов С. И. Фролов возбужденно ходил по рекреационному залу и горячо говорил окружавшим его гардемаринам: «Я считаю, что должна быть установлена демократическая республика. Другого выхода нет. Только демократическая республика может восстановить мирное положение». — «Ого, — подумал я. — Видно, в самом деле, далеко зашла революция, если даже контр-адмиралы стали горячими поборниками демократической республики». В гардеробной несколько гардемарин вели разговор по поводу недавних кронштадтских и гельсингфорских убийств. У дверей комнаты дежурного офицера шел жаркий спор между нашим ротным командиром, лейтенантом Смирновым, и кучкой гардемарин. Последние настаивали на том, чтобы итти к Таврическому дворцу и присягнуть революции. Однако Смирнов категорически возражал: «Господа, но ведь поймите, что вр. пр-во теряет почву под ногами, между ним и Советом Раб. Деп. происходят беспрерывные трения. Сейчас уже Сов. Раб. Деп. приобретает большее влияние. Какой же смысл итти к Таврическому дворцу?». Было ясно, что эти доводы приводились им нарочно для того, чтобы сорвать предполагавшееся шествие гардемарин к Тавриче-

скому дворцу. Однако, в конце концов, ротный командир согласился и даже сам пошел вместе с гардемаринами.

Я оставался в Таврическом дворце до самого вечера. Там попрежнему происходил беспрерывный митинг. Вдруг в самый разгар ораторских выступлений на хорах Екатерининского зала появилась фигура мичмана Крайнева. «Товарищи, предыдущие ораторы бросали здесь резкие упреки по адресу офицерства, — горячо, почти крича на высоких нотах, начал свою речь Крайнев. — Но это неверно. Есть среди офицеров и такие, которые перешли на сторону народа и всей душой сочувствуют революции». В то время заявления о солидарности с революцией из уст офицеров были так редки, что Крайнева даже качали.

2. ПЕРВЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ЛЕГАЛЬНОГО ПК.

Первые легальные заседания Петербургского комитета нашей партии, прежде чем он прочно обосновался в доме Кшесинской, происходили на Кронверкском проспекте, в здании Биржи труда.

Чтобы проникнуть в помещение ПК, нужно было войти с переулка в неказистую дверь какого-то магазина, затем по пыльным лестницам подняться на самый верхний этаж, почти на чердак, и здесь пройти несколько канцелярских комнат, обильно уставленных письменными столами и словно придавленных низко нависшим потолком. В той комнате, где заседал Петербургский комитет, впервые вынесенный на простор легального существования, посредине стоял длинный деревянный стол, за которым заседали члены ПК. Немногочисленные гости обычно рассаживались на скамьях вдоль стен, как в хорошей деревенской избе.

Едва на улицах Петрограда затихла пулеметная стрельба и прекратились уличные бои, целиком поглощавшие мое время, как я тотчас же направился в ПК, этот естественный центр для каждого работника партии.

Мне было ясно, что неизжитая опасность царистско-генеральской контр-революции настоятельно требовала заблаговременного принятия мер.

Уличная борьба с полицейскими засадами только что закончилась и показала, что с военной стороны революция

еще не имела организации. Пулеметные выстрелы с крыши или чердака привлекали внимание какого-нибудь смельчака, он собирал первых попавшихся солдат и рабочих, и наскоро сколоченный, импровизированный отряд бросался на приступ. В борьбе с небольшими шайками городовых партизанский метод борьбы увенчался успехом, но было совершенно ясно, что при столкновении с настоящими воинскими частями, спаянными организацией и дисциплиной, петроградскому гарнизону боя не выдержать.

А между тем, по улицам Петрограда уже носились слухи, что с фронта идут большие силы для подавления революции. Этой возможной угрозе нужно было противопоставить революционную организацию, революционную сплоченность и революционную дисциплину.

С этими задачами поднятия боеспособности сил революции пробовал справиться временный комитет государственной думы, выделивший для этой цели военного коменданта Энгельгардта, который в те дни, до назначения Корнилова, фактически был главнокомандующим петроградского гарнизона.

Но буржуазному временному комитету эта задача была не под силу. Естественно, что солдаты не могли ему доверять.

Мне казалось, что нам, большевикам, нужно немедленно создать свою военную организацию как для распространения наших идей в солдатских массах, так и для организации войск в целях укрепления, защиты и дальнейших завоеваний революции. Эта идея настолько напрашивалась сама собой, что, я думаю, едва ли был хоть один военный большевик, который бы не проникся ею.

С предложением создания военной организации внутри нашей партии я и направился в Петербургский комитет. Ко мне с заседания вышел председатель ПК того времени, тов. Л. Михайлов (Политикус). Он отнесся сочувственно к проекту военной организации и пригласил меня на заседание. Я вошел в комнату, где происходило собрание, во время речи Б. В. Авилова.

Смешно подумать, что этот либерал от марксизма тогда еще принадлежал к нашей партии. Борис Авилов как раз держал программную речь. Он немилосердно цитировал свои старые статьи, приводил в подкрепление выдержки

из резолюций партийных съездов, и все это только для того, чтобы обосновать типично-меньшевистское положение, что мы переживаем буржуазную революцию, и потому задача пролетариата заключается в том, чтобы полностью и целиком, не за страх, а за совесть, поддерживать временное правительство.

Авилов производил странное впечатление. Он казался меньшевиком в большевистском стане, оппортунистом, по ошибке оказавшимся в нашем ПК.

Он произносил пространные, доктринерские речи, вооруженные тяжеловесными научными ссылками, так неуместными в эти дни уличных боев и кипучей напряженной активности, когда жизнь настойчиво ставила перед руководящим партийным органом целый ряд неотложных, ударных вопросов и требовала на них быстрого и короткого ответа. И в это время Авилов (вот уж, поистине, оторванный от жизни теоретик) делал попытки превратить единственный боевой орган пролетариата в научно-академическое общество. Но, нужно отдать справедливость нашим товарищам, Авилов не имел последователей и при голосовании он неизменно оставался в меньшинстве, очень часто поддерживая свою резолюцию «единогласно».

Руководящее ядро ПК разделяло тогда позицию, основной тезис которой состоял в том, что поскольку временное правительство осуществляет задачи революции и отстаивает ее завоевания от контр-революционных посягательств, постольку наша партия должна оказывать ему поддержку, ведя с ним борьбу лишь в меру его отступлений от программы революции.

Таким образом эта платформа, в отличие от авиловской позиции, ничем не связывала партию и оставляла ей свободные руки для любого метода борьбы.

Эти взгляды в своих речах чаще всего развивали двое старых работников нелегальных времен: теперешний председатель ВЦИК М. И. Калинин (Иванов), уже тогда заслуженно пользовавшийся в партии всеобщим уважением, и товарищ Владимир (настоящая фамилия Залежский), также видный деятель подполья.

Поскольку я мог судить по своим впечатлениям, эта точка зрения являлась в то время господствующим мнением

нашей питерской организации и разделялась большинством первого состава ПК.

Тов. Л. М. Михайлов (Политикус) очень живо и остроумно вел заседания, но сравнительно редко брал слово по существу.

Товарищ Николай (В. Шмидт), теперешний наркомтруд, тогда был секретарем ПК; заметное участие в работах ПК принимал тов. Анатолий (Антипов); тов. Жемчужин, впоследствии расстрелянный белофиннами в Гельсингфорсе, и тов. Сулимов на заседаниях обычно не высказывались.

Другие представители районов также не отличались многословием и большей частью молчаливо, но дружно голосовали за резолюции.

Тов. Подвойский первый произнес фразу: «Революция не кончилась; она еще только начинается».

Констатируя, что «революция не кончилась, а только еще начинается», тов. Подвойский тем самым говорил, что пролетариат еще не воспользовался плодами победы и что ему предстоит отчаянная борьба за власть. Это давало нужную встряску партийной мысли, создавало верную марксистскую перспективу и вселяло боевое, революционное настроение.

Активную поддержку эта точка зрения получила в лице тов. В. М. Молотова (Скрябина). Он был тогда членом бюро ПК и на одном из первых заседаний ПК делал доклад по текущему моменту. Доклад был серьезный и обстоятельный, но без авиловского громоздкого академизма, и приходился как нельзя более кстати.

Тезисы доклада Молотова были отчетливо большевистские. О поддержке временного правительства, даже «постольку — поскольку», там не было и речи. Из классового анализа борющихся сил тов. Молотов делал выводы о необходимости для рабочего класса, а значит и для его партии, продолжения борьбы с буржуазией, ставшей у власти. Лозунг углубления и расширения революции красной нитью проходил через весь его доклад.

Во время доклада тов. Молотова приехал из Москвы М. С. Ольминский (Александров). Тов. Ольминский сделал краткое сообщение о развитии революционных событий

в Москве, о настроениях московских рабочих и МК. Из его слов можно было сделать вывод, что московские товарищи настроены левее и работа МК спорится дружнее.

После сообщения тов. Ольминского начались прения по докладу тов. Молотова, и когда кто-то уклонился в теоретические абстракции авиловского типа, то Михаил Степанович не выдержал и негодующе перебил: «У нас в Москве товарищи умеют с двух слов понимать друг друга и не теряют времени на праздные споры». После окончания заключительной речи тов. Молотова, тов. Ольминский и я подошли к нему и завели разговор по поводу тезисов доклада.

По существу основных положений у нас троих не было разногласий. Но тов. Ольминский и я считали, что, при всей правильности классового анализа революции, сделанного докладчиком, и намеченной им партийной тактики, его выводы нуждаются в некоторой поправке. Лично я придерживался тогда таких взглядов: временному правительству со стороны нашей партии не может быть оказано ни малейшего доверия в силу его буржуазного состава, среди которого единственный «социалист» Керенский — простой заложник буржуазии. Отсюда следовало, что объективным ходом исторического процесса наша партия вовлекалась в борьбу за власть с временным правительством. Но раз революции еще угрожает «черная опасность» со стороны реставрации, то, не прерывая борьбы с временным правительством, поскольку оно сражается с остатками царизма, нам необходимо его в этой борьбе поддерживать до тех пор, пока не минует непосредственная контр-революционная угроза.

Тов. Ольминский настаивал приблизительно на той же поправке, и в общем во время спора мы взаимно поддерживали друг друга. Конечно, такие небольшие расхождения в оттенках мнений существенного значения не имели.

В возможности контр-революционных вспышек со стороны издыхающего царизма нам пришлось убедиться в эти же дни. Помню, во время одного заседания, из Царского Села приехала некая местная жительница, член нашей партии. Она сообщила, что с фронта на Петроград движется отряд георгиевских кавалеров под командой генерала Иванова. Она добавила, что, еще не доезжая Царского, перед

поездом разобрали путь, а Царскосельский уездный комитет партии с своей стороны выслал агитаторов навстречу георгиевским кавалерам. Дополнительные сведения, сообщенные товарищем из Царского Села, показывали, что георгиевские кавалеры были обмануты рассказами об анархии и резне в Петрограде. Эти предшественники последующих контр-революционных походов на Петроград были введены в заблуждение теми же самыми методами: все политические интриганы, все враги революции для возбуждения ненависти малосознательной солдатской массы против революционного авангарда, — питерских рабочих, — пользовались одними и теми же баснями об анархии в Петрограде. Так поступили: временное правительство 3—5 июля, Корнилов в конце августа и, наконец, Керенский в исторические дни Великой Октябрьской революции.

Но в отличие от всех остальных белогвардейских походов на Петроград, это первое контр-революционное одурачение фронтовиков не вызвало волнения за судьбу революции и не потребовало крайнего напряжения со стороны партии. На заседании ПК к сообщению о походе генерала Иванова отнеслись очень спокойно. Повидимому, никто не придавал серьезного значения этой опасности. Все дело ограничилось тем, что несколько товарищей добровольно вызвались немедленно отправиться к эшелону генерала Иванова для разъяснения георгиевским кавалерам политической ситуации. Среди добровольцев была и товарищ Ольга Сольская, выступавшая большей частью с анализом классовых отношений в деревне и обнаруживавшая в то время легкий уклон в синдикализм.

Кроме посылки агитаторов, ПК принял еще кое-какие меры для усиления работы среди петербургского гарнизона и для обеспечения сугубой бдительности.

Само собой разумеется, что ПК имел живые и непосредственные корни среди рабочих, делегировавших в его состав представителей от районов; с другой стороны, старые рабочие, пекисты времен подполья, по выходе из тюрьмы в февральские дни автоматически становились членами нового ПК. Но уже тогда, в первые дни своего легального существования, ПК, кроме того, имел крепкие связи с солдатами питерского гарнизона.

Едва ли не первой частью, пришедшей в живое общение с нами, был первый пулеметный полк, впоследствии ставший опорой большевизма и взявший на себя инициативу в деле выступления 3—5 июля. Тогда еще его физиономия была неясна, также как и остальных полков, расположенных в Петрограде. Все они переживали период первоначального идейного оформления и с жадностью внимали словам ораторов разных партий, настойчиво желая разобраться в политических разногласиях.

Однажды в эти дни тов. Сулимов доложил комитету, что вечером состоится общее собрание первого пулеметного полка для выборов в Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, и предложил выработать наказ. ПК согласился, и составление наказа было поручено тов. Сулимову и мне. Мы удалились в соседнюю комнату и принялись за работу. Через час наказ был готов. Написанный в духе «приказа № 1», он, однако, шел дальше его, требуя, например, выборности офицеров. Петербургский комитет утвердил редакцию наказа. Тов. Сулимов прямо с заседания направился в Народный дом. Там, в солдатской аудитории, наша партия одержала одну из первых побед: наказ был принят, и в Совет прошли большевики. Мы тогда радовались удаче. Но, по существу, это был единичный успех в одном полку: для руководства политическим пробуждением всего многотысячного гарнизона требовалась специальная организация. Возбудить этот вопрос мне так и не удалось. Я не хотел поднимать его на заседании комитета, предпочитая первоначально переговорить о деталях с руководителями ПК. Но текущая работа поглощала все время товарищей, а я вскоре уехал в Кронштадт.

Позже, при ЦК нашей партии создалась военная организация; в ее строительстве и работе принял активное участие тов. Подвойский. Но это было уже после возвращения в Россию тов. В. И. Ленина.

Приезд Владимира Ильича вообще положил резкий рубикон в тактике нашей партии. Нужно признать, что до его приезда в партии была довольно большая сумятица. Не было определенной, выдержанной линии. Задача овладения государственной властью большинству рисовалась в форме отдаленного идеала, и обычно не ставилась, как ближайшая,

очередная и непосредственная цель. Считалась достаточной поддержка временного правительства в той или иной формулировке, с теми или иными оговорками и, разумеется, с сохранением права самой широкой критики. Внутри партии не было единства мышления: шатания и разброд были типичным бытовым явлением, особенно дававшим себя знать на широких партийных и фракционных собраниях. Партия не имела авторитетного лидера, который мог бы спаять ее воедино и повести за собой. В лице «Ильича» партия получила своего старого, испытанного вождя, который и взял на себя эту задачу.

После приезда тов. Ленина я не видел Авилова даже на пороге партийных учреждений. Правых большевиков словно помелом вымело. Ходом жизни они были отброшены в лагерь межеумочной «Новой Жизни». Все остальные товарищи под руководством Ленина быстро сплотились, и партия стала единомыслящей, постепенно, не без внутренней борьбы и колебаний, приняв лозунги и тактику тов. Ленина.

А между тем, когда в день приезда, в первых же речах тов. Ленин громко провозгласил: «Да здравствует социалистическая революция», то, помню, этот лозунг не на шутку переполошил не только на смерть напуганного революцией «новожизненца» Суханова, но и некоторых партийных товарищей. В то время не все так скоро могли понять, казавшийся почти максималистским, призыв к социалистической революции, через несколько месяцев создавшей РСФСР,— призыв, уже в те дни выброшенный тов. Лениным, как практический лозунг, как дело завтрашнего дня.

Но в короткий срок всякая серьезная оппозиция отмерла. В это время уже не трудно было усвоить задачи нашей партии в революции и понять, что без немедленного перехода власти в руки Советов, завоеваниям целых поколений рабочего класса грозит неминуемая гибель. Но в самом начале революции, в первых числах марта, когда происходили описанные мною заседания ПК, разобраться в запутанной конъюнктуре было гораздо труднее.

Легко видеть, что товарищи, стоявшие на левом фланге Пека, до приезда тов. Ленина, проводили по существу его тактическую линию. Эга линия, как показал опыт, была кратчайшим расстоянием между двумя точками революции: февралем и октябрем 1917 года.

II. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ КРОНШТАДТ.

1. ПАРТИЙНАЯ КОМАНДИРОВКА В КРОНШТАДТ.

Во время своих нередких посещений Петербургского комитета, однажды я встретился с К. С. Еремеевым. От него и от тов. В. М. Молотова я узнал, что на следующий день выпускается первый номер послереволюционной «Правды».

За недостатком в первое время литераторов, ввиду того, что главные партийные силы еще не успели приехать из ссылки и эмиграции, особенно сильно чувствовалась нужда в печатной пропаганде наших идей и лозунгов. Туманной и расплывчатой либерально-эсеровской романтике первых дней февральской революции было необходимо противопоставить четкую социалистическую программу и единственно революционную тактику большевиков. Лучшим орудием этой массовой пропаганды и агитации должна была служить большевистская рабочая газета.

По окончании заседания ПК, поздно вечером, К. С. Еремеев и В. М. Молотов поехали выпускать первый номер «Правды». Константин Степанович похвастался, что с помощью военной силы он уже захватил для нашей газеты обширное помещение «Сельского Вестника».

Через пару дней, написав статью на тему о буржуазной и демократической республике, я занес ее в редакцию «Правды». В самом деле, Константину Степановичу было чем похвалиться. Оказывается, субсидируемый правительством «Сельский Вестник» сумел не плохо устроиться при старом режиме. Это было огромное каменное здание на берегу Мойки, прекрасно оборудованное для газетной работы. В этом же доме помещалась большая типография, снабжен-

ная ротационными машинами. Откуда-то из глубины доносились характерные, тяжелые звуки работающей ротационки.

Во дворе, выходившем на соседний переулок, валялись связанные кипы сельско-хозяйственной литературы. Прямо с набережной я поднялся по парадной лестнице во второй этаж, где теперь помещалась редакция нашей пролетарской газеты. Узкий коридор был тесно загроможден пудовыми тюками изданий «Сельского Вестника».

Я постучал в первую дверь направо и услыхал знакомый голос Константина Степановича: «Войдите». Кроме него, тут находился недавно приехавший из Москвы М. С. Ольминский. Я передал им рукопись. Тов. Еремеев рассказал, что только что получена статья Максима Горького, но ее абсолютно нельзя печатать, так как от начала до конца она проникнута густым пессимистическим настроением по поводу разрушений и убийств. Я выразил нескрываемое удивление, что такой крупнейший художник, как М. Горький, не сумел найти нужных слов и не увидел в революции ничего иного, кроме некультурности русского народа и разрушительной стихии.

Эти упадочные настроения демократической интеллигенции, оглушенной колоссальным размахом массовой революции, нашли впоследствии рельефное отражение в газете «Новая Жизнь». В статье Горького уже скрывалась в зародыше будущая идеология «новожизненства». Конечно, его статья не была напечатана.

Однажды я застал в редакционной комнате т.т. Еремеева и Молотова. «Не хотите ли поехать для работы в Кронштадт?»— встретили они меня вопросом.—«Здесь недавно были кронштадтцы,—пояснил тов. Молотов,—они просят дать им хоть одного литератора для редактирования местного партийного органа «Голос Правды». В частности, называли вашу фамилию».—Я ответил полным согласием.—«Но только если ехать, то нужно немедленно,—прибавил тов. Еремеев,— они очень просили, так как находятся в затруднительном положении. Влияние нашей партии в Кронштадте растет, а закреплять его некому, так как газета не может быть как следует поставлена из-за отсутствия литературных сил».

* * *

17 марта, я уже ехал по Балтийской дороге в Ораниенбаум. Поезд был переполнен офицерами, в бурные дни бежавшими из Кронштадта и теперь постепенно возвращавшимися к своим частям. Их разговор вращался вокруг недавних кронштадтских убийств. По их словам, выходило так, что гнев толпы обрушился на совершенно неповинных лиц. Главная вина за эти стихийные расправы над офицерами возлагалась, разумеется, на матросов. На-ряду с непримиримым озлоблением, офицеры проявляли шкурный страх за ожидающую их судьбу. «Да, не хочется умирать,—сформулировал их общие мысли один молодой поручик,—любопытно бы посмотреть на новую Россию».

Кстати, об этих убийствах. Буржуазные газеты с бешеным ожесточением приписывали расстрелы кронштадтских офицеров нашей партии, в частности возлагали ответственность на меня. Но я приехал в Кронштадт уже после того, как закончилась полоса стихийных расправ. Что касается нашей партии, то она, едва лишь овладев кронштадтскими массами, немедленно повела энергичную борьбу с самосудами.

Расстрелы офицеров, происходившие в первых числах марта, носили абсолютно стихийный характер, и к ним наша партия ни с какой стороны не причастна.

Но когда впоследствии, находясь в Кронштадте, я пытался выяснить происхождение и природу этих так называемых «эксцессов», вызвавших всеобщее возмущение буржуазии на-ряду с полным равнодушием рабочего класса, то я пришел к определенному выводу, что эти расстрелы совершенно не вылились в форму «погрома» и поголовного истребления офицерства, как пыталась изобразить дело буржуазия. Матросы, солдаты и рабочие Кронштадта, вырвавшись на простор, мстили за свои вековые унижения и обиды. Но достойно удивления, что это никем не руководимое движение с поразительной меткостью наносило свои удары. От стихийного гнева толпы пострадали только те офицеры, которые прославились наиболее зверским и несправедливым обращением с подчиненными им матросско-солдатскими массами.

В первый же день революции был убит адмирал Вирен, стяжавший себе во всем флоте репутацию человека-зверя. Вся его система была построена на суровых репрессиях и на издевательстве над человеческой личностью солдата и матроса. Неудивительно, что всеобщая ненависть, которую он посеял, прорвалась при первом удобном случае.

Не менее грубым и бесчеловечным начальником слыл во всем Кронштадте и даже далеко за его пределами командир 1-го Балтийского флотского экипажа, полковник Стронский. На Вирена и Стронского в первую голову и обрушился гнев революционной толпы. Их участь разделили приспешники этих старорежимных сатрапов, которые, подлаживаясь к господствовавшему курсу, осуществляли политику палки и кнута. Справедливые и гуманные начальники оказались не только пощажены, но в знак особенного доверия были выбраны даже на высшие командные посты. Так, старший лейтенант П. Н. Ламанов с первых дней революции стал во главе всех морских сил Кронштадта. Насколько мне известно,— невинных жертв в Кронштадте не было. Там происходил отнюдь не поголовный офицерский погром, а лишь репрессии по отношению к отдельным лицам, запятнавшим себя при старом режиме.

Во всяком случае, во время дальнейшего развития революции, в Кронштадте стихийные расстрелы уже не имели места. В случае обнаружения старых или новых грехов за каким-нибудь притаившимся контр-революционером, его подвергали аресту и доставляли в Кронштадскую следственную комиссию, во главе которой в то время стоял наш партийный товарищ И. Д. Сладков.

Но в первые дни февральская революция развертывалась в Кронштадте в бурных формах.

Высшие административные власти: главный командир порта адмирал Вирен и комендант крепости адмирал Курош своей трусливой нерешимостью, колебаниями между старым и новым, лишь обострили положение, подлили масла в огонь.

Еще 28 февраля утром они узнали, что в Петрограде произошла революция, но они не верили в ее успех, не признавали ее бесповоротность, втайне надеялись на контрреволюцию и предпочитали отмалчиваться, внешне храня

верность старому режиму. Днем 28 февраля на их совещание были приглашены представители офицерства флота и гарнизона. Перед собранием был поставлен вопрос: можно ли рассчитывать на солдат и матросов в случае, если потребуется идти на усмирение революционного Петрограда? Большинство офицеров прямо заявило, что на это рассчитывать нельзя, т. к. при том настроении, какое существует в массах, матросы и солдаты сразу присоединятся к революционным войскам. Но и после того, как выяснилось общее положение, ни Курош, ни Вирен не предприняли решительно никаких мер для открытого оповещения о тех событиях, которые накануне произошли в Петрограде. Вместо того были применены новые меры стеснений. Семейные матросы, обычно уходившие на ночь домой, в этот день были отпущены только до 10 часов вечера.

Ночью того же 28 февраля в Кронштадте была слышна пальба, происходившая в Ораниенбауме. Тогда же из Петрограда были получены «Известия», из которых рабочие, матросы и солдаты с захватывающим интересом узнали весь ход революционных событий.

Ночь прошла тревожно. Во многих воинских частях вовсе не ложились спать, проведя всю ночь в оживленных политических разговорах. Все были возбуждены.

Поздней ночью стало развиваться движение. Воинские части одна за другой с оркестрами музыки стали выходить на улицу и присоединять к себе остальных солдат и матросов. Одним из первых восстал 1-й Балтийский флотский экипаж. Большое впечатление произвело присоединение 2-го крепостного артиллерийского полка. На улицу вышел весь полк в полном составе, со всеми офицерами. Командир полка нес в руках знамя, оркестр играл Марсельезу.

Под утро толпа матросов подошла к дому главного командира полка и потребовала его на улицу. Адмирал Вирен оделся и, выйдя на улицу, скомандовал: «Смирно». Эта неуместная команда была встречена бурными взрывами хохота. Тогда адмирал сразу спал с тона и, обратившись к толпе, пригласил ее следовать за собою на Якорную площадь, где обещал объявить все, что произошло в Петрограде. В ответ на это раздались возгласы: «Поздно, поздно». К адмиралу подскочил матрос и сорвал с него погоны. После этого его

окружили и повели на Якорную площадь. По пути Вирен стал сознаваться в своих грехах перед матросами и умолял пощадить его жизнь. На Якорной площади матросы его расстреляли.

Более мужественно, чем Вирен, умер адмирал Бутаков. Этот весьма недалекий адмирал просто-на-просто отказался отречься от старого режима и не унижался, цепляясь за жизнь, как это делал Вирен.

По официальным сведениям, всего было убито 36 морских и сухопутных офицеров. Многие другие «драконы» (как матросы называли царских офицеров) были арестованы и препровождены в следственную тюрьму. В эту категорию вошли те офицеры, которые были известны своим не в меру суровым отношением к команде, или были замечены в недобросовестном отношении к казенным деньгам.

Некоторые из них не умели держать себя и сами обостряли положение. Когда один офицер был арестован и препровождался в следственную тюрьму, то по дороге он начал браниться:

— Мерзавцы, вот погодите — из Ораниенбаума придет пулеметный полк, так он с вас снимет шкуру.

Эти угрожающие слова вывели из себя сопровождавших его матросов, и он был убит тут же на месте. Еще слишком была сильна неуверенность в завтрашнем дне...

В доме Голубева засели с пулеметами городовые и охранники. Пришлось привести 6-дюймовую пушку и произвести выстрел, которым сорвало крышу и разрушило верхнюю часть здания. После этого охранники и городовые сдались. Шестеро из них были убиты, а остальные 8 арестованы.

Со стороны революционеров было всего 7 жертв.

Весь день 1 марта по улицам ходили процессии, весь день производились аресты сторонников старого режима.

2 и 3 марта движение стало принимать все более организованные формы. Вскоре сконструировался Кронштадтский большевистский комитет, который стал играть в движении огромную роль. Всюду, на площадях и в Морском манеже, нашей партией стали устраиваться митинги, на которых ответственными партийными работниками разъяснялись очередные политические вопросы, отношение

к войне, временному правительству и Совету Рабочих и Солдатских Депутатов.

С 15 марта стала выходить ежедневная большевистская газета «Голос Правды».

* * *

В Ораниенбауме я, в складчину с каким-то случайным попутчиком инженером, нанял извозчичьи сани и по льду поехал в Кронштадт.

На расспросы словоохотливого спутника о причинах моей поездки, я отвечал, что еду в Морское Экономическое Общество для заказа офицерского обмундирования. Так как я тогда еще не был произведен в мичмана и носил гардемаринскую форму, то мой рассказ имел вполне правдоподобный вид.

Вскоре, переехав «Маркизову лужу», мы со льда въехали на пустынную улицу Кронштадтской окраины. Я никогда прежде не был в Кронштадте и глазами старался отыскать признаки нашего партийного комитета. Вскоре, после нескольких поворотов с одной улицы на другую, мы выехали на площадь, где у небольшого домика я увидел красное знамя и обращавшую на себя внимание вывеску, на которой крупными буквами было начертано: «Кронштадтский Комитет РСДРП».

По случайному совпадению оказалось, что Морское Экономическое Общество также находится поблизости. Так или иначе,—здесь была моя остановка. Распрощавшись с попутчиком, я направился к зданию партийного комитета. В этом одноэтажном доме, расположенном по соседству с полу-экипажем, прежде помещался комендант города.

2. КРОНШТАДТ КАК РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЦЕНТР.

В истории Октябрьской революции Кронштадту принадлежит исключительное место. В течение всего 1917 года Кронштадт играл выдающуюся политическую роль, зачастую сосредоточивая на себе внимание всей России, вызывая вокруг своего имени лживые, фантастические хитросплетения и неистовые, озлобленные проклятия буржуазии. В гла-

зах последней Кронштадт был символом дикого ужаса, исчадием ада, потрясающим призраком анархии, кошмарным возрождением на русской земле новой Коммуны. И этот панический страх буржуазии при одной мысли о Кронштадте являлся не случайным недоразумением, порожденным лживыми выдумками капиталистической прессы. Это было вполне естественное опасение за свои интересы, продиктованное классовым инстинктом буржуазии.

Совершенно иные и прямо противоположные настроения вызывал в то время Кронштадт в рядах революционных рабочих, солдат и крестьян. Кронштадт 1917 года— это была недоступная революционная цитадель, надежный опорный пункт против какой бы то ни было контр-революции. Кронштадт был общепризнанным авангардом революции.

Какие, однако, причины выдвинули Кронштадт так далеко вперед, благодаря каким факторам он сделался аванпостом революционного фронта? В основе исключительной революционной роли Кронштадта лежат специфические социально-экономические условия.

* * *

Прежде всего Кронштадт—это военная крепость, защищающая подступы к Питеру с моря, и вместе с тем главная тыловая база Балтийского флота.

Гражданское население Кронштадта, сравнительно немногочисленное вообще, всегда состояло, главным образом, из рабочих казенных заводов, доков и многочисленных мастерских, принадлежащих морскому ведомству. Гармонируя с общей картиной Кронштадта, во всех предприятиях царили суровые, драконовские порядки. Везде во главе стояла военная администрация, промышленность фактически была милитаризована. Рабочее движение при царизме было настолько угнетено, что в Кронштадте даже не существовало профессиональных союзов. Но в процессе революции классовое самосознание, несмотря ни на что, развивалось, крепло, закалялось и, волей неволей, приводило рабочих в лоно большевистской партии. В результате рабочий класс вместе с матросами составил главнейшую опору нашей кронштадтской партийной организации и все время играл передовую, руководящую роль.

Весьма немногочисленная и политически невлиятельная кронштадтская буржуазия состояла из домовладельцев, трактирщиков и купцов среднего достатка. Эта малопочтенная группа, под покровительством выгодного для нее «Городового положения 1890 г.», захватила в свои руки кронштадтскую городскую думу и полновластно распоряжалась местным хозяйством. Разумеется, во всей муниципальной политике настойчиво проводились лишь меры, выгодные своекорыстным, хищническим интересам буржуазии. Да и высшее начальственное око, зорко наблюдавшее за деятельностью городского самоуправления, отнюдь не поощряло к проявлению инициативы и самодеятельности.

Ограничив «общественную» деятельность рамками городской думы и скудной филантропической благотворительностью, кронштадтская буржуазия политически ничем себя не проявляла. Часть буржуазии, группировавшаяся вокруг ханжи-лицемера Иоанна Кронштадтского, открыто примыкала к союзу русского народа.

В первый же день революции буржуазия Кронштадта была сброшена со счетов революции. Не отдавая себе отчета во всем происходящем, она панически бежала с арены борющихся политических сил. Впрочем, иного исхода у нее не было — она все равно неминуемо была бы вытеснена с поля революционной битвы. Очень поверхностный слой мелкой буржуазии пытался в первое время навязать свою гегемонию рабочему классу, но эта жалкая попытка окончилась полным крушением.

В кронштадтском революционном движении сразу в резкой форме обозначилась гегемония пролетариата.

Подавляющее большинство населения Кронштадта составляли матросы и солдаты, при чем численность первых значительно превосходила общее количество вторых. Это численное преобладание матросов, задававших тон в политической жизни, наложило неизгладимый отпечаток на весь ход развития революции в Кронштадте.

Кронштадтские матросы в политическом отношении представляли собой передовой элемент. Дело в том, что самые условия морской службы требуют людей со специальной технической подготовкой, предъявляют спрос на квалифицированных рабочих. Каждый матрос прежде всего специа-

лист: минер, гальванер, комендор, машинист и т. д. Каждая специальность предполагает определенные знания и известную техническую, приобретенную на практике, выучку. В силу этого, приему во флот, главным образом, подлежали рабочие, практически прошедшие школу профессионального обучения, изучившие на деле какую-либо специальность. Особенно охотно принимались слесаря, монтеры, машинисты, механики, кузнецы и т. д.

Пролетарское прошлое огромного большинства судовых команд, эта связь матросов с фабрикой и заводом придавали им особый социальный облик, налагали на них рельефный пролетарски-классовый отпечаток, выгодно отличавший их от сухопутных солдат, рекрутировавшихся, главным образом, из деревенской мелкой буржуазии.

Определенный классовый дух, порою даже большевистский уклад мыслей, известное умственное развитие и запас профессиональных знаний, — вот что обыкновенно приносил с собой рядовой матрос при поступлении на военную службу. Если в подавляющем большинстве случаев под матросской форменкой и бушлатом легко было прощупать пролетария, то кронштадтские матросы — это были почти сплошь вчерашние городские рабочие. Такая исключительность положения создалась оттого, что с отдаленных, незапамятных времен Кронштадт являлся рассадником специальных морских знаний для всего Балтийского флота. В Кронштадте с давних пор были сосредоточены различные специальные школы, эти своего рода факультеты матросского университета. Не считая школы юнгов, низшего учебного заведения, дававшего элементарное образование будущим унтер-офицерам, здесь находились: учебно-артиллерийский и учебно-минный отряды, а также машинная школа.

Таким образом каждый специалист-матрос непременно должен был пройти через горнило кронштадтского обучения. Ясно, что для приобретения новых знаний в Кронштадт отправлялись наиболее смышленные, наиболее толковые матросы. А таковыми, в первую голову, могли быть фабрично-заводские рабочие. Немудрено, что, благодаря такому искусственному подбору, контингент кронштадтских матросов, всегда представлявших собой матросскую интел-

лигенцию, состоял почти исключительно из вчерашних пролетариев, хотя и сменивших черную блузу на синюю голландку, но ничего не забывших из своего классового социально-политического инвентаря, приобретенного во время работы на фабриках и заводах.

Да, наконец, и самый характер службы на современных судах, напоминающих фабрику, закалял пролетарскую психику. Этот преобладающий классовый состав кронштадтских матросов определил собой их политическую позицию и обусловил совершенно исключительное, можно сказать безраздельное господство боевых лозунгов, выдвинутых партией пролетариата. Вполне естественно, что матросы, на-ряду с рабочими, составили главное, очень крепкое и влиятельное ядро нашей партийной кронштадтской организации.

* * *

Если, с одной стороны, Кронштадт исполнял культурную миссию, являясь просветительной школой, то, с другой стороны, он был и тюрьмой. Уже один внешний вид города производит мрачное, угнетающее впечатление. Это какая-то сплошная, убийственно-однообразная казарма. И в самом деле, едва ли где людям приходилось столько страдать, как в Кронштадте.

Здесь находился дисциплинарный батальон, в котором подвергались утонченной душевной и физической пытке матросы, зачисленные в «разряд штрафованных», т.-е. фактически поставленные вне закона. Так, например, царский дисциплинарный устав разрешал подвергать их даже телесному наказанию, в то время как повсюду телесные наказания были отменены. В Кронштадте было сооружено не одно, а целых пять мест тюремного заключения, не считая обильных казарменных карцеров. Но этого мало. Во всем Кронштадте, как на судах, так и в казармах, царил беспощадно-жестокий режим палки и кнута, самый безудержный гнет свирепой, так называемой «воинской» дисциплины.

Когда начальство списывало матросов с кораблей и отправляло их в Кронштадт, то они рассматривали это назначение, как самое тяжкое административное наказание; в их представлении остров Котлин был так же ненавистен, как

остров Сахалин, это невольное мрачное убежище ссыльных и каторжан.

Для поддержания в должном порядке этого палочного режима нужен был надлежащий аппарат и прежде всего соответственный подбор высшего командного персонала. Только генералы и адмиралы, в течение многих десятков лет зарекомендовавшие себя испытанной, холодной и расчетливой жестокостью, только приверженцы суровых репрессий и не знающего пощады бича могли получить высокое назначение в Кронштадт. Лишь испробовавшие вкус человеческой крови Вирены и Куроши назначались на высшие военно-административные посты приморской островной крепости. Адмирал Вирен, этот типичный царский сатрап, выдающийся дурак и неограниченный самодур, рассматривал Кронштадт, как свою собственную вотчину, милостиво отданную ему на бесконтрольный «поток и разграбление», на хищническое «кормление».

Этот старый, заматерелый бурбон, от начала до конца прошедший всю школу брутальной военщины, впитавший в свою кровь всю гнилостную отраву начальствования при царизме, с усердием, явно превосходившим его разум, старательно насаждал режим рабски-слепого, беспрекословного повиновения, поддерживая порядок громоздким карательным аппаратом самых беспощадных репрессий.

Непомерно усердствуя, он всюду выискивал упущения, доходя в своей тупой требовательности до мелочной раздражающей придирчивости. Так, например, он имел обыкновение, разъезжая по городу в автомобиле, держать перед собою лист бумаги и карандаш. Едва он замечал, что какой-нибудь зазевавшийся матрос не успел встать ему во фронт или встал с небольшим опозданием, как он тотчас же приказывал шофферу остановить автомобиль, подзывал матроса, записывал его фамилию и, не стесняясь в выражениях, делал ему строжайшее внушение. Но этим дело не ограничивалось. Матрос знал, что самое большое наказание еще впереди. За невставание во фронт адмирал Вирен зачастую сажал под арест на 30 суток. Его каждая поездка по городу увенчивалась длиннейшим списком замеченных в неисправности матросов, которым приходилось жестоко платиться за их случайную, до смешного незначительную оплошность.

Дикое самодурство этого зарвавшегося опричника заходило так далеко, что он, например, проверяя выполнение приказа, воспрещавшего матросам ношение собственной одежды, усвоил себе обыкновение лично убеждаться, имеется ли на внутренней стороне одежды матроса установленное казенное клеймо. Этот чудовищный эксперимент, заставлявший матроса наполовину разоблачаться, производился без малейшего стеснения на виду у всех, прямо на улице. Даже офицерство, во всех отношениях поставленное в несравненно более привилегированные условия, порою чувствовало на себе тяжесть адмиральского гнева. Достаточно было самого ничтожного пустяка, вроде ношения неформенной обуви, чтобы подвергнуться аресту.

Общей бурбонской милитаризации не избегло даже гражданское население. Кронштадтские гимназисты должны были оказывать Вирену знаки «воинской вежливости», т.-е., попросту говоря, становиться ему во фронт. Для поддержания этой выдержанной тюремно-казенной системы, последовательно проведенной сверху донизу, нужна была планомерная организация. Все приспешники жестокого адмирала, все офицеры, служившие под его началом, должны были на местах проводить ту же самую, не знающую пощады политику удушения, и они беспощадно творили «суд и расправу» над подчиненными. Каждый «нижний чин» рассматривался ими, как бездушный автомат, созданный лишь для того, чтобы не рассуждая повиноваться во всех тех случаях, когда ему будут приказывать.

Задача обуздания нижних чинов облегчалась еще тем обстоятельством, что морское офицерство, благодаря условиям сословно-дворянского приема, представляло замкнутую касту, служившую правящему классу не за страх, а за совесть. Те редкие офицеры-одиночки, которые сумели сохранить «душу живу» в этой удушливой клоаке и которые смотрели на матросов и на солдат, как на равных себе, должны были искать способов дружеского общения с ними, прибегая к такой изощренной конспирации, словно они отваживались на тяжкое преступление.

Дисциплина — палка о двух концах. Она напоминает собою ту «цепь великую», которая, по словам поэта, «порвалась и ударила одним концом по барину, другим по мужику».

Грубая военная дисциплина, с одной стороны, нестерпимо угнетала подчиненных, а с другой — она неимоверно развращала самих начальников. Побои, издевательства, доводящие до самоубийства, придирчивые притеснения, — все это никого не удивляло, ни в ком не вызывало возмущения в старом Кронштадте. Исключение составляли только одни угнетаемые.

За адмиралом Виреном, адмиралом Бутаковым, полковником Стронским, этими патентованными деспотами, жадной сворой тянулась целая вереница мелких, честолюбивых карьеристов, готовых решительно на все ради своекорыстных соображений, для того, чтобы выдвинуться на поприще служебной карьеры, и в своем рвении иногда затмевавших изобретательность своих повелителей.

Этот давящий гнет царского режима жгучей ненавистью воспламенял сердца всех, изнемогавших под его бременем. Редкий матрос жил без мечты свергнуть проклятый, ненавистный режим. Вот почему нигде так не ценили завоеваний революции, нигде так не боялись их потерять, как в 1917 г. в красном Кронштадте.

* * *

Что же заставило царский режим, вообще никому не дававший пощады, еще более судорожно стиснуть Кронштадт, обратить его в какой-то зловещий, мрачный и жуткий застенок? Ответить на это не трудно. Стоит лишь вспомнить эпоху 1905 — 1906 г.г. Уже тогда Кронштадт высоко держал красное знамя. Вооруженное восстание 26 — 27 октября 1905 г. вписало золотую страницу в историю русского революционного флота. Наконец, неисчерпаемая, непримиримая революционность Кронштадта заставила его вторично поднять военный мятеж летом 1906 года. Однако и на этот раз храброе и славное дело кронштадтцев, к несчастью, кончилось неудачей. Кронштадт оказался одиноким; он не был поддержан Россией.

Правительство царя никогда не могло простить кронштадтцам этих двукратных бурных восстаний. Оно не могло примириться с мыслью о революционности гарнизона крепости, расположенной под боком столицы.

И оно озлобленно мстило Кронштадту. Оно панически боялось революционных выступлений, которые могли бы

послужить призывным сигналом для всей России; оно дало себе клятву согнуть кронштадтцев в бараний рог, вытравить у них всякое подобие революционного духа, вынудить их к смиренной покорности.

В этой борьбе с революционными матросами Кронштадта были пущены в ход не только жесточайшие репрессии, но и тончайшие ухищрения политического сыска. Усердие некоторых отбросов офицерства было так велико, что они устроили из своих кораблей форменные подотделы охранного отделения, для того, чтобы выследить «крамолу» и отправить на каторгу наиболее развитых, наиболее революционных матросов. Но чем сильнее давил гнетущий пресс виреновского бесчинства, тем быстрее нарастало открытое недовольство, тем скорее пробуждалась мысль о вооруженном противодействии. И порой это скрытое кипучее негодование прорывалось наружу.

Так, в 1915 году на линейном корабле «Гангут» неожиданно разразился бунт, возникший на почве недовольства офицерами. Нужно ли прибавлять, что скорбный список матросов, казненных царем, увеличился еще несколькими фамилиями, а каторжные тюрьмы заключили в свои стены десятки живых людей, брошенных туда на медленное умирание. Этот бунт был стихийной вспышкой. Но наряду с этими стихийными проявлениями шла упорная и сознательная организационная работа.

С 1905 г. в Кронштадте почти все время преемственно существовали нелегальные партийные организации. Особенное оживление партийной деятельности стало проявляться с 1912 г., когда начал изживаться реакционный период, а наметившийся подъем рабочего движения пробудил интерес к политической жизни и повлек за собой огромный приток членов большевистской партии. Едва проваливалась одна организация, как на ее месте тотчас же возникала другая. Превосходная школа, пройденная в нелегальных партийных ячейках, создала ко времени революции опытный кадр партийных работников.

* * *

Кроме морских частей, в Кронштадте квартировало несколько артиллерийских и пехотных полков, а также вой-

ска специального назначения: саперы, телеграфисты, железнодорожники и т. д.

Во времена реакции между морскими и сухопутными частями существовала глухая вражда. Царские власти прилагали все усилия, чтобы натравить солдат на матросов, посеять между ними непримиримую рознь. Своими речами они всячески поддерживали взаимное недоверие между теми и другими. Порою в городе происходили кулачные бои и самые настоящие драки между «флотскими» и «армейцами», как в просторечии называли тех и других. Господа Вирены в таких случаях потирали руки. «Разделяй и властвуй»— эта старая формула была жизненным принципом их подлой, лукавой политики.

Солдаты кронштадтского гарнизона мало чем отличались от солдат других местностей, но, благодаря неустранимому соприкосновению с более культурным элементом морских команд, их политическая сознательность, их культурная зрелость была все-таки выше, чем их товарищей, расквартированных в других местностях России.

В 1905—1906 г.г. во время Кронштадтских восстаний сухопутные полки дружно действовали рука об руку с морскими частями. Но в наступившую затем реакционную пору об этот лед возобновившегося недоверия матросов к солдатам разбивался всякий революционный порыв, и только революция 1917 года окончательно разбила этот лед.

III. РАБОТА В КРОНШТАДТЕ.

В одной из комнат Кронштадтского партийного комитета я сразу наткнулся на группу руководящих товарищей. Здесь находились: старый потемкинец Кирилл (Орлов), студент психоневролог, освобожденный из «Крестов» событиями Февральской революции—Семен Рошаль, Дмитрий Жемчужин и, наконец, тов. Ульянцев, бывший каторжанин, осужденный в конце 1916 года по нашумевшему делу кронштадтских моряков. Этот процесс получил широкую огласку в связи с тем, что его суровый приговор вызвал единодушную волну рабочих забастовок протеста в Петрограде, Москве и во многих провинциальных городах.

Из всей этой группы я прежде знал только одного Рошаля. 9 декабря 1912 года он был арестован вместе с другими витмеровцами, а во время войны, до своего ареста, состоял членом кружка, собиравшегося у меня на квартире для дискуссий по вопросу о войне, по другим текущим вопросам и, наконец, по теории марксизма. Нечего и говорить, что тов. Рошаль все время занимал большевистскую позицию и на-ряду со мной был большевиком-ленинцем.

Кронштадтские товарищи встретили меня необычайно тепло и радушно. Мы вместе прошли в редакционную комнату. В процессе интимной дружеской беседы я вкратце ознакомился с положением кронштадтских дел. Первый период стихийного сведения старых счетов с царскими угнетателями уже миновал, и Кронштадтский комитет, не теряя времени, приступил к организационному закреплению плодов революционной победы и к просветлению классового самосознания кронштадтских трудящихся путем систематической агитации и пропаганды. Под этим углом зрения правильное руководство местной партийной газетой приобре-

тало значительную важность. Мы условились, что я буду редактировать газету, а студент-политехник П. И. Смирнов, также являясь членом редакции, будет моим помощником. Он уже выпустил три нервых номера «Голоса Правды». Но в этот день он как раз находился в Питере.

С места в карьер я приступил к работе, просмотрел рукописи и уже приготовился писать передовицу и фельетон. Но в этот момент крупный разговор в соседней комнате обратил на себя мое внимание. Оказывается, комендант города — Н. Ф. Огарев — собирался вывезти из занятой Кронштадтским комитетом квартиры принадлежавшую ему мебель. Вступивший с ним в жаркие объяснения тов. Кирилл Орлов наотрез отказался оставить квартиру без столов и стульев.

Вечером мы с Рошалем отнравились в Совет Военных Депутатов.

С первых дней Февральской революции в Кронштадте образовался Комитет Общественного Движения, в просторечии называвшийся Комитетом Движения. Но вслед затем рабочие и матросско-солдатские массы выдвинули свои собственные органы, и на смену Комитета Движения, представлявшего собой чисто интеллигентскую организацию, пришли Совет Военных Депутатов и Совет Рабочих Депутатов, которые на первых порах существовали раздельно.

Когда мы вошли в Совет Военных Депутатов, то заседание было уж в полном разгаре. Большой зал бывшего морского собрания, уставленный столами и стульями, был полон. Мы стали сзади. Решением кронштадтских масс к этому времени уже были аннулированы погоны, и сухопутные офицеры отличались от солдат только лучшим качеством сукна своих гимнастерок. Более заметно выделялись морские офицеры синими кителями с шеренгой золотых пуговиц посредине. Но сухопутные и морские офицеры, однако, выдавали себя своими речами, и мне сразу бросилось в глаза, что Кронштадтский Совет Военных Депутатов в тот момент еще не изжил гегемонии офицерства. Председательское место занимал молодой офицер Красовский, — не то крепостной артиллерист, не то представитель пехотного полка. Секретарем состоял вольноопределяющийся Животовский, сын

довольно известного богача. В этом первом, случайно составленном, Совете пользовался большим авторитетом и довольно часто выступал полковник строительной части Дубов.

Заседание было закрытым. В момент нашего появления обсуждался скандальный вопрос. Председатель Совета Красовский докладывал о том, что к нему приходила вдова убитого полковника Стронского и жаловалась, что двое лиц от имени газеты «Голос Правды» пришли к ней на квартиру, осмотрели ее, нашли подходящей и реквизировали для помещения редакции. Этот факт подтвердил и присутствовавший на собрании Дубов.

Тогда взял слово тов. Рошаль. Волнуясь и спеша, он заявил, что редакция «Голоса Правды» никого не уполномачивала осматривать квартиру Стронской, и добавил, что все товарищи, командируемые редакцией нашей газеты, всегда имеют снабженные соответственными печатями документы. После этого разъяснения т. Рошаля, Совет Военных Депутатов постановил отправить двоих членов Совета на квартиру Стронской и задержать тех, кто самозванно выдавал себя за представителей «Голоса Правды». В скором времени депутаты вернулись и привели некоего гражданина Черноусова, заявившего, что он приходил к Стронской не в качестве представителя «Голоса Правды», а как член Исполкома Совета Рабочих Депутатов. Находившийся здесь же среди публики председатель Совета Рабочих Депутатов студент-технолог Ламанов с пафосом заявил, что произошла глубоко печальная история, что никто не уполномачивал Черноусова на реквизицию квартиры и что после этого Черноусов не может больше оставаться членом Исполнительного Комитета Совета Рабочих Депутатов.

Тов. Рошаль использовал создавшееся выгодное положение и всей тяжестью обрушился на Красовского за то, что тот в своей речи очень резко отозвался о «Голосе Правды»...

В общем Совет занимался в этот день вермишелью.

Из Совета Военных Депутатов мы отправились ночевать в казармы флотского полуэкипажа, помещавшегося по соседству со зданием партийного комитета. Выборный командир полуэкипажа, рослый и энергичный матрос, под живым впечатлением рассказал нам ход революционных событий

в Кронштадте. В арестном помещении полуэкипажа находилось в заключении несколько офицеров, которых командир полуэкипажа трудолюбиво обучал пению Интернационала, похоронного марша и других революционных песен.

На следующее утро я приступил к текущей работе и стал просматривать материалы для текущего номера. Кроме того, мне пришлось написать целый ряд статей.

Вообще, все это время с утра до вечера мне приходилось сидеть за письменным столом. Рукописи поступали в огромном количестве. Революция пробудила среди рабочих, матросов и солдат совершенно исключительный интерес к литературе. Особенно много статей, корреспонденций и мелких заметок приносили матросы. Они постоянно толпились в кабинете, требуя, чтобы я прочел рукописи в их присутствии и тут же дал им свой отзыв. Среди этого поступавшего в редакцию материала нередко встречались статьи, требовавшие отмены Андреевского флага, как символа насилия и старорежимного издевательства. Другие заметки были направлены против чинов и орденов, наконец, третьи горячо защищали выборное начало. Подавляющее большинство этих написанных матросами статей касалось частных вопросов житейского обихода, на которые наталкивалось внимание моряков в их повседневной практике. Но на-ряду с этим попадались статьи более широкого политического характера, бичевавшие и шельмовавшие самодержавный строй, снесенный на слом потоком Февральской революции. Все эти статьи приходилось просматривать и, по возможности, щадя самолюбие авторов, тут же давать им ответ. Если статья почему-либо не подходила, то, поощряя автора к продолжению его литературной работы, приходилось обстоятельно приводить ему доводы, по которым статья не может быть напечатана. Любопытно, что подавляющее большинство сотрудников газеты принадлежало к составу рабочих, матросов и отчасти солдат. За исключением членов редакционной коллегии, интеллигенция участия в газете не принимала. Только два раза принес свои бездарные статьи некий учитель кронштадтской гимназии, очень быстро перекочевавший к меньшевикам. Кроме того, доктор Конге, член нашей партии, изредка приносил свои краткие, но содержательные статьи.

Помимо передовиц и фельетонов, мне приходилось писать небольшие исторические статьи и даже заметки, касавшиеся местной жизни. Несколько раз в течение дня к нам из типографии приходил наборщик тов. Петров, молодой человек, высокого роста, с пенснэ на носу. Однажды, когда я передал ему несколько своих статей, он с удивленным видом спросил меня: «И как это Раскольников высылает свои статьи из Петрограда?». Мне пришлось рассеять его недоумение и разъяснить, что Раскольников находится в Кронштадте и в данный момент как раз стоит перед ним.

Ежедневно по вечерам в комнате, соседней с редакцией, велись занятия по марксизму. Лекции читали Рошаль, Кирилл Орлов и Ульянцев. На эти занятия стекалось большое число представителей партийных судовых коллективов. Занятия велись регулярно и пользовались успехом. Это была наша первая партийная школа.

Говоря о руководящей коллегии кронштадтского комитета, нужно упомянуть еще о нашем казначее, матросе Степанове, не имевшем никаких претензий и озабоченно занимавшемся своим скромным делом — подсчетом наших партийных «капиталов».

С утра до позднего вечера наша тесно спаявшаяся товарищеская группа проводила в партийном комитете и в редких случаях за его пределами, но тоже обязательно на партийной работе. Я редактировал газету и писал статьи. Семен Рошаль, Ульянцев и Кирилл вели занятия. От времени до времени Рошаль давал свои статьи для «Голоса Правды», подписывая их своей старой партийной кличкой «Доктор». Кроме того, Рошаль был нашим главным агитатором и до некоторого времени даже партийным организатором. Изо дня в день он объезжал корабли, береговые казармы и мастерские, не игнорируя даже самых мелких частей. Прекрасный оратор, он произносил речи на самые животрепещущие политические темы, и его выступления всегда пользовались громадным успехом. Каждая его речь была густо насыщена содержанием. Кроме того, он умел облекать свои выступления в живую форму. В нужных случаях он удачно вставлял веселый анекдот, остроумную поговорку, удачное саркастическое сравнение или язвительный намек. Если к этому прибавить его эрудицию и пламенный темперамент, то станет

понятно, что Рошаль имел огромную популярность в кронштадтских массах.

Обычно днем мы отрывались от работы и сходились на обед здесь же в помещении комитета, в кухне, которая одновременно служила жилищем тов. Кириллу и его жене. Жена тов. Кирилла Орлова была нашей общей заботливой хозяйкой. Она сама варила обед и хлебосольно угощала нас. В годы войны, когда тов. Кирилл работал на заводе «Айваза», во время одного обыска, эта женщина ловко спрятала своего мужа в перине. Жене тов. Кирилла помогал расторопный матрос Журавлев, добровольно взявшийся выполнять обязанности заведующего хозяйством.

Ночи мы проводили все вместе в казармах морского полуэкипажа. Однажды вечером в Кронштадт приехал первый «иностранный» гость, представитель другого флота. Это был тов. Полухин, впоследствии расстрелянный англичанами в числе двадцати шести комиссаров в Закаспийской степи. Он прибыл непосредственно из Архангельска. Нашим разговорам не было конца. Мы живо интересовались развитием событий на севере, среди беломорских моряков, и были искренно рады, что тов. Полухин установил эту первую живую связь.

Однажды товарищи вытянули меня из редакционной клетушки и повели на митинг в морской манеж. После этого мне неоднократно приходилось бросать газетные дела ради ораторских выступлений. Как-то в морском манеже был устроен митинг для работниц. Забитые кронштадтские женщины-работницы и жены рабочих с глубоким интересом слушали неведомые им большевистские речи. Кроме меня и Рошаля, выступали матросы Павлов, Колбин и др. В конце митинга работницы качали некоторых ораторов и с искренней благодарностью пожимали им руки, говоря: «спасибо, что не забыли нас, женщин».

Когда в Питере был назначен день похорон героев революции, от Кронштадта была командирована на Марсово поле специальная делегация во главе с тов. Кириллом. В этот день в Кронштадте состоялся парад и митинг. Парад принимал в белых перчатках и в высоких сапогах, одним словом, в полной парадной форме, первый выборный начальник морских сил П. Н. Ламанов. После митинга с импро-

визированной трибуны, водруженной на Якорной площади, я произнес краткую речь.

Вечером вернулся из Питера тов. Кирилл. Вообще необычайно экспансивный, он на этот раз был в каком-то особенном возбуждении: «Грандиозное впечатление! Представьте себе, шествие растянулось на несколько верст,— громко и с воодушевлением восклицал тов. Кирилл,—в процессии принимали участие сотни тысяч рабочих и солдат. Это хороший урок для буржуазии. Пусть она теперь знает наши силы»,—и до поздней ночи тов. Орлов делился своими впечатлениями.

Однажды мы, в комитете, получили известие о приезде в Кронштадт Керенского. Он проехал прямо в Кронштадтский Совет, где впал в очередную истерику и по своему обыкновению грохнулся в обморок. После того, как его отходили с помощью стакана холодной воды, он стрелой помчался в морской манеж. Там собралось довольно много народа. Мы с Рошалем тоже поспешили туда. Керенский уже стоял на трибуне, истерически выбрасывая в воздух отдельные отрывистые слова; он плакал, потел, вытирал носовым платком испарину, одним словом, всячески подчеркивал свое нечеловеческое изнеможение. Благожелательные слушатели должны были истолковать это, как признак благородного переутомления на поприще самоотверженной государственной работы. Во время речи Керенского мы с Рошалем сговорились между собой и решили отказаться от приветствия его как представителя временного правительства и приветствовать лишь, как товарища председателя Петросовета. Произнесение речи было поручено Рошалю. После того, как Керенский валился слезами, для своей приветственной речи взял слово Рошаль. Он расколол Керенского на две половины, отделив министра юстиции от тов. председателя Петросовета. После того как Рошаль окончил, Керенский судорожно бросился к нему и, с покрасневшими глазами, с застывшими в них слезами, совершенно неожиданно заключил Семена в свои объятия. Со стороны Керенского это был в буквальном смысле слова Иудин поцелуй. Затем Керенский крупными шагами порывисто отправился к автомобилю, сел в него и уехал,—только его и видели...

25 марта должно было состояться мое производство в мичманы. Производство происходило в кабинете военного и морского министра А. И. Гучкова. В виду необычайной загруженности работой, я не мог в этот день выехать в Петроград и терять время на пустые формальности, а поэтому мое производство состоялось заочно.

Вскоре после того Семен сообщил мне, что команда учебного судна «Освободитель» выбрала меня вахтенным начальником. Я принял эту должность и относительно своего утверждения отправился на переговоры с Ламановым. Ламанов и его начальник штаба Вейнер, известный в морских кругах под именем Питро Вейнера, обещали сообщить об этих выборах в Главный Морской Штаб, дав мне категорическое заверение, что, со своей стороны, они всецело поддержат решение команды «Освободителя».

— Если Главный Морской Штаб вас утвердит, то тогда, конечно, все дело будет в «шляпе»,—шутливо добавил тов. Ламанов.

Не знаю, последовало ли утверждение со стороны высшего морского начальства, но, во всяком случае, я продолжал формально числиться на «Освободителе» и никакого назначения на другую должность не получил. Очевидно, петроградское начальство решило махнуть на меня рукой, предоставив мне вариться в соку большевистского Кронштадта, считая это наименьшим злом, так как Ревель и Гельсингфорс были на лучшем счету у высшего морского начальства.

Еженедельно, по субботам, мы с Семеном уезжали в Питер и возвращались назад в понедельник утром. Во время этих поездок я неизменно каждый раз заходил в редакцию «Правды» и порой заносил туда свои статьи.

Это было тяжелое время для нашей газеты и для партии вообще. Разоблачение провокатора Черномазова, принимавшего некоторое участие в старой до-революционной «Правде», было использовано нашими политическими врагами в целях опорочения и очернения «Правды». Помню, однажды, проходя по Невскому, я увидел в витрине газеты «Вечернее Время» огромный плакат, на котором крупными буквами было написано: «Редактор газеты «Правда» — провокатор». У неосведомленных читателей это создавало впечат-

ление, как будто актуальным редактором «Правды» состоит провокатор.

Буржуазия всячески старалась использовать разоблачение Черномазова и на этой почве демагогически разводила провокацию: от черносотенного, антисемитского «Нового Времени» и кадетской «Речи» нисколько не отставали радикальные органы печати, вроде газеты «День». Циничные фельетоны Заславского, печатавшиеся в «Дне» под псевдонимом «Homunculus», могли дать сто очков фору любому бульварному листку. Меньшевики и эсеры, злорадно поглядывая в нашу сторону, больше всего заботились о приращении за наш счет своего политического капитала.

Однажды, когда я находился в редакции «Правды», было получено известие, что солдаты Московского полка, спровоцированные нашими политическими врагами, собираются громить редакцию и контору нашей газеты. На место происшествия был срочно командирован бывший член 4-ой государственной думы, старый большевик Муранов, которому не без труда удалось потушить неприятный инцидент и рассеять сгустившиеся над нашей головой тучи.

Крупным событием этих дней было получение из-за границы первой статьи Ильича «Письма издалека». Я читал ее в конторе «Правды». Помню, с каким интересом отнеслись к ней работавшие в конторе т. т. Пылаев и Шведчиков.

Нас всех тогда очень волновал вопрос о приезде Владимира Ильича. Так болезненно остро чувствовалось отсутствие вождя и так сильно сознавалась необходимость, чтобы в эти трудные дни революции он был вместе с нами. Помню, Анна Ильинишна сообщила, что Ильич пока не может приехать и на некоторое время еще останется за границей. Это сведение нас всех тогда крайне огорчило.

В один из моих приездов в Питер я зашел к Максиму Горькому. Мое знакомство с ним состоялось еще заочно в 1912 году, когда я отправил ему на Капри письмо от имени Петербургского землячества студентов Петербургского политехнического института с просьбой бесплатного предоставления из книжного склада «Знание» литературы для нашей земляческой библиотеки. Алексей Максимович ответил согласием; и так как момент его письма совпал с обострением студенческого движения, то он к своему письму прибавил

несколько строк политического содержания: «От души желаю бодрости духа в трудные дни, вами ныне переживаемые. Русь не воскреснет раньше, чем мы, русские люди, не научимся отстаивать свое человечье достоинство, не научимся бороться за право жить так, как хотим». Это письмо Горького в числе других моих «преступлений» было инкриминировано мне жандармами во время ареста летом 1912 года.

Лично я познакомился с Горьким весной 1915 года в Петрограде, на Волковом кладбище, во время похорон историка Богучарского. Обратив внимание на мою гардемаринскую шинель, Горький тогда с добродушным сарказмом заметил: «Здорово вас, правдистов, переодели». Это было как раз во время империалистической войны.

На этот раз я посетил Горького впервые со времени революции. Когда я пришел, Горький был занят на заседании, происходившем у него на квартире. Меня провели в небольшую гостиную и попросили подождать. Дверь в соседнюю комнату была открыта, и оттуда доносились обрывки чьей-то речи. Я понял, что обсуждается вопрос о сооружении музея-памятника борцам революции. Речь произносила Е. Брешко-Брешковская. Дрожащим, старческим голосом она говорила: «Этот памятник борцам революции должен быть храмом. Он должен быть построен в центре русской земли, на перекрестках всех дорог, так, чтобы крестьянин с котомкой и усталый путник мог зайти туда и, отдыхая от трудностей пути, ознакомиться с прошлым своего народа». Одним словом, ее предложения были типичнейшие народнические фантазии, лишенные всякой связи с действительностью. Но участники заседания, из уважения к авторитету ее имени, слушали речь «бабушки русской революции» с затаенным вниманием.

Вскоре в комнату, где я ожидал конца достаточно нудного заседания, быстрой походкой вошел известный беллетрист И. Бунин, сейчас обретающийся в бегах. Узнав, что я приехал из Кронштадта, Бунин буквально засыпал меня целой кучей обывательских вопросов: «Правда ли, что в Кронштадте анархия? Правда ли, что там творятся невообразимые ужасы? Правда ли, что матросы на улицах Кронштадта убивают каждого попавшегося офицера?». Тоном,

не допускающим никаких возражений, я опроверг все эти буржуазные наветы. Бунин, сидя на оттоманке с поджатыми ногами, с огромным интересом выслушал мои спокойные объяснения и вперил в меня свои острые глаза. Офицерская форма, повидимому, внушала ему доверие, и он не сделал никаких возражений.

Вскоре совещание в соседней комнате закончилось, и Горький в сопровождении гостей прошел в столовую, приглашая нас за собой. Мы уселись за чайным столом. «Бабушка» чувствовала себя именинницей. Умильная улыбка не сходила с ее морщинистого лица. Она со всеми без исключения целовалась. Узнав, что я кронштадтец, она радостно закивала головой и проговорила: «Меня туда уже пригласили. Когда у нас записан Кронштадт-то?» — обратилась она к своей сопровождающей. Та, справившись в записной книжке, назвала день. «Вот меня так и возят из одного места в другое: все дни задолго вперед расписаны», — тоном искренней задушевности произнесла «бабушка». В эти дни она, видимо, чувствовала себя на положении чудотворной иконы. В общем, «король оказался голым». Так называемая «бабушка русской революции» с первой же встречи поразила меня своей порядочной глупостью. Совсем другое впечатление производила Вера Фигнер; живая, подвижная и энергичная, она, несомненно, выглядела умной женщиной. Вскоре бабушка стала прощаться, снова целуя всех присутствующих, как своих детей.

За столом Бунин, обращаясь к Горькому, сказал ему: «А, знаете, Алексей Максимыч, ведь слухи о кронштадтских ужасах сильно преувеличены. Вот послушайте-ка, что говорят очевидцы». И я был вынужден снова повторить рассказ о кронштадтском благополучии. Максим Горький выслушал меня с большим вниманием, и хотя на его лице промелькнуло недоверчивое выражение, он открыто ничем не показал его.

На другой день я выехал в Кронштадт. Тем временем у нас уже произошло слияние обоих Советов в единый Совет Рабочих, Солдатских и Матросских Депутатов. В этом новом Совете мы организовали большевистскую фракцию, которая выдвинула мою кандидатуру в состав Президиума Совета. На пленуме Президиум Совета был сформирован в следу-

ющем составе: председатель — беспартийный Ламанов и товарищи председателя: от левых эсеров — Покровский, а от большевиков — я. Мы с Рошалем аккуратно посещали все заседания Совета, происходившие три раза в неделю. Пленуму обычно предшествовало заседание фракции. В нашей большевистской фракции мы предварительно обсуждали вопросы очередной повестки дня, составляли свои проекты резолюций и намечали официальных ораторов.

На пленуме Совета обычно председательствовал Ламанов, а в случае его отсутствия — Покровский или я. Секретарем состоял левый эсер Гримм. Стенографическую запись вела жена Брушвита. В общем, подавляющее большинство вопросов носило злободневный, по преимуществу местный характер и не представляло крупного политического интереса. Но, тем не менее, очень часто, в процессе обсуждения того или иного вопроса развертывались оживленные прения, в которых ярко обрисовывалась физиономия всех партий. Нередко заседания носили чрезвычайно бурный характер. В это время наши враги уже создали Кронштадту большую рекламу: об успехах большевизма в Кронштадте прошла громкая слава. Ввиду этого Кронштадт беспрерывно посещался различными делегациями. Они приезжали с полномочиями от своих масс для ознакомления на месте с создавшимся у нас положением и для осведомления о сущности большевизма и об его приложении на практике. Делегации фронта почти постоянно гостили у нас, сменяя одна другую. Обычно, после официальных выступлений в Совете, мы приглашали делегатов осмотреть наши учреждения, открывая им всюду полный доступ, а в заключение использовывали их для выступления на митингах на Якорной площади.

Особенно приятен был приезд делегации рабочих Донбасса. Эти товарищи приехали специально для того, чтобы ознакомиться с характером политической жизни Кронштадта и попросить у нас товарищей для работы в Донбассе. Взамен они обещали прислать уголь для кронштадтских хозяйственных нужд. Мы послали в Донецкий бассейн партийного товарища, матроса Павлова, который, по словам донбасских работников, оказал там большие услуги делу пролетарской борьбы. Около этого времени мы установили

теснейшую связь с Питерским Советом и его Исполкомом. Для этой цели в Питер были отправлены И. Д. Сладков и Зайцев. Сладков до своей питерской командировки состоял председателем следственной комиссии. Нервный, всегда деловито озабоченный и энергичный, он удачно справлялся со своими следственными делами. Возможно, что он был избран председателем следственной комиссии потому, что как старый матрос-комендор хорошо знал флот и его личный состав. Он только перед этим вернулся с каторги, куда был сослан в декабре 1916 года по нашумевшему процессу кронштадтских моряков. После Сладкова на должность председателя следственной комиссии был выбран т. Панкратов, также оказавшийся, как нельзя более, на месте. Он проявил большие способности в самых сложных следственных разбирательствах, искусно умея находить виновных.

Кронштадтский Совет, куда я входил представителем от местного партийного комитета, отнимал у меня много времени, так как, помимо пленарных собраний, приходилось посещать заседания Исполкома, членом которого я также состоял. Работа в газете от этого неминуемо пострадала бы, если б там не было такого хорошего помощника, как П. И. Смирнов. Молодой студент-политехник, он обычно просматривал поступавшие рукописи, извлекая оттуда наиболее ценный материал. На мою долю выпадал лишь просмотр наиболее ответственного материала и писание передовиц, фельетонов и политических статей...

Брешко-Брешковская сдержала свое обещание и в назначенный день прибыла в Кронштадт. Бесцветное, отличавшееся общими словами выступление «бабушки» никакой полемики по существу не вызвало. «Бабушка русской революции» делилась со своими слушателями только восторгом, охватившим ее по поводу Февральской революции.

Вскоре после Брешко-Брешковской приехал командующий войсками Петроградского округа ген. Корнилов. Он также пытался ораторствовать перед кронштадтцами на Якорной площади. Но его выступление собрало очень мало народа и не имело абсолютно никакого успеха. Генеральские погоны вообще производили в Кронштадте самое отрицательное впечатление.

В один из последующих приездов в Питер я встретился с Л. Б. Каменевым, только что вернувшимся из Ачинской ссылки. Я знал его еще с 1914 года. Мы обнялись, как старые, давно не видевшиеся друзья. Вместе с ним приехал тов. И. В. Сталин. До тех пор редакция «Правды» состояла из Еремеева, Ольминского и Молотова. Теперь в нее вошли еще Каменев и Сталин, которые с этого момента стали играть главную роль в редактировании нашего центрального органа.

Со времени приезда тов. Каменева само собой повелось так, что каждое воскресенье я приходил к нему на квартиру с докладом о кронштадтских делах и получал от него директивы на будущее время; затем мы с ним отправлялись либо на очередное заседание Петросовета, очень часто назначавшееся на воскресенье, либо на какое-нибудь другое собрание. Однажды, встретив у Льва Борисовича тов. Сталина, я пожаловался ему на крайний недостаток в Кронштадте активных партийных работников. Тов. Сталин принял к сведению мое заявление и настолько внимательно отнесся к нему, что уже через несколько дней командировал в Кронштадт т. И. Т. Смилгу. С этих пор тов. Смилга принял на себя организационную работу и, порою, в наиболее важных случаях, выступал на широких массовых митингах.

Вслед за т. Смилгой наши ряды пополнились т. Дешевым. Молодой врач, недавно окончивший Юрьевский университет, т. Дешевой был привлечен к участию в газете и одновременно дан в помощь т. Рошалю для агитационных объездов частей. Тов. Дешевой выписал своего старого друга по Юрьеву Л. А. Брегмана, который вскоре также появился в Кронштадте. Тов. Брегман, серьезный и знающий марксист, был незаменим в качестве лектора. Кроме того, он был неплохим председателем собраний.

Чтение лекций в партийном кружке теперь уже распределялось между Рошалем, Ульянцевым, Кириллом, Смилгой, Брегманом и Дешевым.

Таким образом наша руководящая коллегия до некоторой степени расширилась, и успех нашей партии среди кронштадтских масс значительно подвинулся вперед. Очень быстро мы все сработались и образовали дружную партийную семью.

Тов. Рошаль продолжал объезды судов. Агитация нашей партии пользовалась колоссальным успехом. Особенно сочувственно встречались речи, направленные против войны. Однажды произошел следующий инцидент: некий солдат Шикин, бывший кронштадтский торговец, окопавшийся в тылу и потому, естественно, ярый оборонец и патриот, чуждый ясного политического сознания, но по натуре довольно смелый, выступил на Якорной площади с лозунгом: «Война до полной победы». Толпа, присутствовавшая на митинге, немедленно арестовала его и привела в Совет с требованием немедленной отправки оборонческого агитатора на фронт. «Он стоит за войну до конца! Так вот и пускай он показывает пример, и сам идет на передовые позиции — в линию огня», — мотивировали арест доставившие его матросы.

Конечно, Совет на фронт его не отправил, но данный случай сам по себе был чрезвычайно симптоматичен. Империалистическая война не пользовалась никаким кредитом в глазах кронштадтских рабочих, матросов и солдат. Враждебные нам партии не могли показаться на митинге, их встречали единодушными криками: «Долой».

Во время поездок тов. Рошаля по кораблям бывали случаи, что целые суда просили записать их в партию. По словам Рошаля, общее число сочувствовавших нашей партии достигало в то время колоссальной цифры в 35.000 человек, хотя формально членами партии состояло не свыше трех тысяч. Эта сочувственная нам атмосфера была такова, что даже меньшевики и эсеры могли работать в Кронштадте не иначе, как приняв своего рода защитную окраску. Меньшевики и эсеры были у нас только левого, интернационалистического оттенка. В вопросах об отношении к войне и даже к временному правительству у нас не было больших разногласий. Поэтому зачастую после митинга нам приходилось слышать вопрос: «Так в чем же состоят ваши разногласия с левыми эсерами?». Разумеется, приходилось читать длинную лекцию по марксизму, разоблачая идеалистическую теорию и никуда негодную программу левых эсеров, а также их неверную, колеблющуюся и политически невыдержанную тактику.

Из левых эсеров наибольший успех на широких собраниях имел Брушвит. Молодой парень, всегда ходивший

в крестьянском армяке, с довольно большой растрепанной бородой, он явно стремился принять внешнее крестьянское обличие. В совершенстве владея простонародной речью, он был от природы не лишен остроумия, и его речи слушались с большим интересом; тем не менее, когда дело доходило до голосования, то подавляющее большинство рук поднималось за наши резолюции, и Брушвиту не оставалось ничего иного, как для поддержания своего политического престижа присоединяться к нашему предложению. Кроме Брушвита, у эсеров работали: матрос Борис Донской, убивший в 1918 году в Киеве немецкого генерала Эйхгорна и за это повешенный прислужниками германского империализма, солдат Покровский и интеллигент Смолянский.

Эсеры помещались в бывшем доме Вирена. Там они создали клуб, устраивали заседания, читали лекции на политические и научные темы, — одним словом, всячески старались привлечь к себе массы.

Меньшевики-интернационалисты влачили в Кронштадте исключительно жалкое существование. Во главе их стоял какой-то никому не известный учитель, который в первые дни революции приходил несколько раз в редакцию «Голоса Правды». Меньшевики-интернационалисты группировали вокруг себя почти исключительно интеллигенцию. Гастролеры из Питера посещали их крайне редко. Мартов не был ни разу. Несколько раз приезжал Мартынов, являвшийся неизменным ходатаем за арестованных офицеров, неоднократно, хотя и безуспешно выступавший на заседаниях Кронштадтского Совета. Значительно большим успехом, чем Мартынов, пользовались у нас анархисты. Они имели толкового и талантливого вождя в лице тов. Ярчука, по своей бывшей профессии портного. Он тогда только что вернулся из американской эмиграции. Нередко в Кронштадт наезжал к анархистам известный питерский анархист-коммунист Блейхман. Но у него как-то не ладилось дело с Ярчуком, который примыкал к анархистам-синдикалистам и поэтому был несравненно ближе к нам. Однако, несмотря на овации, выпадавшие на долю Ярчука, анархисты далеко не могли равняться с политическим удельным весом, который приобрели в Кронштадте большевики.

Большей частью наши митинги ограничивались произнесением речей представителями каждой партии. Но иногда вспыхивала яростная полемика между ораторами различных партий, особенно обострившаяся во время наездов из Питера матерых меньшевиков и эсеров. По части споров с меньшевиками у нас специализировался тов. Рошаль, едкий и остроумный полемист, и, наконец, позднее других приехавший в Кронштадт тов. Элтин.

Вскоре наш комитет переехал из дома бывш. коменданта города в другое помещение, на дачу, некогда составлявшую собственность расстрелянного адмирала Бутакова. Здесь помещение было несравненно просторнее, и разросшиеся отделы партийного комитета получили возможность работать с гораздо большим удобством. Некоторые товарищи даже поселились в здании комитета. К большому деревянному дому примыкал обширный тенистый сад, в котором летом происходили общие партийные собрания. Секретарем состоял матрос тов. Кондаков. У его стола постоянно толпилась длиннейшая очередь посетителей, приходивших за разъяснениями по самым разнообразным вопросам.

Запись в партию была тогда чрезвычайно упрощена. Достаточно было заявления секретарю, одной-двух соответствующих рекомендаций, и любому желающему без замедления выдавался партийный билет.

Колоссален был спрос на партийную литературу. Наша газета «Голос Правды» расходилась почти без остатка. Кроме того, мы выписывали из Питера руководящие партийные газеты как Петрограда, так и Москвы. Кроме газет, в большом количестве мы распространяли партийную литературу. Помимо этого, мы были вынуждены издавать собственные брошюры. Литературный голод был тогда неслыханно велик. Каждый корабль, каждый полк, каждая мастерская стремились составить свою хотя бы маленькую библиотечку, и в этих судовых, полковых и заводских библиотеках каждая политическая брошюра зачитывалась буквально до дыр. Февральская революция пробудила колоссальный политический интерес и тем самым вызвала неслыханный спрос на большевистскую литературу.

IV. АПРЕЛЬСКИЕ ДНИ.

1. ПРИЕЗД В РОССИЮ ТОВ. ЛЕНИНА.

— Сегодня вечером в Петроград приезжает Ленин, — сказал мне т. Л. Н. Старк. Это было 3 апреля 1917 года.

Я тотчас позвонил по телефону т. Л. Б. Каменеву. Известие подтвердилось, и в условленный час мы вместе с Львом Борисовичем, Ольгой Давыдовной и тов. Теодоровичем поехали на Финляндский вокзал. Там, как всегда, было людно и шумно.

В вагоне товарищ Каменев рассказывал о Владимире Ильиче и посмеивался над встречей, которую ему готовили петербургские товарищи:—«Надо знать Ильича, он так ненавидит всякие торжества». В оживленной беседе дорога прошла незаметно, и вот в сумерках уже заблестели огни Белоострова. В станционном буфете собралось довольно много народу: Марья Ильинишна, А. Г. Шляпников, А. М. Коллонтай,—всего около двадцати ответственных работников партии. Все были в оживленном, приподнятом настроении. Для большинства приезд тов. Ленина явился полной неожиданностью. Зная о неимоверных затруднениях, чинимых правительствами Антанты к возвращению крайних левых эмигрантов в Россию, мы очень беспокоились за наших вождей и, каждый день остро чувствуя неотложную настоятельность их приезда, в то же время мирились с мыслью, что едва ли так скоро удастся их увидеть в своих рядах. Остроумная идея проезда через Германию нам как-то не приходила в голову — настолько мы свыклись с мыслью о непроходимых барьерах, установленных войной между воюющими государствами. И вдруг оказалось, что для наших товарищей открылась реальная возможность скорого возвращения

в революционную Россию, где они были так нужны и где их места пустовали.

Однако тогда даже не все партийные товарищи сочувственно относились к проезду через Германию. Мне в этот же день пришлось услышать голоса, осуждавшие это решение по тактическим соображениям, в предвидении чудовищной кампании лжи и клеветы, действительно не замедлившей обрушиться на нашу партию.

Но все равно, не будь этого повода, у наших врагов всегда нашелся бы другой. Решение тов. Ленина, как можно скорее, любым способом, добраться до России, было безусловно правильно и как нельзя более отвечало настроению большинства партии, которой недоставало ее признанного вождя. Трудная политическая обстановка, сложившаяся в условиях незаконченной и непрерывно продолжавшейся революции, требовала непоколебимо твердой и выдержанной линии.

Вот раздался первый звонок, предвещавший приближение поезда. Мы все вышли на перрон... Здесь, оживленно переговариваясь под сенью широкого красного знамени, нетерпеливо ждали поезд рабочие Сестрорецкого оружейного завода. Они за несколько верст пришли пешком для встречи своего любимого вождя.

Наконец, быстро промчались три ослепительно ярких огня паровоза, а за ним замелькали освещенные окна вагонов — все тише, все медленнее. Поезд остановился, и мы тотчас увидели над толпой рабочих фигуру т. Ленина. Высоко поднимая Ильича над своими головами, сестрорецкие рабочие пронесли его в зал вокзала. Здесь все приехавшие из Петрограда, друг за другом, протискивались к нему, сердечно поздравляя с возвращением в Россию. Мы все, видевшие Ильича впервые, на равных правах с его старыми партийными друзьями и родственниками, целовались с ним, точно давно знали его. Он был как-то безоблачно весел, и улыбка ни на одну минуту не сходила с его лица. Было видно, что возвращение на родину, объятую пламенем революции, доставляет ему неизъяснимую радость. Не успели мы все поздороваться с Ильичом, как возбужденный, взволнованный радостью свидания Каменев быстро вошел в залу, ведя за руку не менее взволнованного тов. Зиновьева. Тов. Каменев знакомит

нас с последним и, обменявшись крепким рукопожатием, мы все вместе, окружив Ильича, идем в его вагон.

Едва войдя в купэ и усевшись на диван, Владимир Ильич тотчас накидывается на т. Каменева.

— Что у вас пишется в «Правде»? Мы видели несколько номеров и здорово вас ругали...—слышится отечески журящий голос Ильича, от которого никогда не бывает обидно.

Сестрорецкие товарищи просят Владимира Ильича сказать несколько слов. Но он увлечен разговором с Каменевым: так много нужно узнать и еще больше высказать.

— Пускай Григорий выступит, надо попросить его,— говорит тов. Ленин, возвращаясь к прерванной политической беседе с Каменевым.

Тов. Зиновьев выходит на площадку вагона и произносит небольшую, но горячую речь—первую на территории революционной России.

Затем мы вместе проходим в его купэ. Там знакомлюсь с тов. Лилиной и с мальчиком—сыном Зиновьева. Тов. Григорий необычайно оживлен и радостен. Он рассказывает, как швейцарский социалист Фриц Платтен организовал их поездку, как они ехали через Германию, как Шейдеман пытался повидать Ленина, но Ильич категорически отклонил это свидание. «Мы ехали в тюрьму, готовились к тому, что по переезде границы нас немедленно арестуют»,—говорит он и затем переходит к дорожным впечатлениям.

Поезд тем временем незаметно подходит к Питеру. Вот наш вагон уже втянулся под навесы длинных пассажирских платформ. Вдоль этой платформы, к которой подходит наш поезд, по обеим ее сторонам, оставляя широкий проход в середине, выстроились матросы 2-го Балтийского флотского экипажа. Командир экипажа Максимов, молодой офицер из прапорщиков флота, с азартом делающий карьеру на революции, выступает вперед, пересекает путь т. Ленину и произносит приветственную речь. Он заканчивает ее курьезным выражением надежды, что т. Ленин войдет в состав Временного Правительства. На наших лицах появляются улыбки. «Ну,—думаю,—покажет вам Ленин участие во временном правительстве. Не обрадуетесь!» И действительно, когда на следующий день Ильич публично развернул свою программу, то Максимов, выскочка и политический

ребенок, поместил в буржуазных газетах письмо в редакцию, открещиваясь в нем от встречи тов. Ленина и объясняя свое участие неведением об его проезде через Германию.

Но матросы-массовики не имели основания раскаиваться, так как уже тогда они видели в Ленине своего признанного вождя.

В ответ на пожелание о вступлении в состав Временного Правительства тов. Ленин громко бросает боевой лозунг: «Да здравствует социалистическая революция!».

На вокзале масса народу. Преобладает рабочая публика. Тов. Ленин проходит в «парадные покои» Финляндского вокзала, где его приветствуют представители Петроградского Совета: Чхеидзе и Суханов. Он кратко отвечает, снова заканчивая свои слова восклицанием: «Да здравствует социалистическая революция!». Наконец, с тем же лозунгом он обращается к тысячной толпе, собравшейся на площади перед вокзалом, чтобы приветствовать старого вождя российского пролетариата. Эту речь т. Ленин произносит, стоя на броневике. Ряд закованных в сталь автомобилей вытянулся у Финляндского вокзала. Лучи их прожекторов прорезают вечернюю темноту и бросают длинные снопы света вдоль улиц Выборгской стороны.

Тов. Ленин уезжает в цитадель большевизма, бывший дом фаворитки царя Кшесинской, после Февральской революции занятый нашими руководящими партийными учреждениями. Вслед за ним я тоже отправился в дом Кшесинской. Ехавший со мною в трамвае «новожизненец» Суханов кисло брюзжал по поводу ленинских речей. Особенное недовольство вызвал в нем призыв к социалистической революции. Вспоминая Суханова, каким он был во время войны, я положительно не узнавал его и не мог понять происшедшей перемены.

Начав свою публицистическую деятельность народником, Н. Н. все больше и больше приближался к марксизму, пока, наконец, во время войны не занял вполне приличную антисборонческую позицию, обосновывая ее аргументами, взятыми из марксистского арсенала. Открыто высказав Суханову сожаление по поводу того, что он так резко отошел после Февральской революции от нашей партии, к которой явно тяготел во время войны, я услышал проникнутый

горечью ответ: «Такие выступления, как сегодняшние речи Ленина, еще больше отчуждают и удаляют меня от вас». Непримиримость и раздражительность Суханова указывали на то, что он окончательно и безнадежно скатился в яму обывательского понимания революции и горьковско-интеллигентского нытья.

Вокруг дома Кшесинской мы застали огромную толпу рабочих и солдат, внимательно слушавших горячую речь Ленина, произносившуюся им с балкона второго этажа. Он говорил о развитии и о перспективах мировой революции.

«В Германии — кипит. В Англии правительство держит в тюрьме Джона Маклина»,—доносились до меня фразы Ильича. Мы застали только конец речи, которую Ильич закончил бодрым оптимистическим аккордом, говорившим о российской революции, как о начале международного восстания трудящихся, которое приближается с каждым днем. В воротах дома товарищи проверили мой документ, заодно прошел и Суханов.

Мы поднялись во второй этаж, где Ильич, закончив свою речь, только что принялся за чаепитие. Здесь находилось много партийных работников, среди которых нетрудно было различить видных членов питерской организации и ответственных товарищей, приехавших из провинции. В разных концах обширной комнаты завязался оживленный разговор. Вскоре Ильича снова вызвали на балкон, так как его пришли приветствовать наши товарищи-кронштадтцы. Семен Рошаль, находившийся в этот день в Кронштадте, узнав о приезде Ленина, собрал всех желавших его встретить и по талому льду привел их в Питер. Начавшаяся оттепель и послужила причиной их невольного запоздания. Тов. Рошаль поднялся на балкон и от имени кронштадтцев приветствовал Ленина. Ильич ответил краткой речью. Лозунг социалистической революции пришелся как нельзя более по душе кронштадтцам и был подхвачен восторженным гулом «ура» и целым ураганом аплодисментов.

Затем все снова вернулись в комнаты, где непрерывно происходила встреча старых друзей, разлученных годами тюрьмы и эмиграции, и знакомство новых работников, выросших в эпоху «Звезды» и «Правды» с ветеранами революции и большевизма. Помню покойного А. А. Самойлова, как

он, подойдя к тов. Зиновьеву, назвал себя, напомнив свое сотрудничество в до-революционной «Правде» под псевдонимом «А. Юрьев». Тов. Зиновьев горячо пожал ему руку. Вскоре все присутствующие спустились вниз, в большую комнату с роялем и примыкающим к ней зимним садом, где прежде была фешенебельная гостиная балерины, а теперь, обычно, происходили многолюдные заседания рабочих. Здесь состоялось чествование Ильича. Один за другим выступали ораторы, выражая чувство глубочайшей радости по поводу возвращения в Россию закаленного вождя партии.

Ильич сидел и слушал все речи с улыбкой и нетерпеливо ждал конца.

Когда список ораторов был исчерпан, Ильич сразу ожил, поднялся и приступил к делу. Он решительным образом напал на тактику, которую проводили руководящие партийные группы и отдельные товарищи до его приезда. Он едко высмеял пресловутую формулу поддержки Временного Правительства «постольку — поскольку» и провозгласил лозунг: «Никакой поддержки правительству капиталистов», одновременно призывая партию к борьбе за передачу власти в руки Советов, за социалистическую революцию.

На нескольких ярких примерах т. Ленин блестяще доказал всю фальшь политики Временного Правительства, вопиющие противоречия между его обещаниями и делами, словами и фактами, настаивая на том, что наш долг состоит в беспощадном разоблачении его контр-революционных и антидемократических поползновений и действий. Речь тов. Ленина длилась около часа. Аудитория застыла в напряженном и неослабеваемом внимании. Здесь были представлены наиболее ответственные работники партии. Но и для них речь Ильича явилась настоящим откровением. Она положила рубикон между тактикой вчерашнего и сегодняшнего дня.

Тов. Ленин ясно и отчетливо поставил вопрос: «Что делать?» и от полупризнания, полуподдержки правительства призвал к непризнанию и непримиримой борьбе.

Конечное торжество Советской власти, мерещившееся многим в туманной дали более или менее неопределенного будущего, тов. Ленин перевел в плоскость неотложного

и в ближайшем времени достижимого завоевания революции. Эта речь была в полном смысле слова исторической. Здесь тов. Ленин впервые изложил свою политическую программу, на другой день формулированную в известных тезисах 4 апреля. Эта речь произвела целую революцию в сознании руководителей партии и легла в основу всей дальнейшей работы большевиков. Недаром тактика нашей партии не составляет одной прямой линии, а после приезда Ленина делает крутой поворот влево.

Когда Ильич закончил свою речь, оставившую у всех незабываемое впечатление, ему была устроена бурная и продолжительная овация.

Тов. Каменев в нескольких словах резюмировал общее настроение:

— Мы можем быть согласны или несогласны со взглядами тов. Ленина, можем расходиться с ним в оценке того или иного положения, но во всяком случае в лице т. Ленина вернулся в Россию гениальный и признанный вождь нашей партии, и вместе с ним мы пойдем вперед, навстречу социализму.

Тов. Каменев нашел объединяющую формулу, приемлемую даже для тех, кто еще колебался, не разобравшись в потоке новых идей. Все присутствующие солидаризировались с Львом Борисовичем единодушными горячими аплодисментами.

Во всяком случае, несмотря на те или иные разногласия, единство партии было сохранено. Под руководством своего дальновидного вождя она прошла через победы и неизбежные, временные, поражения, пока, наконец, не достигла триумфа в своей героической борьбе за рабоче-крестьянскую власть.

2. 20—21 АПРЕЛЯ.

20 апреля, вечером, возвратившиеся из Петрограда товарищи сообщили Кронштадтскому партийному комитету, что в Питере неспокойно. Как раз в это время у нас происходило партийное собрание. Я предложил одному из приехавших кронштадтцев — матросу т. Колбину — доложить о происходящих в Питере событиях. Но его слова не создавали сколько-нибудь отчетливой картины. Была какая-то демонстрация, на Невском шла непонятная

стрельба... и только. Другие товарищи также не внесли ясности.

Наш жгучий интерес к развивавшейся борьбе в Питере, с которым мы жили общей политической жизнью, на этот раз не был удовлетворен.

На следующий день по телефону позвонил из Питера т. Н. И. Подвойский. Оговорившись, что по проводу он всего сообщить не может, т. Подвойский от имени военной организации потребовал немедленного приезда в Питер надежного отряда кронштадтцев. Встревоженный, прерывистый голос т. Подвойского обнаруживал, что в Питере положение действительно серьезное. Мы тотчас разослали телефонограммы по судам и береговым отрядам, приглашая каждую часть выделить нескольких вооруженных товарищей для поездки в Питер.

Когда наши друзья собрались на просторной террасе партийного дома, еще недавно служившего комфортабельной дачей адмиралу Бутакову, я произнес несколько слов по поводу обострившегося положения в Питере. Сославшись на отсутствие подробных сведений, я призвал товарищей немедленно ехать в Питер, быть готовыми, если понадобится, в любой момент умереть за революцию на улицах Петрограда. Собравшиеся проявили самоотверженную готовность следовать куда угодно, где только подвергается хоть малейшей опасности драгоценная судьба революции.

Настроение кронштадтцев в тот день, как всегда, было полно решимости и отваги, нетерпеливого желания схватиться с силами контр-революции. Самая ничтожная угроза революции со стороны Временного Правительства или близких к нему кругов заставляла настораживаться красных кронштадтцев, судорожно схватывать винтовки и требовать от своих вождей немедленного похода в Питер на выручку уже достигнутых завоеваний революции, которые, несмотря на их сравнительное ничтожество, служили в глазах кронштадтцев верным залогом близкого пролетарского торжества.

Естественно, что призыв на помощь, исходивший от большевистских партийных верхов, нашел чуткий отклик в настроениях революционного Кронштадта. Политическая

обстановка, сложившаяся в Питере к 21 апреля, еще не требовала больших подкрсплений. Поэтому готовый к отправке отряд, сформировавшийся по принципу представительства двух-трех человек от каждой части, насчитывал от ста до полутораста штыков. Этот небольшой отряд являлся передовым застрельщиком, за которым всегда готовы были последовать тысячи вооруженных бойцов.

Еще засветло отряд на пароходе выехал из Кронштадта. В Ораниенбауме была пересадка на поезд. Выгрузка в Петрограде на Балтийском вокзале произошла уже в вечерней темноте.

По глухой набережной Обводного канала и по необычайно пустынному Измайловскому проспекту, где только изредка мелькали одинокие пешеходы, мы, шествуя по середине мостовой, с винтовками, взятыми «на плечо», и держа мерный походный шаг, не навлекали на себя никаких подозрений.

На узком мосту, перекинутом через Фонтанку у Александровского рынка, мы обогнали прохожего, в котором, при свете фонаря, упавшем на его лицо, я узнал брата Семена Рошаля — Михаила. Я окликаю его. Он тотчас отделяется от тротуара, подходит ко мне и, не владея собой, дрожащим, нервно захлебывающимся голосом, в котором слышится безысходная, жгучая тревога, бросает слова:

— Знаете, им удалось натравить солдат на рабочих... Я был сегодня на Невском... Я сам видел стрельбу... Это ужасно...

Стараюсь, как могу, успокоить, обнадежить его, ободрить и уверить, что сегодняшняя перестрелка — только единичный эпизод, ни в малейшей степени не способный задержать или замедлить ход развития революции. Михаил Рошаль недолго сопровождает нас, затем прощается и уходит.

На углу Садовой и Невского нас задерживают несколько офицеров и штатских меньшевистско-эсеровского вида. Один из них, в новом, с иголочки, пальто и меховой шапке, пытливо задает нам вопрос:

— Вы идете по приказанию Временного Правительства?

— Да, по приказанию Временного Правительства, — твердым тоном отвечаю я.

Внешний вид стройной воинской части, фуражка морского офицера и безапелляционный ответ внушают доверие

меньшевику или эсеру, и, пропуская нас, он говорит: «Можете проходить. Я спросил потому, что сегодняшним приказом воспрещено появляться на улице с оружием без особого разрешения Временного Правительства. Но раз вы идете по приказанию, то можете продолжать свой путь. В противном случае мы бы вас задержали». Итак, с помощью хитрости, благополучно миновав меньшевистско-эсеровскую преграду, мы пересекаем Марсово поле и, отмерив длину Троицкого моста, вступаем на Петербургскую сторону. Через несколько минут мы уже в доме Кшесинской. Поднимаемся по лестнице во второй этаж и входим в большую комнату с длинным столом, где часто происходили не только рядовые собрания, но и заседания общегородских партийных конференций.

В комнате масса народу: одни товарищи сидят на скамейках, другие стоят у стены. В момент нашего появления говорил т. Подвойский. Увидя вливавшихся непрерывным потоком кронштадтцев, он приветствовал нас от имени военной организации и в кратких словах обрисовал создавшееся в Питере положение в связи с цинично-империалистической нотой Милюкова, вызвавшей демонстрации под лозунгом «Вся власть Советам», которые закончились кровавыми столкновениями рабочих с контр-революционной демонстрацией буржуазии на Невском проспекте.

Введя кронштадтцев в. курс событий, Николай Ильич обратился с призывом к сплочению и организации сверху донизу, вплоть до заводов и полков, где отсталые товарищи крайне нуждаются в прояснении их классового самосознания. Из речи т. Подвойского тотчас были сделаны практические выводы и для товарищеского, непосредственного общения все кронштадтцы были немедленно распределены по питерским заводам и полкам. Я был назначен в Преображенский полк, один из самых реакционных.

22 апреля, с раннего утра, все кронштадтцы были на своих местах. В казармах Преображенского полка, среди грязных нар, я заявил солдатам, что хочу устроить митинг.

Словно из-под земли передо мною вырос дежурный офицер и робко поинтересовался, на какую тему я думаю говорить. Узнав, что предмет моей речи политический — «О текущем моменте»— молодой офицер подозрительно спросил меня,

не предполагаю ли я призывать солдат к выступлению на улицу. Я успокоил любознательного поручика, что в данный момент это в мою программу не входит. Офицер воспрял духом и проболтался о только что полученном приказе, воспрещающем выпускать солдат из казармы. Офицерство Преображенского полка вообще было заметно растеряно и, после минувших уличных демонстраций, с волнением и страхом ожидало грядущих событий.

Вскоре солдаты собрались на митинг в огромном полковом зале. Большинство аудитории составляли пожилые солдаты, почти сплошь бородачи, отцы семейства. Поднявшись на импровизированную эстраду, я начал свою агитационную речь. Ее содержание сводилось к оценке положения, созданного предательской политикой временного буржуазного правительства, и к изложению наших целей и задач.

Пока я говорил на эту тему, все шло хорошо. Солдаты слушали, хотя и без подъема, но, во всяком случае, спокойно и равнодушно, словно соблюдая нейтралитет. Однако, стоило мне только упомянуть имя товарища Ленина и перейти к его апологии, как меня перебили громкими выкриками: «Долой, немецкий шпион!». Я повысил голос и, доходя почти до крика, продолжал перечисление заслуг т. Ленина перед революционным движением.

Тогда группа непримиримых с шумом, громко топая сапогами, вышла из залы. Однако большинство осталось слушать и терпеливо дало мне докончить свою речь. По окончании ее даже раздались аплодисменты.

Несколько офицеров, как куры на насести, сидели на окнах и злобно держались в отдалении от солдат и от ораторской трибуны, словно подчеркивая свое нежелание смешиваться с толпой. Однако за пределы враждебных, уничтожающих взглядов их демонстрация не пошла.

Преображенский полк справедливо считался тогда одной из опор контр-революционного Временного Правительства. Короткое пребывание в его лагере показало мне, что дела контр-революции обстоят не так уж блестяще. В лице Преображенского полка она не имела твердой опоры, симпатии к буржуазии там не были прочными и базировались на безграничной отсталости отцов семейства, крестьян-бородачей, оторванных от сохи. Чувствовалось, что вскоре придет

настоящий день, когда революция дойдет, наконец, до их заскорузлого мозга и прояснит даже их политическое сознание.

Самые отсталые гвардейские части, мало-по-малу, начинали выходить из-под влияния своего белогвардейского офицерства и покидать Временное Правительство.

После апрельских дней это особенно резко стало бросаться в глаза. Исторические события 20—21 апреля сыграли роль этапа в этом сложном процессе. Они послужили прообразом 3—5 июля, как июльские дни, в свою очередь, были прообразом Октября.

3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ.

В скором времени нам, кронштадтским работникам, стало известно о предстоящей в 20-х числах апреля Всероссийской партийной конференции. Мы стали энергично готовиться к ней. Всюду по частям устраивались митинги, на которых в самой популярной форме разъяснялись задачи партийной конференции и ее значение. Вслед затем было созвано общегородское партийное собрание. С докладами выступали т. Смилга и я. После коротких прений, не только не обнаруживших никаких разногласий, а лишь подчеркнувших теснейшую сплоченность кронштадтской организации, состоялись выборы делегатов на партийную конференцию. Избранными оказались Смилга, Рошаль и я. В скором времени мы все трое выехали в Питер, чтобы принять участие в работах апрельской конференции.

Первые заседания апрельской партийной конференции происходили на Петербургской стороне, в здании Женского медицинского института. После долгих лет подпольной работы, после заграничных съездов и конференций в Лондоне, Праге и Париже наша легализовавшаяся партия, выйдя на простор открытой политической борьбы, впервые устраивала легальное Всероссийское совещание. Здесь ковались партийные лозунги, коллективно вырабатывались тактические приемы, которые через несколько месяцев привели к Октябрьской революции и дали ей торжество. Здесь встречались разлученные многолетней эмиграцией, каторгой, ссылкой и тюрьмой старые, спаянные работой, партийные друзья.

Настроение было необычайно приподнятое. От начала до конца конференция проходила под знаком Ильича. На организационном заседании в актовом зале Женского медицинского института был избран президиум конференции, куда вошли: Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Свердлов, Федоров и другие товарищи.

Первым пунктом порядка дня были доклады с мест. В общем и целом, на основании этих докладов, можно было составить вполне отрадное впечатление: наша партия отлично справлялась с выпавшей на ее долю громадной исторической задачей и успешно боролась с враждебными ей партиями. Во время перерыва в коридоре я услышал громкий голос ныне покойного тов. Ивана Рахия: «Товарищи-питерцы, собирайтесь на организационное заседание». Мы, кронштадтцы, тоже вошли в состав питерской делегации.

Как-то, в один из первых дней конференции, тов. Федоров сделал краткое сообщение о только что состоявшемся заседании Петроградского Исполкома, где обсуждался вопрос о создании коалиционного министерства и где, по предложению Церетели, было вынесено решение о невхождении социалистов в состав Временного Правительства.

— Они понимают, — комментировал т. Каменев перед группой товарищей, столпившихся у трибуны, — они понимают, что если они залезут в эту коробку, то им оттуда не выбраться. Поэтому они предпочитают поддерживать Временное Правительство снаружи, не пятная своих «белоснежных» одежд вхождением в состав кабинета.

Через несколько дней объективная логика соглашательства вынудила меньшевиков и эсеров войти в состав кабинета, организованного князем Львовым, этим последним министром, получившим свое назначение из рук царя.

После того, как доклады с мест были закончены, все члены конференции, по предложению тов. Зиновьева, разбились на секции. Я вошел в секцию по Интернационалу. Здесь работали: т.т. Зиновьев, Инесса Арманд, Слуцкий, Рошаль и другие. Все заседания секции происходили в доме Кшесинской.

В нашей секции тов. Зиновьев прочел свой проект резолюции, в которой крушение II Интернационала объяснялось, прежде всего, фактом образования рабочей аристократии, оторвавшейся от широких масс пролетариата. Никаких принципиальных разногласий не обнаружилось. Во время прений вносились только редакционные поправки. Тов. Инесса Арманд, возражая одному из товарищей, сделала содержательный доклад о разнообразных группировках во французском рабочем движении. С исключительной теплотой она говорила об интернационалистском течении во Франции. В том же ответе, отметив чью-то ошибку, подчеркнула, что не следует смешивать Лорио с соглашателем Жаном Лонге. В общем, резолюция, составленная и предложенная тов. Зиновьевым, была принята без значительных изменений.

Очередные пленарные заседания конференции состоялись уже не в Женском медицинском институте, а на курсах Лохвицкой-Скалон. Среди делегатов упорно циркулировал слух, что профессора Женского медицинского института, узнав, что в стенах их возлюбленной alma mater происходит конференция большевиков, да еще при участии знаменитого Ленина, решительно отказали нам в гостеприимстве. Аудитория курсов Лохвицкой-Скалон была расположена амфитеатром. С докладом по вопросу об отношении к разным партиям тут выступил тов. Зиновьев. Этот доклад на ближайшее время определил собою тактическую линию большевистской партии. На этом заседании, помню, среди других делегатов присутствовали: тов. Лацис («Дядя» с Выборгского района), тов. Еремеев, Соловьев, Рошаль и др.

Последнее заключительное заседание конференции имело место в доме Кшесинской. Оно происходило в большом зале 1-го этажа, где в день приезда Ленина из Швейцарии его чествовали партийные друзья. С докладом по национальному и аграрному вопросам выступил сам тов. Ленин. Он был в ударе и блестяще отстаивал тезис «о праве наций на самоопределение, вплоть до отделения», беспощадно называя шовинистами всех тех, которые этого пункта не приемлют или принимают его с известными оговорками.

В этот день, еще с утра, по рукам делегатов ходили различные кандидатские списки членов будущего ЦК. Между

ними циркулировал один список, предлагавшийся тов. Лениным. В этом списке стояли имена товарищей Зиновьева, Каменева, Сталина, Стасовой и др. Тов. Смилга, подойдя ко мне, сообщил, что его предполагают провести в ЦК. Он спросил меня, не будет ли возражений со стороны кронштадтской делегации, так как ему, в таком случае, придется распрощаться с Кронштадтом. Я ответил, что так как работа в ЦК несравненно более ответственна, чем деятельность кронштадтской организации, то Кронштадтский комитет не будет возражать против освобождения его от кронштадтской работы.

Согласно принятого регламента, по поводу каждой кандидатуры предоставлялось слово двум ораторам: одному—за, другому—против. С поддержкой кандидатур т.т. В. П. Ногина и В. П. Милютина горячо выступил т. Зиновьев. Он подчеркнул, что эти товарищи в свое время ушли от нас и работали вместе с меньшевиками, но уже со времени империалистической войны они честно вернулись обратно и слились с нашей партией. Тов. Зиновьев настаивал, что по своим качествам и по многолетнему стажу служения пролетариату они заслуживают быть избранными в руководящий партийный орган. Конференция согласилась с этими доводами и провела их обоих в новый ЦК. Выборы происходили посредством подачи записок. Для подсчета голосов была избрана тройка в составе тов. Соловьева, меня и еще 3-го товарища. В новый ЦК на первом месте прошли: Ленин, Зиновьев, Каменев, Сталин, Милютин, Ногин, Стасова и др. Помню, тов. Зиновьев был огорчен тем обстоятельством, что в ЦК не был избран тов. Теодорович.

После пения Интернационала первая легальная конференция партии была объявлена закрытой. Уже на рассвете делегаты расходились по домам. Конференция продемонстрировала изумительное единодушие партии. Во главе нее был поставлен энергичный ЦК, оказавшийся вполне достойным стоявших перед партией исторических задач и талантливо организовавший великую победу пролетариата в достопамятные октябрьские дни.

V. «КРОНШТАДТСКАЯ РЕСПУБЛИКА».

Это было 17 мая 1917 г., как раз во время приезда в Кронштадт тов. А. В. Луначарского.

Когда мы вошли в Совет, там обсуждался вопрос об анархистах, самочинно занявших помещение на одной из лучших улиц Кронштадта. Этот поступок вызвал всеобщее возмущение. Анатолий Васильевич потребовал слова и прочел целую лекцию об анархизме. Разумеется, он отмежевал идейных анархистов от тех лиц, которые самовольно, помимо местного Совета, захватывают квартиры, но, в общем, его речь была проникнута миролюбием и содержала в себе призыв к попытке полюбовного соглашения. Ввиду того, что нужно было торопиться на Якорную площадь, где был назначен митинг с участием тов. Луначарского, мы ушли из Совета, не дождавшись конца заседания.

Следующим пунктом порядка дня значился параграф о комиссаре временного правительства Пепеляеве. Последний был довольно безличным человеком, вел замкнутый образ жизни в четырех стенах своего кабинета и не имел абсолютно никакого влияния на ход политической жизни Кронштадта, кипевшего тогда в огне революции. Ввиду этого, вопрос о Пепеляеве, как не имевший серьезного значения, совершенно не привлек нашего внимания. Мы полагали, что обсуждение этого пункта порядка дня не выйдет из рамок частных конкретных вопросов. Уже не впервые в нашей практике, от времени до времени, происходили трения между представителем временного правительства, олицетворявшим собою власть буржуазии, и Кронштадтским Советом, отражавшим интересы рабочих, матросов и солдат.

Но оказалось, что из этого обсуждения незначительного вопроса вылилось серьезное принципиальное решение, оказавшееся чреватым большими последствиями.

Митинг на Якорной площади был в полном разгаре; т. Луначарский с горячим воодушевлением произносил страстную речь, когда к трибуне, у которой стояли С. Рошаль и я, сквозь густую толпу протискались прибежавшие из Совета товарищи, которые сообщили новость, поразившую нас своей неожиданностью. Оказалось, что после нашего ухода, при обсуждении вопроса о Пепеляеве, Советом была вынесена резолюция об упразднении должности назначенного сверху правительственного комиссара и о принятии Кронштадтским Советом всей полноты власти исключительно в свои руки [1]). Это постановление в первый момент поразило нас своим непредвиденным радикализмом. Дело в том, что в то время наша партия, выдвигавшая лозунг о переходе власти в руки Советов во всероссийском масштабе, в Кронштадтском Совете была еще в меньшинстве. Большинство составляло беспартийное «болото», шедшее за своим вождем, законченным обывателем А. Н. Ламановым, который одно время носился с несуразной идеей о создании «партии беспартийных». Конечно, относительное число голосов и политическое влияние большевистской фракции были значительны, особенно, когда за одно с нами голосовали левые эсеры, но абсолютного большинства в Совете мы все-таки не имели. Поэтому, не рассчитывая на успех, мы ни разу не выступали с проектом об упразднении, за ненадобностью, поста правительственного комиссара. И на этот раз предложение о переходе власти к Совету исходило не от нас, а от фракции беспартийных, а наши товарищи-большевики совместно с левыми эсерами лишь поддержали расхрабрившееся «болото».

Получив это известие, мы отнеслись к нему положительно. Принятое решение, по существу, мы считали правильным. Мы не видели в нем ничего иного, как заявление во всеуслышание о том фактическом порядке вещей, который сложился у нас в Кронштадте с первых дней февральско-мартовской революции. С самого начала у нас Совет был — все, а комиссар временного правительства — ничто.

---

[1]) Вот подлинный текст этой исторической резолюции: «Единственной властью в городе Кронштадте является Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, который по всем делам государственного порядка входит в непосредственный контакт с Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов».

Едва ли еще где-нибудь в России наместник князя Львова и Керенского был в таком жалком положении, как у нас Пепеляев. В действительности он не обладал никакой властью: судьбами Кронштадта вершил наш доблестный Совет.

На следующее утро после принятия этой достопамятной резолюции, т.-е. 18 мая, к нам в Кронштадт, совершенно неожиданно, приехал член ЦК партии большевиков, молодой рабочий, тов. Григорий Федоров. Посещение цекистов было для нас вообще большим и редким событием. В данном случае прибытие т. Г. Федорова, без предварительного извещения, являлось совершенно необычным.

— Что у вас тут такое произошло? В чем дело? Что означает создание Кронштадтской республики? ЦК не понимает и не одобряет вашей политики. Вам обоим придется поехать в Питер для объяснения с Ильичем, — проговорил тов. Г. Федоров мне и С. Рошалю еще в саду, примыкавшем к зданию нашего партийного комитета. Посоветовавшись, мы с С. Рошалем пришли к выводу, что ему необходимо остаться в Кронштадте, а в Питер поеду я...

Быстроходный катер вскоре доставил нас к Николаевской набережной, и через некоторое время мы с Г. Федоровым уже стучались в дверь редакционного кабинета «Правды», помещавшейся тогда на Мойке.

— Войдите, — послышался хорошо знакомый, отчетливый голос Ильича.

Мы отворили дверь. Тов. Ленин сидел, вплотную прижавшись к письменному столу, и, низко наклонив над бумагой свою голову, нервным почерком бегло писал очередную статью для «Правды».

Закончив писать, он положил ручку в сторону и бросил на меня сумрачный взгляд исподлобья.

— Что вы там такое наделали? Разве можно совершать такие поступки, не посоветовавшись с ЦК? Это—нарушение элементарной партийной дисциплины. Вот за такие вещи мы будем расстреливать, — принялся меня отчитывать Владимир Ильич.

Я начал свой ответ с объяснения, что резолюция о переходе власти в руки Кронштадтского Совета была принята по инициативе беспартийных.

— Так нужно было их высмеять, — перебил меня тов. Ленин, — нужно было им доказать, что декларирование Советской власти в одном Кронштадте, сепаратно от всей остальной России, это — утопия, это — явный абсурд.

Я указал, что в момент решения данного вопроса руководителей большевистской фракции не было в Совете, так как в то время они выступали на митинге на Якорной площади. Я детально описал Ильичу, что по существу положение, создавшееся в Кронштадте, все время было таково, что всей полнотой власти обладал местный Совет, а представитель временного правительства, комиссар Пепеляев, не играл абсолютно никакой роли. Таким образом решение Кронштадтского Совета только оформляло и закрепляло реально создавшееся положение. Факт, существовавший в повседневной практике, был превращен в постоянный закон.

— Мне все-таки непонятно, зачем понадобилось подчеркивать это положение и устранять безвредного Пепеляева, по существу служившего вам хорошей ширмой? — спросил Владимир Ильич.

Я уверил тов. Ленина, что наши намерения не преследуют своей целью образование независимой Кронштадтской республики и не идут дальше избрания Кронштадтским Советом правительственного комиссара из своей собственной среды.

— Если мы, вообще, выдвигаем принцип выборности чиновников, — говорил я, — то почему нам частично, когда это возможно, не начать этого делать сейчас? Конечно, этот выборный комиссар не может быть большевиком, так как ему, до известной степени, придется проводить политику временного правительства. Но почему не может быть выборного комиссара вообще? Всегда найдется честный беспартийный, который мог бы выполнить такую роль. Почему мы, большевики, должны бороться против принципа выборности комиссара, если того желает большинство Кронштадтского Совета?

Мои объяснения, видимо, несколько успокоили Ильича. Его выразительное лицо мало-по-малу смягчалось.

— Наиболее серьезная опасность заключается в том, что теперь временное правительство будет стараться поставить вас на колени, — после короткого раздумья, медленно и выразительно произнес Владимир Ильич.

Я обещал, что мы приложим все усилия, дабы не доставить триумфа временному правительству, не стать перед ним на колени.

— Ну, хорошо, вот вам бумага, — немедленно пишите заметку в несколько строк о ходе последних кронштадтских событий, — примирительным тоном предложил мне Ильич, протягивая лист чистой бумаги.

Я тут же уселся и написал две страницы. Владимир Ильич сам внимательно просмотрел заметку, внес туда несколько исправлений и отложил ее для сдачи в набор.

На прощанье, пожимая мне руку, он попросил передать кронштадтским товарищам, чтобы на следующий раз они не принимали столь ответственных решений без ведома и предварительного согласия ЦК. Разумеется, я с готовностью обещал дорогому вождю строжайшее соблюдение партийной дисциплины. Владимир Ильич обязал меня ежедневно звонить по телефону из Кронштадта в редакцию «Правды», вызывать к аппарату его самого и докладывать ему важнейшие факты кронштадтской политической жизни.

С облегченным сердцем я возвращался в Кронштадт; было приятно, что Ильич, в конце концов, примирился с резолюцией Кронштадтского Совета, к которой вначале он относился несочувственно. Тов. Ленин только боялся, что временное правительство заставит нас капитулировать перед собою, что мы будем вынуждены с позором взять свою резолюцию назад. Любопытно, что т. Ленин совсем не настаивал на отказе от резолюции, а, напротив, опасался нашего отступления от нее. Наконец, до беседы со мною Ильич, видимо, не имел точного представления о положении кронштадтских дел и о размахе наших намерений. Конечно, если бы мы стремились к образованию независимой Кронштадтской Советской Республики, то такое создание государства в государстве было бы явной утопией, ребяческой затеей. Но наши помыслы не шли дальше выборности правительственного комиссара Кронштадтским Советом. Таким образом, сознавая свою ответственность перед избирателями, правительственный комиссар был бы вынужден считаться с местным Советом и от времени до времени делать ему систематические доклады, пользуясь его указаниями и работая под его контролем.

Очередная задача, стоявшая сейчас перед нами, заключалась в том, чтобы, с одной стороны, не дать поставить себя на колени, избежать позора капитуляции, а с другой стороны, не дать повода временному правительству использовать данный конфликт в целях вооруженного разгрома Кронштадта. Прогноз Владимира Ильича оказался как нельзя более справедливым. Временное правительство, действительно, попыталось поставить нас на колени. Первая ласточка не заставила себя долго ждать.

В ближайшее воскресенье, 21 мая, мы по телефону получили извещение, что из Питера к нам едет делегация Петросовета. В назначенный час почти все члены Кронштадтского Исполкома и Президиума были на пристани. Слух о приезде питерских гостей быстро распространился по всему городу, и к моменту прибытия парохода большая толпа сосредоточилась на Петроградской пристани. За недостатком мест, наиболее предприимчивые зрители влезли на фонари.

Не зная намерений нежданных гостей, мы встретили их без речей. В составе Петроградской делегации были Чхеидзе, Гоц, Анисимов, Вербо и другие меньшевики и эсеры. Познакомившись с ними, мы повели их в Кронштадтский Совет. Приезжие меньшевики и эсеры имели достаточно такта, чтобы сразу не показать своей политической вражды. Они играли роль беспристрастных зрителей, приехавших в Кронштадт с целью объективного изучения создавшейся у нас политической обстановки.

Почти все члены Исполкома, телефонограммами вызванные в Совет, явились на заседание. Взяв слово, Чхеидзе прежде всего приветствовал Исполком Кронштадтского Совета и заявил, что их делегация приехала исключительно в целях товарищеской информации. Председатель Исполкома Ламанов подробно изложил фактическую сторону событий последних дней. Чхеидзе внимательно слушал его, широко раскрыв свои большие немигающие глаза, и от времени до времени глубокомысленно кивал головой. В общем, на заседании Исполкома был в полной мере соблюден тон взаимной корректности. Зато политические страсти приехавших делегатов заметно разнуздались на заседании Совета, которое происходило тотчас после Исполкома. Чхеидзе по-прежнему выдерживал старый тон любезностей и компли-

ментов. Но этот искусственный, натянутый тон совершенно прорвался во время выступления эсера Гоца. Не лишенный темперамента оратор, он не сдержался и в своей речи позволил себе резкие выпады по нашему адресу. Конечно, его антибольшевистские нападки не имели никакого успеха, но, тем не менее, этим был нарушен тот характер отношений, который пытался установить Чхеидзе, игравший роль доброго дядюшки. В результате, приезд петросоветских гостей не принес ничего существенного и ни в какой степени не разрешил конфликта, возникшего между Кронштадтским Советом и временным правительством. Повидимому, делегаты не имели никаких полномочий. Они приезжали только для информации.

Это была первая глубокая разведка вр. пр-ва. Вслед за этим пробным шагом, им были предприняты другие шаги. В один прекрасный день к нам без всякого предупреждения совершенно неожиданно приехали министр почт и телеграфа И. Г. Церетели и министр труда М. И. Скобелев. На экстренном заседании Исполкома, созванном по поводу их приезда, Церетели заявил, что он и Скобелев командированы вр. пр-вом со специальным поручением добиться определенного соглашения с Кронштадтским Советом.

Тут же он задал нашему Исполкому от имени временного правительства четыре следующих вопроса:

1) об отношении к центральной власти,
2) о правительственном комиссаре,
3) об органах самоуправления и суда,
4) об арестованных офицерах.

Всю ночь напролет, не смыкая глаз, мы вели разговор со Скобелевым и Церетели. По первому пункту мы сразу заявили, что признаем временное правительство и до тех пор, пока оно существует, считаем его распоряжения столь же распространяющимися на Кронштадт, как и на всю Россию. Конечно, мы признаем временное правительство и подчиняемся ему, скрепя сердце, только по необходимости. Вместе с этим мы заявили, что мы решительно не доверяем временному правительству и сохраняем за собой право критики. Мы подчеркнули, что будем вести борьбу за то, чтобы по всей России вся полнота политической власти перешла в руки Советов. Церетели и Скобелев удовлетворились этим ответом, заявив, что самое главное для них является наше

признание временного правительства и подчинение его приказаниям, а доверие или недоверие временному правительству является нашим частным делом. По вопросу о комиссаре между членами Кронштадтского Исполкома и представителями временного правительства разгорелись самые ожесточенные споры. Министры-«социалисты» горячо настаивали на обязательности порядка назначения правительственного комиссара.

— Временное правительство должно иметь в Кронштадте своего человека, которого оно знает, — в один голос заявили Скобелев и Церетели. Но мы настаивали на том, чтобы во главе гражданской администрации Кронштадта стояло лицо, облеченное доверием Кронштадтского Совета, избранное им самим.

После прений, в которых принимали участие наиболее видные члены Исполкома и представители всех фракций, была избрана специальная комиссия для составления текста соглашения. В эту комиссию, между прочим, вошли Рошаль и я. Поздно ночью (так как заседание Исполкома долго затянулось) мы собрались в одном из офицерских флигелей и принялись обсуждать проект соглашения. Я сел за письменный стол. Скобелев развалился на кушетке. Церетели нервно прогуливался по комнате. Я писал, а делегаты временного правительства от времени до времени вставляли в мой текст те или иные поправки; иногда на почве разногласий между нами возникали ожесточенные прения, но, в общем, по большинству вопросов удалось притти к соглашению.

Относительно комиссара временного правительства было решено, что он не будет назначаться из Петрограда, а должен выбираться Кронштадтским Советом и утверждаться временным правительством; точно так же в своей деятельности он был обязан подчиняться распоряжениям временного правительства и беспрекословно проводить их в жизнь. При обсуждении этого вопроса делегаты временного правительства высказывали опасения, что выборный комиссар будет нарушать предписания центральной власти в случае его несогласия. «Например, если выборным комиссаром окажется большевик, то ведь он будет проводить свою партийную политику?»—вопрошал нас Церетели. Мы ответили,

что большевик, разумеется, не может принять на себя данный пост ввиду его полного несогласия с политикой временного правительства. Таким образом факт избрания большевика был исключен. Это сразу значительно успокоило не в меру волновавшегося Церетели и создало почву для соглашения по данному вопросу.

— Сделайте красивый жест, — красноречиво уговаривал Церетели,—переведите арестованных офицеров в Петроград, и вы этим вырвете почву из-под ног буржуазных клеветников, распространяющих ужасы о кронштадтских тюрьмах.

Церетели упорно добивался их освобождения, но это было для нас неприемлемо. Тогда Церетели и Скобелев попробовали провести решение этого вопроса, в желательном для себя смысле, под флагом их перевода в одну из Питерских тюрем. Они обещали, что в Петрограде над ними будут произведены следствие и суд. По третьему пункту между нами и министрами никаких разногласий не вышло, так как мы ответили, что в настоящее время не предполагаем вносить изменений в систему организации судов и органов самоуправления, как учреждений общегосударственных.

Наконец, четвертый пункт—«больной вопрос», как назвал его Церетели, снова вовлек нас в самые ожесточенные споры.

Однако, хорошо зная настроение кронштадтских масс, мы учитывали, что такой исход этого дела будет встречен крайне несочувственно, так как перевод арестованных офицеров в Петроград кронштадтские матросы сразу расценят, как замаскированное освобождение. По этому вопросу, так же, как и по многим другим, Церетели и Скобелев были вынуждены уступить. Было решено, что в Кронштадт приедет специальная следственная комиссия, которая совместно с нашей комиссией на месте разберет все дела, виновных предаст суду, а невинных отпустит.

Церетели и Скобелев были все время в возбужденном настроении. Церетели часто хватался за голову, восклицая: «Неужели будет гражданская война, неужели не удастся предотвратить ее!». При этом для запугивания нас он заявлял, что солдаты Петроградского гарнизона резко настроены против Кронштадта и прямо рвутся на его усмирение. Имея точное понятие о настроении Петроградского гарнизона, мы не особенно были склонны разделять опасения Церетели.

Во время своего недолгого пребывания в Кронштадте, Церетели и Скобелев попробовали установить непосредственный контакт с кронштадтскими массами. По их настоянию по всем кораблям были разосланы телефонограммы о митинге с их участием. В назначенный час они оба появились на Якорной площади. Довольно многочисленная толпа в течение митинга все больше и больше редела, пока, наконец, около трибуны не осталась маленькая кучка людей.

Речи руководителей Петроградского Совета не произвели никакого впечатления на кронштадтцев. Наиболее острые, социал-соглашательские места речи Церетели были громко освистаны. В продолжение всего их выступления, они беспрерывно перебивались враждебными выкриками толпы. Вернувшись с этого митинга, Церетели, покачивая головой, говорил мне: «Да, здорово настроены вами массы». Было видно, что здесь он, быть может, впервые за все время революции сознал беспомощность своего красноречия перед лицом сознательных масс революционного Кронштадта.

После того, как на ночном заседании нам удалось достичь соглашения, этот проект был подвергнут обсуждению на заседании нашего Исполкома и единогласно принят. После того ему предстояло пройти следующую инстанцию, т.-е. пленум Кронштадтского Совета.

На экстренном заседании пленума в пользу данного соглашения высказались как местные работники, так и Церетели, горячо произнесший по существу примирительную речь.

В тот же день Церетели и Скобелев, удовлетворенные своей миссией, выехали в Петроград. А вечером т. Рошаль в беседе с одним петербургским корреспондентом заявил ему, что достигнутое соглашение вовсе не означает победы временного правительства, а оставляет положение вещей без изменения. Это свое мнение тов. Рошаль даже, в виде письма в редакцию, опубликовал в газетах. По существу это было совершенно правильно. Мы не сделали никаких существенных уступок, а, напротив, добились коекаких практических результатов. Но, конечно, не следовало дразнить гусей и афишировать нашу победу. Это выступление Семена чуть не сорвало всего соглашения. Едва

его заявление достигло до Питера, как там в меньшевистско-эсеровских кругах и в рядах временного правительства поднялся неслыханный шум: кронштадтцы, мол, отказываются от своего соглашения, кронштадтцы ведут двойственную политику, кронштадтцы не держат своих обязательств. Так говорили и писали буржуазные органы.

В связи с этим шумом, нами было получено извещение о срочной поездке в Кронштадт тов. Троцкого. Я выехал ему навстречу на одном из буксиров, постоянно поддерживавших нашу связь с Питером.

Захватив т. Троцкого на Николаевской набережной, я удалился с ним в каюту и подробно изложил ему все факты последних дней, обстоятельства наших переговоров с представителями Петросовета и временного правительства. Лев Давыдович решительно выразил одобрение наших действий, но осудил поступок Рошаля, из-за которого меньшевики и эсеры были готовы снова лезть на стену.

По приезде в Кронштадт, тов. Троцкий тотчас же созвал экстренное заседание Кронштадтского Исполкома. Его предложение об издании манифеста, конкретно разъясняющего наше отношение ко всем спорным вопросам, было принято с полным единодушием. Он тут же набросал проект манифеста.

На следующий день манифест был принят Советом, а затем на Якорной площади был созван митинг, где я огласил текст манифеста, принятого Кронштадтским Исполкомом. Поднятием рук весь митинг единогласно вотировал принятие манифеста. Он был срочно размножен в нашей партийной типографии в огромном количестве экземпляров, распространен среди пролетариата и гарнизона Кронштадта и разослан в Петроград и провинцию.

Через несколько дней руководители Кронштадтского Совета получили внезапное приглашение на очередное заседание Петросовета. Заседание происходило в огромном зале Мариинского театра. Из партера на сцену были проложены сходни. На сцене, при ярком освещении рампы, за столом сидели Чхеидзе, Дан и другие члены Президиума Петросовета. Из Кронштадта прибыли Рошаль, Любович, я и др.

Когда я подходил к столу президиума, чтобы записаться в ораторскую очередь, то Чхеидзе и Дан бросили на меня взгляды, насыщенные непримиримой ненавистью. Уже одно это незначительное обстоятельство предсказывало ожидающую нас атмосферу. Вскоре в театр приехал Керенский. Он был одет в военную форму. Его правая рука была на перевязи, и он театральным жестом предлагал для рукопожатия свою левую руку. Он произнес краткую, но истерическую речь и, быстро распрощавшись с членами Президиума, по сходням прошел в зрительный зал и быстрым ходом направился к выходу, где ожидал его автомобиль. В его последнем заключительном слове им было заявлено, что он заехал специально затем, чтобы попрощаться с Советом перед отъездом на фронт.

Это появление Керенского было такой пошлой бутафорской инсценировкой, все в этом выступлении так явно было рассчитано на эффект, все так было проникнуто искусственностью, что нам, кронштадтцам, чуждым этому духу, стало противно.

После отъезда Керенского Петросовет перешел к обсуждению злободневного кронштадтского вопроса. Все насторожились и превратились в одно сплошное напряженное внимание. С первым словом выступил рабочий — меньшевик Анисимов, который, не щадя слов, бранил нас за коварство, двоедушие и измену своим обязательствам. Против него с большими речами выступали Рошаль, Любович и я. Я говорил первым, и меня слушали хотя и внимательно, но враждебно.

Против нас была выпущена тяжелая артиллерия. Один за другим брали слово лучшие ораторы Петросовета, министры-«социалисты» Церетели, Чернов и Скобелев.

Их речи были полны обычных нападок против Кронштадтского Совета и его руководителей. Скобелев прямо угрожал прекращением снабжения Кронштадта денежными средствами и продовольствием; Чернов со своими обычными экивоками паясничал на сцене, и его речь была наиболее бессодержательна и убога. После министров-«социалистов» выступил анархист Блейхман. Но его неудачное, больное, нервное и озлобленное красноречие вызвало как раз обратный эффект. Вся аудитория словно зажглась и запылала неистовой злобой от этой искры блейхмановского красноречия.

Напряженную атмосферу блестяще удалось разрядить тов. Каменеву. Лев Борисович с огромным тактом ликвидировал впечатление, произведенное выступлением Блейхмана, и, сверх того, сумел настолько смягчить настроение зала, что принятие шельмовавшей нас резолюции по его предложению было отложено. Нужно сказать, что в продолжение всего заседания мы чувствовали себя как на скамье подсудимых. Временное правительство при участии поддерживавших его соглашательских партий, очевидно, решило подвергнуть нас остракизму и пригвоздить к позорному столбу.

Мы пережили неприятные минуты, но тем не менее сильного впечатления это заседание на нас не произвело. Зная меньшевистско-эсеровское большинство соглашательского Совета, мы и не ждали с его стороны иного отношения. Напротив, уходя с заседания Петросовета, мы были еще больше убеждены в абсолютной правильности нашей кронштадтской политики.

Во всех этих дипломатических переговорах, которые нам пришлось вести с подголосками буржуазии, мы, твердо помня завет Ильича, отстояли революционное достоинство Кронштадта и не позволили поставить себя на колени. Этим обстоятельством мы в значительной степени были обязаны тому же Ильичу, который со времени кронштадтской «республики» лично руководил по телефону каждым сколько-нибудь ответственным выступлением нашей кронштадтской организации.

VI. ВОКРУГ ФИНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ.

К июню 1917 года Кронштадт был прочно завоеван нашей партией. Правда, большинства мы там не имели даже в Совете, но фактическое влияние большевиков было по существу неограниченным.

Майский конфликт с временным правительством был изжит без всякого ущерба для нашего партийного достоинства. Напротив, успешная борьба с правительством князя Львова, за которым стоял меньшевистско-эсеровский Петроградский Совет, завоевала нам симпатии большинства беспартийных кронштадтцев.

В результате кризиса, получившего громкое имя «Кронштадтской республики», правительственный комиссар кадет Пепеляев был смещен, и его место занял выбранный нами безличный педагог Парчевский, который сразу был взят Кронштадтским Советом под большой палец. Таким образом, морально-политическое влияние Кронштадского Совета превратилось в реальную силу действительного хозяина положения. Фактически уже в этот момент, т.-е. задолго до Октябрьской революции, вся власть в Кронштадте перешла в руки местного Совета, иначе говоря, нашей партии, в действительности направлявшей текущую советскую работу. Благоприятное «внутреннее» положение заставило нас серьезнее заняться «внешней политикой». Прежде всего мы были вынуждены обратить внимание на Балтийский действующий флот, по существу составлявший с Кронштадтом единое целое. Из Ревеля и Гельсингфорса к нам неоднократно приезжали для связи матросы-большевики, которые в один голос жаловались на гнетущее эсеровское засилье.

Наши политические враги изо всех сил стремились внести отчуждение между большевистским Кронштадтом и дей-

ствующим флотом, к тому времени еще не вышедшим из-под влияния «соглашательских» настроений.

Крупный инцидент с временным правительством, крайне раздутый и преподнесенный доверчивой публике, как факт образования «независимой Кронштадтской республики», ещё больше подлил масла в огонь. Не было такого меньшевистско-эсеровского агитатора или журналиста, который не попытался бы нажить на этом событии политический капитал. В Балтийском флоте соглашательские словоблуды не жалели языков, крича на всех углах и перекрестках о «сепаратизме» кронштадтских большевиков и о Кронштадтской «республике», якобы отколовшейся от остальной России. Эта вредная ложь на все лады разносилась по судам и береговым командам, с недвусмысленной целью создания враждебного к нам отношения.

Мы решили парализовать эту клеветническую работу социал-соглашателей и ознакомить матросские массы Балтфлота с истинным положением в Кронштадте, а также одновременно, в процессе ознакомления с платформой Кронштадтского Совета, использовать данный вопрос, как исходную точку для расширения влияния нашей партии на Гельсингфорс, Або и Ревель. В этих видах, большевистская фракция Кронштадтского Совета на утреннем заседании 6 (19) июня приняла мое предложение об отправке специальной делегации во все главные морские базы Балтийского флота.

В перерыве между заседаниями фракции и пленума Совета я позвонил в редакцию «Правды» и, соединившись с Ильичем, рассказал ему, что фракция выдвигает мою кандидатуру для агитационной поездки, обещающей продлиться около десяти дней, и попросил его разрешения на соответствующую отлучку из Кронштадта. Ильич ответил, что если я ручаюсь, что дело от этого не пострадает и если другие товарищи берутся взять на себя ту часть работы, которую выполнял я, то с его стороны возражений нет.

Санкция т. Ленина меня обрадовала, так как поездка казалась мне весьма важной и привлекательной. Кронштадтский Совет одобрил идею отправки делегации, единогласно утвердив ее персональный состав, выдвинутый пофракционно.

Делегация была намечена в составе 9 человек, и в нее должны были войти 3 большевика, 3 эсера, 2 беспартийных и 1 меньшевик, но беспартийные предоставили свои места эсерам и меньшевикам; таким образом членами делегации оказались избраны: от меньшевиков-интернационалистов— рабочие пароходного завода Альниченков и Щукин, от эсеров-интернационалистов (иначе говоря «левых эсеров»)— фельдшер-вольноопределяющийся Баранов, рабочий Пышкин, рабочий Лещов и матрос-водолаз Измайлов; от большевиков—я, матрос Колбин и матрос Семенов. Тов. Рошаль тоже испытывал большое желание совершить заманчивое агитационное турнэ, но фракция нашла абсолютно необходимым, чтобы кто-нибудь из нас двоих обязательно остался дома. Нечего делать — Симе пришлось подчиниться.

Партийные дела я передал ему, а для руководства газетой «Голос Правды» пришлось срочно выписать из Питера моего брата А. Ф. Ильина-Женевского, только недавно приехавшего из Гельсингфорса, где он приобрел некоторый опыт журналиста, редактируя орган Гельсингфорсского комитета «Волна».

Мы быстро собрались и на следующий день, 7 июня, выехали из Кронштадта, а вечерний пассажирский поезд Финляндской железной дороги уже увозил нас из Петрограда. Первую остановку мы решили сделать в Выборге. В 12 ч. ночи мы со своими ручными саквояжами вылезли на перрон Выборгского вокзала и по пустынным, словно вымершим, улицам старинного города пошли искать себе пристанища до утра. После долгих и безрезультатных посещений всевозможных гостиниц, мы убедились, что нигде нет свободных номеров. Наконец, последний визит в какую-то захудалую гостиницу отбил у нас всякую охоту к посещениям учреждений этого рода. Нам было предложено на выбор два номера по непомерно дорогой цене: 20 и 12 марок за одни сутки. Эта сумма оказалась не по карману нам всем, даже в складчину.

После неудачной попытки прилечь для отдыха на скамьях какого-то бульвара, мы, обессиленные дремотой, в изнеможении добрались до первых попавшихся казарм артиллерийского склада, где весьма радушные товарищи-солдаты охотно дали нам приют на многочисленных свободных кой-

ках; это было довольно нечистоплотное место для ночлега, но во всяком случае лучшее, что имелось в их распоряжении. Истомленные бессонной ночью, мы и не заметили, как заснули на жестких деревянных скамьях.

На утро я был в местном партийном комитете. К моей неописуемой радости я встретил здесь старого товарища, которого знал еще по Питеру с нелегальных времен — И. А. Акулова. Иван встретил меня очень сердечно; обнялись и расцеловались, как два старых друга. Тут же познакомился с тов. Мельничанским, незадолго до того только вернувшимся из американской эмиграции. Акулов и Мельничанский были наиболее видными руководителями нашей организации в Выборге в эту тяжелую эпоху «керенщины».

Из партийного комитета, зайдя по пути за остальными товарищами в гостеприимную казарму, я вместе с ними направился в Выборгский Совдеп. Здесь нам бросилось в глаза царившее затишье. Несмотря на то, что шел уже десятый час утра, в здании Совета не было ни души. Это казалось нам в высшей степени странным, так как мы привыкли к тому, что в нашем Кронштадтском Совете с самого раннего утра ключом кипит жизнь, исполкомцы с головой погружены в работу, всюду видны суетящиеся деловито-озабоченные люди, и вдруг такой разительный контраст. Вместо кипучей работы—мертвая тишина, вместо занятых делом работников—совершеннейшее безлюдье.

Нам нужно было повидать кого-либо из членов президиума; однако пришлось провести в ожидании массу времени, пока, наконец, перед нами не предстал товарищ председателя Выборгского Совета эсер Федоров. Это был пожилой, тучный брюнет, с черной окладистой бородой, в форме армейского прапорщика. Он сразу с первого взгляда показался мне очень знакомым. Я стал вспоминать, где и при каких обстоятельствах мне приходилось с ним встречаться, и велико было мое удивление, когда по чертам его лица я вдруг узнал в нем выпускающего редактора погромной антисемитской газеты «Земщина». Память мне подсказала, что в 1911—1912 г.г. я довольно часто встречал этого господина в типографии товарищества «Художественной печати», на Ивановской улице. Эта типография, принадлежавшая Березину, была огромным капиталистически-обо-

рудованным предприятием, где одновременно печатался целый ряд журналов и газет, в том числе наша большевистская «Звезда» и пресловутая черносотенная «Земщина».

— «Звезда» и «Земщина» в одной люлечке качаются»,— иногда острил по этому поводу наш корректор и выпускающий, а впоследствии член редакции «Правды», С. С. Данилов (он же Демьянов, Дм. Янов, Чеслав Гурский и т. д.).

Федоров был тогда выпускающим «Земщины», наблюдал за версткой этого погромного листка, принимал ночную хронику и просматривал запоздавшие статьи. Он установил с нами «дипломатические» сношения, т.-е. иногда подходил к порогу нашей комнаты и просил закурить у кого-нибудь из наших курящих товарищей. Несмотря на это знакомство, мы считали его черносотенцем и относились к нему с брезгливостью. Нередко он за своей полной подписью помещал в «Земщине» статьи на текущие темы; теперь он имел невероятный цинизм той же самой фамилией подписывать статьи в «Выборгском Солдатском Вестнике», который он редактировал. Конечно, эта газета, под руководством такого редактора, на самом деле была не солдатским вестником, а разнузданным контр-революционным листком. В грубом, вульгарном стиле «Земщины», чуждом всякой литературности, там велась постыднейшая кампания против тов. Ленина и всех большевиков и циммервальдцев.

Этот вчерашний погромщик-монархист настолько успел войти в доверие, что на областном съезде Советов Рабочих и Солдатских Депутатов он, под флагом эсеровской партии, пролез в товарищи председателя съезда. Он добился этого обманным путем, старательно скрыв свое темное прошлое и внушив расположение своим уменьем связно говорить, забавляя аудиторию всевозможными шутками и прибаутками.

Конечно, я не преминул поделиться своими сведениями с т. Акуловым. Он немедленно созвал экстренное заседание исполкома, где мне пришлось сделать разоблачение темного прошлого Федорова. Мое сообщение произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Первое время этому не хотели верить. Затем, постепенно, сомнение рассеялось, и на смену ему пришло всеобщее возмущение. Особенно сильно негодовал по поводу проникновения в президиум Совета грязного,

нечистоплотного дельца меньшевик Димант, военный врач по профессии.

К сожалению, самого Федорова на этом заседании не было: любопытно было бы видеть его смущение после того, как с него была сорвана искусно носившаяся им маска. Было решено предать дело Федорова строжайшему расследованию. Большевики торжествующе аплодировали. Акулов ходил радостный, как именинник. Он уже рисовал себе, как этот скандальный инцидент будет использован нашей партией, и потирал руки от удовольствия. Однако и у него закрадывалось опасение насчет того, не ошибся ли я.

— А Вы, Федя, уверены, что это именно он? — спрашивал меня т. Акулов. — Ведь, знаете, он имел здесь большое влияние.

Разумеется, я был абсолютно уверен в этом. Как мне передавали впоследствии, Федоров сознался в своей работе в «Земщине», но пытался оправдаться ссылкой на то, что он выполнял лишь функции простого технического работника. Разумеется, это была ложь, так как выпускающим газеты всегда назначается лицо, пользующееся политическим доверием редакции. Самый характер этой работы всегда превышает простые технические функции. Это—не труд наборщика или метранпажа. Члены Выборгского Исполкома горячо благодарили меня за разоблачение. Когда после этого мы сделали им доклад о кронштадтских событиях, он произвел на них хорошее впечатление.

— Дай бог, чтобы у нас было бы что-нибудь подобное! — воскликнул искренно взволнованный докладом Димант.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов города Выборга в то время состоял из 163 человек, из коих было 62 эсера, 21 большевик, 17 меньшевиков и остальные—беспартийные.

В Исполнительном Комитете было 16 членов; из них—восемь эсеров, четыре меньшевика, два большевика и двое беспартийных. Среди эсеров было несколько интернационалистов; однако подавляющее большинство как эсеров, так и меньшевиков составляли оголтелые оборонцы.

В Совете преобладали почти исключительно солдаты; рабочих было всего лишь одиннадцать-двенадцать человек; это объяснялось тем, что в Выборге большинство рабочих—финны, которые проявляли тогда довольно большой абсен-

теизм по отношению к местному Совету. Немногочисленные русские рабочие Выборга посылали большевиков и эсеров. Русские работницы, к сожалению, проявляли мало интереса к Совету.

Совет вырос из солдатского гарнизонного комитета, возникшего в ночь с 3 на 4 марта и первоначально состоявшего только из трех лиц. Вскоре комитет пополнился делегатами от воинских частей. Наконец, с 8 марта выборы протекали уже на правильных основаниях. Части, насчитывавшие от 50 до 100 человек, посылали по одному делегату, свыше ста—двоих и т. д. Каждые последующие 50 человек имели право избирать одного депутата.

Прямо из Совета я поехал в один из полков, где проводил митинг т. Мельничанский. Весть о том, что во главе Выборгского Совета стоял бывший погромщик, антисемит, едва ли не член союза русского народа, вызвала среди солдат сильнейшее возбуждение. Многие повскакали с мест. В воздухе замелькали сжатые кулаки. Послышались возгласы о немедленном самосуде.

Тов. Мельничанскому и мне с трудом удалось успокоить аудиторию заявлением, что против Федорова уже приняты энергичные меры. Кажется, этот же самый полк в свое время провел Федорова в Совет, и, таким образом, здесь проявилось справедливое чувство ожесточенного гнева солдатской массы по отношению к обманувшему ее депутату, сознательно скрывшему свое темное прошлое. Т.т. Мельничанский и Акулов были довольны результатами короткого визита кронштадтской делегации. Особенно их радовало устранение с поля битвы Федорова, как политического противника. Они предвидели, что это разоблачение одного из лидеров выборгских эсеров вообще скомпрометирует в глазах массы эсеровскую организацию. В общем, нашей делегации пришлось выступать во всех воинских частях, квартировавших тогда в Выборге.

Всюду нас встречали восторженно: массы были настроены значительно левее своего соглашательского Совета; со жгучим любопытством выслушивали солдаты наши доклады. Было заметно, что о Кронштадте они знали только по слухам.

В 1-м Выборгском пехотном полку была вынесена следующая резолюция: «Мы, солдаты 1-го Выборгского пехот-

ного полка, собравшись на митинге 8 июня и выслушав доклад представителей Кронштадтского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, заявляем, что постановление Кронштадтского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов мы считаем правильным, а потому и выражаем доверие Кронштадту и обещаем его поддерживать во всех революционных выступлениях на защиту трудящихся масс и шлем им горячий привет, а буржуазную прессу требуем обуздать свою грязную клевету на Кронштадт».

Во 2-м Выборгском пехотном полку прапорщик Барышников растроганно благодарил нас за приезд, прибавляя: «А мы, ведь, не знали подлинной правды о Кронштадте. Только теперь мы видим, что кронштадтцы закрепляют завоеванное нами, что кронштадтцы идут за народ». После Выборга следующим этапом нашей поездки был Гельсингфорс. Председатель Выборгского Исполкома, прапорщик Елизаров, по своей инициативе распорядился, чтобы нам был предоставлен специальный вагон второго класса. Руководители выборгских большевиков провожали нас на вокзал. Выехав из Выборга вечером 8 (21) июня, мы на следующий день ранним утром прибыли в Гельсингфорс.

Прямо с поезда мы направились пешком в Мариинский дворец, где помещался тогда Гельсингфорсский Совет. Я был в столице Финляндии впервые, и она произвела на меня впечатление вполне европейского города. Без труда мы разыскали на Набережной большое здание Мариинского дворца. Часовой у ворот ни за что не хотел нас пропускать внутрь без специальных билетов, но магическое слово «делегация» отворило нам дверь.

Нас тотчас же принял в своем кабинете товарищ председателя Гельсингфорсского Совета матрос А. Ф. Сакман [1]), впоследствии примкнувший к коммунистам, но тогда еще не состоявший в наших рядах.

После короткого диалога самого элементарного информационного характера мы распрощались.

В одной из зал Мариинского дворца я встретился с Л. Н. Старком, состоявшим в то время редактором нашей газеты «Волна». Тов. Старк заинтересовался эпизодом с раз-

---

[1]) Он скончался в Петрограде в 1920 г. от сыпного тифа.

облачением Федорова и попросил меня немедленно написать соответствующую заметку для очередного номера «Волны». На следующий день она появилась в очередном номере «Волны».

Из дворца мы прошли в самый конец Мариинской улицы, где тогда находился Гельсингфорсский партийный комитет. В первой, довольно большой комнате, служившей одновременно столовой и спальней, мы застали большой беспорядок. На обеденном столе посреди комнаты лежали неубранные остатки вчерашнего ужина. Ввиду раннего времени, некоторых товарищей мы застали еще в кровати. Я поздоровался с лежавшим в постели М. Рошалем и познакомился с т. Волынским, также принимавшим в то время участие в «Волне». В соседней комнате, меньших размеров, за рабочим столом сидел и что-то писал т. В. А. Антонов-Овсеенко. Недавно вернувшись из-за границы, он работал в рядах Гельсингфорсской организации. Один из руководителей «Волны», он, в отличие от Старка, был не только партийным литератором, но и оратором, выступая на митингах как на кораблях, так и на Сенатской площади.

Товарищи, застигнутые нами в кроватях, немедленно принялись одеваться, и вскоре мы дружной компанией уселись на скамьях за длинным столом и принялись пить чай. Оживленно текла наша товарищеская беседа, и в продолжение какого-нибудь часа мы ознакомили товарищей с положением дел в Кронштадте и в общих чертах ознакомились сами с политической ситуацией, сложившейся в Гельсингфорсе.

В общем, здесь царило эсеровское засилье, которое давало себя чувствовать даже на кораблях.

Только «Республика» и «Петропавловск» имели репутацию двух цитаделей большевизма. При этом, на «Республике» большевизм господствовал безраздельно, вплоть до того, что весь судовой комитет был целиком под влиянием наших партийных товарищей, тогда как на «Петропавловске» на-ряду с большевистским течением, завоевавшим настроение большинства, еще заметно пробивалась анархическая струя. Наиболее отсталой считалась минная дивизия, где политическая работа велась крайне слабо, а немногочисленный личный состав находился под сугубым, можно сказать, исключительным влиянием офицерства. Эти эсеровски

настроенные корабли имели своими представителями в Гельсингфорсском Совете преимущественно эсеров мартовского призыва. Правые эсеры составляли тогда большинство как в Совете, так и в его исполнительном органе. Но председательство в Исполкоме попрежнему сохранял избранный на эту должность еще в первые дни февральско-мартовской революции С. А. Гарин (Гарфильд), работавший под нашим партийным флагом; по своей профессии он был литератор, автор нашумевшей в свое время пьесы «Моряки», а по служебному положению—мобилизованный во время войны из запаса прапорщик по адмиралтейству. К этому времени он занимал приличную анти-оборонческую позицию.

После партийного комитета мы посетили «Центробалт». Он помещался на корабле, стоявшем у стенки. Здесь нас встретил дежурный член т. Ванюшин, который сразу провел нас в большую каюту на верхней палубе, где как раз происходило заседание Центробалта. Навстречу нам приветливо поднялся и крепко пожал наши руки т. П. Е. Дыбенко. Вся его внешность, начиная с крупной, пышащей здоровьем фигуры и кончая характерным, выразительным лицом, невольно обращала на себя внимание. Это был широкоплечий мужчина очень высокого роста. В полной пропорции с богатырским сложением он обладал массивными руками и ногами, словно вылитыми из чугуна. Впечатление дополнялось большой головой с крупными, глубоко вырубленными чертами смуглого лица, с густой кудрявой шапкой черных волос цвета воронова крыла, с курчавой бородой и вьющимися усами. Темные блестящие глаза горели энергией и энтузиазмом, обличая недюжинную силу воли. Открытое русское лицо ничем не выдавало в нем украинца, за исключением иногда появлявшегося насмешливо-хитрого выражения глаз, свойственного некоторым крестьянам уроженцам Украины.

Мы познакомились; тов. Дыбенко от имени Центробалта обещал оказать нам всяческое содействие. Затем мы отправились на заседание областного комитета Советов Финляндии. Дело в том, что в нашу задачу входила не только агитация среди масс, но и привлечение на свою сторону местных Советов.

Нам было особенно важно завоевать сочувствие крупных областных Советов, опирающихся на реальную вооружен-

ную силу и географически расположенных по близости от Петрограда.

Мы не закрывали глаз на то обстоятельство, что активным врагом Кронштадта являлось не только временное правительство, но и поддерживавший коалиционную власть меньшевистско-эсеровский оборонческий Петроградский Совет.

Ввиду этого нам нужно было опереться на провинциальные Советы, найти в их среде морально-политическую поддержку и показать всей рабоче-крестьянской России, что в своей борьбе с удушением революции Кронштадт не является одиноким.

Мы знали, что личный состав этих провинциальных Советов и, равным образом, их исполкомов состоит не только из одних прожженных политических интриганов враждебных нам партий, но и из честных беспартийных, еще не успевших разобраться в бесчисленном потоке политических платформ, нахлынувших на них сразу после Февральской революции, и, наконец, из лиц, случайно примкнувших в первый момент к той или иной небольшевистской партии.

Мы стремились освободить все эти элементы из-под гнета меньшевистско-эсеровского влияния. Мы знали, что члены местных провинциальных Советов, с которыми нам приходилось соприкасаться, имели одностороннюю информацию о Кронштадте. Мы хотели, чтобы они выслушали другую сторону, ознакомились со взглядами кронштадтских революционеров и поняли доводы, которыми руководился Кронштадтский Совет во время своей недавней борьбы с временным правительством.

На заседании областного комитета мы сразу почувствовали, что очутились в недружелюбной среде. Подавляющее большинство Гельсингфорсского Исполкома состояло из представителей враждебных партий. С особенным азартом против нас выступал принадлежавший к эсерам прапорщик Кузнецов и какой-то немолодой бородатый матрос, по партийной принадлежности также правый эсер. На него жестоко ополчился один из кронштадтских левых эсеров, который с темпераментом восклицал: «Товарищи, какие они эсеры? Это — мартовские эсеры. Они не эсеры, а серы, това-

рищи!». Было забавно наблюдать со стороны, с какой страстью левые эсеры ополчались на своих же партийных товарищей. Но, ведя словесную борьбу, они, тем не менее, на деле, на практике состояли членами единой партии, принимали участие в общих конференциях и упорно не хотели порывать эту связь. Это заседание не дало нам абсолютно ничего. После жаркой баталии областной комитет вынес резолюцию о созыве вторичного заседания для окончательного решения. Несмотря на то, что отдельные члены комитета внешне проявили некоторый интерес и даже попытались ознакомиться с документами, привезенными нами с собою, было видно, что комитет в целом только стремится выиграть время, затянуть, отсрочить свое окончательное решение и, в случае возможности, даже совершенно уклониться от него. Члены комитета, действительно, оказались в неловком двусмысленном положении. С одной стороны, им было неудобно высказаться против кронштадтцев, зная, что огромное большинство судовых команд на нашей стороне: открытое выступление в таких условиях против нас оказалось бы слишком реальным симптомом оторванности областного комитета от тех масс, интересы которых он претендовал представлять. Но, с другой стороны, по партийным соображениям меньшевистско-эсеровский комитет не мог перестать быть самим собою и вдруг ни с того ни с сего оказать нам поддержку признанием правильности нашей политики; поэтому, он и стремился возможно дольше затянуть все это дело.

После заседания, в столовой Совета, помещавшейся там же в Мариинском дворце, я познакомился с председателем Гельсингфорсского Совета С. А. Гариным, который на заседании комитета не присутствовал. Рассказав ему все перипетии только что закончившегося заседания, я запросил его мнение. Он высказал предположение, что «болото», по всей вероятности, нас провалит и уж во всяком случае не выскажется за нас.

Чтобы не терять драгоценного времени, мы в тот же вечер приступили к агитационному объезду кораблей. Снова, как в Выборге, мы разделились на две группы: одна часть делегации отправилась в сухопутные полки—509 Гжатский и 428 Лодейнопольский. Вторая группа, во главе со мною, отправилась на «линейщики».

Прежде всего мы посетили первую бригаду линейных кораблей, куда входили «Петропавловск», «Гангут», «Полтава» и «Севастополь». Паровой катер быстро доставил нас на палубу одного из этих бронированных гигантов, на широкой корме которого славянской вязью было написано: «Севастополь». Этот корабль до недавнего времени считался одним из самых отсталых. Именно «Севастополь» вынес достопамятную резолюцию о всемерной поддержке «войны до конца» и о полном доверии временному правительству. «У нас—большевиков очень мало», не без ехидной улыбки и с нескрываемой радостью говорил нам один «севастопольский» лейтенант, шедший вместе с нами на катере к своему кораблю. Естественно, не без волнения мы вступали на борт «Севастополя».—«Как-то примет нас оборончески-настроенная команда?»—думалось каждому из нас.

Здесь же наверху, под открытым небом и под грозными, далеко выдвинутыми вперед жерлами двенадцатидюймовых орудий, мы устроили свой первый импровизированный митинг, к нескрываемому недовольству всех офицеров кают-компании. С первых же слов доклада единодушное внимание и ясно выраженное сочувствие показали нам, что мы находимся в своей, дружественной аудитории. Между нами и полуторатысячной толпой, составлявшей экипаж «линейщика», протянулись крепкие нити взаимного понимания и нераздельного единомыслия. Мы разоблачали буржуазную клевету, обливающую потоками грязи революционный Кронштадт за его пламенное горение идеями большевизма. С братским сочувствием, с пылающими глазами и с полураскрытыми от напряженного внимания ртами гельсингфорсские моряки внимали каждому слову своих кронштадтских товарищей. Чувствовалось, что наши речи рассеивают их сомнения и словно снимают с их глаз пустую пелену, навеянную меньшевистско-эсеровской демагогической ложью и наветами желтой прессы. Офицеры, выделявшиеся среди матросских форменок своими белоснежными кителями, чутко прислушивались к нашим речам.

Это внимание возросло еще больше, когда мы заговорили о судьбе арестованных в Кронштадте офицеров. По лицам командного состава было заметно, что офицерство не доверяло нашим словам о мягком тюремном режиме, за

то матросы были вполне удовлетворены сделанными разъяснениями.

В то время в Балтийском флоте не было почти ни одного матроса, который не интересовался бы вопросом о кронштадтских делах. Поэтому летучий митинг на «Севастополе» привлек почти всю команду. В ту пору митинги еще не приелись и потому отличались исключительным многолюдством.

Избрав непосредственным поводом для своих ораторских выступлений обзор кронштадтских событий, мы самым тесным образом связывали их с общим политическим положением и подвергали ожесточенной критике всю деятельность временного правительства и поддерживавших его партий. Таким образом мы вели самую настоящую большевистскую пропаганду, и, к нашей радости, она имела несомненный успех. Большевистские лозунги, которыми были проникнуты наши доклады, встретили со стороны команды «Севастополя» самую энтузиастическую поддержку. Было странно и непонятно: каким образом корабль, с таким прекрасным настроением еще так недавно мог вынести резолюцию, удовлетворившую всех буржуа.

После нас выступил член областного комитета матрос Антонов, заявивший, что команда «Севастополя» должна дать ясный и определенный ответ: «Как относится она к временному правительству? Пойдет ли она за кронштадтцами, не доверяющими временному правительству, или останется на точке незадолго до того принятой резолюции?».

Социал-шовинист Антонов позорно провалился. Ответом на его речь были жидкие аплодисменты небольшой кучки его приспешников.

После Антонова выступил другой матрос, от имени всей команды поблагодаривший нас за приезд и попросивший передать кронштадтцам, что команда «Севастополя» идет вместе с Кронштадтом и всегда готова его поддержать. Под громкие, долго несмолкавшие крики «ура», Кронштадтская делегация на легком катере отвалила от дредноута.

Товарищи, ходившие в сухопутные части, также были встречены с необыкновенным сочувствием. В одном пехотном полку, после доклада кронштадтцев, командир полка капитан Франк, знаменитый своими лобызаниями с Керен-

ским и поднесением ему крестов и медалей, заявил, что в в Кронштадте ему не нравится только одно явление: отправление на фронт всех замеченных в пьянстве.

— Разве фронт — это свалка, помойная яма?—патетически восклицал рьяный капитан, — чтобы отправлять туда, как в наказание, общественные отбросы?

Взявший после него слово кронштадтский делегат поспешил разъяснить, что пьяниц отправляют на фронт не в наказание, а для того, чтобы «герои тыла» на собственной шкуре изучили все тяжести окопной жизни и прониклись сознанием, что теперь не время предаваться излишествам.

Это разъяснение было восторженно встречено солдатской массой. По адресу капитана Франка раздались резкие возгласы и даже прямые угрозы. Многие солдаты потребовали его ареста. Нашим кронштадтцам пришлось выступить в защиту капитана, с просьбой оставить его на свободе: капитан Франк не был арестован.

На следующий день мы в полном составе всей делегации объехали остальные линейные корабли. Везде нас ожидал радушный прием. Большинство команд, всецело сочувствуя Кронштадту, выразило готовность поддержать его во всех революционных выступлениях. Провожали делегацию с еще большим энтузиазмом. Вся команда, высыпав на верхнюю палубу, долго кричала «ура» и махала фуражками.

На «Полтаве», когда наш катер собрался отваливать, нас попросили на несколько минут задержаться. Когда мы, наконец, отвалили, то грянула музыка. Оказывается, товарищи с «Полтавы» специально вызывали наверх судовой оркестр. Наиболее сердечный прием был нам оказан на «Петропавловске». Между прочим, здесь особенно чувствовалась обостренная рознь между офицерской кают-компанией и судовой командой.

Тут же, на «Петропавловске», мы встретились с фронтовым делегатом, некиим подпоручиком. Мы предоставили ему первое слово, желая поставить себя в более выгодное положение, так как ожидали, обычного в те времена, «патриотического» выступления и готовились к резкой полемике. Но, к нашему удивлению, подпоручик оказался большевиком. Он так же резко, как и мы, высказывался против

войны, жестоко критиковал временное правительство и энергично настаивал на переходе власти в руки Советов. По окончании митинга матросы, обрадованные встрече с офицерами-большевиками, которыми они, видно, не были избалованы на своем корабле, выступили с приветствиями и даже покачали своих единомышленников из комсостава.

Подпоручик так нам понравился, что мы захватили его вместе с собой на «Республику» (бывший «Павел I»). Уже с первых дней февральской революции «Республика» создала себе во всем Балтфлоте и даже за его пределами твердую репутацию пловучей большевистской цитадели, непоколебимого оплота нашей партии.

Естественно, что тут мы сразу почувствовали себя, как дома. Поднявшись на командирский мостик, заменявший на «Республике» ораторскую трибуну, мы прежде всего подчеркнули, что с особенной радостью вступили на борт этого корабля, так как неоднократно восхищались великолепными, выдержанными резолюциями, выносившимися революционной «Республикой». Как мы выяснили, наш партийный коллектив на «Республике» достигал необычайно крупной цифры—шестисот человек.

Оттуда мы поехали на линейный корабль «Андрей Первозванный». Когда мы там находились, то как раз была получена радио-телеграмма от происходившего в то время Первого Всероссийского Съезда Советов, направленная исключительно против большевиков. Это несколько расхолодило команду по отношению к нам. Но взявший затем слово тов. Колбин высказался по поводу этого обращения «ко всем», рассеял произведенное им плохое впечатление и снова поднял общее настроение.

Следующим этапом на нашем пути был линкор «Слава». Он только что вернулся с позиции у острова Эзеля. Не упуская момента, мы сели на паровой катер и через несколько минут ошвартовались у его бронированного борта. По общему порядку мы прежде всего прошли в судовой комитет, желая поставить его в известность о созыве общего собрания. Но на этом корабле были какие-то странные порядки. Нам предложили за разрешением митинга обратиться к командиру корабля Антонову. Эти щекотливые дипломатические функции кронштадтские товарищи поручили мне.

Когда я вошел в командирскую каюту, передо мною сидел капитан первого ранга, среднего роста, с проседью в волосах и с Владимиром 4-й степени на левой стороне кителя.

— Что вам угодно? — подозрительно обратился ко мне Антонов.

— Мы хотим здесь устроить собрание, — ответил я.

— А о чем вы там будете говорить? — недовольно пробормотал командир, весь как-то насторожившись. Такой вопрос был уже слишком неприличен. Тем не менее я ему ответил:

— Мы хотим говорить с матросами корабля о том, что нам поручено нашими кронштадтскими товарищами, которых мы здесь представляем.

Затем я вкратце перечислил наши основные политические тезисы. После этого он погрузился в недолгое раздумье, словно колеблясь: разрешить или воспретить собрание.

В конце концов перед лицом нашей решимости он, очевидно, быстро сознал свое бессилие, отдав себе ясный отчет, что независимо от его разрещения мы так или иначе созовем общее собрание и доложим ему все, что нам поручено.

— Ну, устраивайте собрание, — неохотно произнес он, — только у нашей команды большевики не могут пользоваться успехом.

Несмотря на отсутствие многих товарищей, находившихся на берегу, в церковной палубе собралось довольно много народу. С затаенным вниманием команда «Славы» выслушала наши речи и после их окончания закидала нас целым ворохом записок. Мы дали обстоятельные ответы, подробно разъясняя, как кронштадтцы смотрят на тот или иной вопрос.

Все шло хорошо, пока, наконец, я не дошел до вопроса о братании, жгуче волновавшего тогда матросов и солдат. Решительно высказавшись против подготовлявшегося наступления, я противопоставил ему братание на фронте и начал защищать и обосновывать этот лозунг.

Но призыв к братанию кое-кому не понравился.

— Мы только что вернулись из-под Цереля, — истерически закричал один из матросов, — там каждый день немецкие аэропланы бросали в нас бомбы, а вы говорите о братании! Вот вас бы в окопы! Братались бы там!

Мне пришлось несколько охладить горячность моряка, очевидно, на позициях расшатавшего свою нервную систему. С другой стороны, сами матросы тотчас же заставили его замолчать и, обращаясь ко мне с просьбой продолжать мое заключительное слово, успокоительно прибавили:

— Не обращайте внимания, товарищ, он у нас провокатор.

В общем, настроение корабля было довольно благоприятно, но все же оно значительно уступало другим кораблям, встречавшим наши речи с гораздо бо́льшим сочувствием и энтузиазмом.

Было видно, что за время изолированной стоянки в Цереле команда корабля была сильно обработана реакционным офицерством под руководством самого Антонова. На том же линейном корабле «Слава», перед самым уходом с него нашей делегации, произошел инцидент. Прощаясь с товарищами-матросами и стоявшими рядом с ними офицерами, я наткнулся на одного молодого офицерика, отказавшегося протянуть мне руку.

— Отчего вы не подали мне руки? — вопросительно обратился к нему я.

— За ваши взгляды, — вызывающе ответил офицер.

— Но, позвольте, я представитель определенной политической партии, я честно и искренно высказывал те взгляды, которые я исповедую. Скажите, чем же я заслужил такое презрение, что вы отказались подать мне руку?

— Я не хотел вас оскорбить, — смущенно бормотал офицерик, — я сделал так потому, что это мне подсказали чувства.

— А если бы чувства подсказали вам ударить меня по лицу, — продолжал я, — то, независимо от ваших намерений, это было бы оскорблением.

— Если вы считаете себя оскорбленным, то я извиняюсь, — совершенно сконфуженно прошептал офицер.

Я порекомендовал ему следующий раз поступать более обдуманно. Тут же я спросил его фамилию и узнал, что это мичман Деньер. Я немедленно отправился в судовой комитет и заявил там дежурному члену, что, находясь в гостях на линейном корабле «Слава», я подвергся оскорблению и считаю, что в моем лице оскорблена вся делегация, которая разделяет мои взгляды. Член судового комитета отнесся

к моему заявлению очень сочувственно, запротоколил все происшедшее и заметил про мичмана Деньера: «Надо будет выяснить, что это за тип. Он всего лишь одну неделю находится на корабле». Я указал на свидетелей: матроса Баранова и мичмана Шимкевича. Товарищ из судового комитета обещал уведомить меня об исходе этого дела.

В общем, на дредноутах и других линейных кораблях нам был оказан матросской массой исключительно хороший прием. Завоевание больших кораблей, привлечение сочувствия их судовых команд на сторону Кронштадта имело большое политическое значение. Дело в том, что все суда Балтийского флота тщательно следили за позицией обеих бригад «линейщиков» и распределяли свои политические симпатии и антипатии, в значительной мере равняясь по настроению больших кораблей. Поэтому, после объезда линейных кораблей, большая часть задачи кронштадтской делегации могла считаться исполненной. Теперь оставалось обработать матросские массы, распыленные по другим кораблям. На очереди стояли крейсера «Диана» и «Россия».

Здесь так же, как и на крупных судах, мы не только не встретили никаких возражений, но, напротив, все наши объяснения были приняты с неподдельным энтузиазмом.

Ввиду того, что приезд на «Россию» совпал с обеденным часом, нас пригласили к столу. Когда я очутился в кают-компании, в окружении судовых офицеров, мне стало еще заметнее, что морское офицерство, в большинстве, относится ко всем нам, а в особенности ко мне, как к морскому офицеру, формальному члену их касты, с глубочайшей органической и непримиримой враждой. Внешне эти чувства проявлялись довольно сдержанно, маскируясь холодной корректностью. Опасения матросских репрессий, матросского террора до поры до времени держали в крепкой узде клокочущие политические страсти реакционных слоев морского офицерства.

Чрезвычайно тепло, вопреки ожиданиям, встретил нас Гельсингфорсский Исполнительный Комитет, который принял следующую сочувственную нам резолюцию:

«Гельсингфорсский Исполнительный Комитет, выслушав доклад представителей Кронштадтского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, постановил:

1. Доклад товарищей кронштадтцев мы признаем совершенно исчерпывающим вопрос и позволяющим судить о кронштадтских делах как в прошлом, так и в настоящем с достаточной полностью и ясностью.

2. Мы считаем травлю революционного Кронштадта, поднятую буржуазной печатью, при поддержке некоторых органов, называющих себя «социалистическими», глубоко возмутительной и недопустимой и ведущейся в интересах контр-революции.

3. Мы находим, что революционный Кронштадт в своей тактике неуклонно следовал по линии истинного демократизма, по линии подлинной революционности.

4. Мы признаем, что, высказывая свое отношение к временному правительству, Кронштадтский Совет Раб. и Солд. Депутатов осуществил этим свое право, принадлежащее всякому органу революционной демократии.

5. Заявляя о недоверии Временному Правительству, Кронштадтский Совет продолжает признавать временное правительство как центральную государственную власть, и, таким образом, все обвинения Кронштадта в «отделении» и «дезорганизации» мы считаем решительно ни на чем не основанными.

6. Требование Кронштадтского Совета о выборности всех должностных лиц, в том числе комиссара временного правительства, мы признаем правильным и соответствующим основным лозунгам демократии.

7. Мы находим, на основании изложенного, резолюцию, принятую к Кронштадту Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, глубоко ошибочной и основанной на очевидном недоразумении, поэтому мы считаем необходимым пересмотр этой резолюции.

8. Мы признаем Кронштадт передовым отрядом Российской революционной демократии и считаем нужным оказать ему поддержку».

По собранным нами сведениям Гельсингфорсский Исполком состоял из 65 человек. По словам т. Сакмана, большевики составляли около половины. Но это было неточно. Наши товарищи составляли там меньшинство.

Принятие чуждым, по существу соглашательским, Исполкомом благоприятной для нас резолюции—нужно отнести

на счет простой случайности. Многие члены Исполкома, очевидно, голосовали «по недоразумению». Это обстоятельство может служить красноречивой иллюстрацией политического недомыслия тех слоев, которые после Февральской революции примкнули к социал-оборонцам.

Кроме выступления в Исполкоме, нам была предоставлена возможность доклада на пленуме Гельсингфорсского Совета. Члены Совета внимательно выслушали доклад; прений после него не последовало, и никакой резолюции принято не было.

В Гельсингфорсском Совете депутатов армии, флота и рабочих из общего числа 535 делегатов, на долю большевистской фракции приходилось от 125 до 130 товарищей.

В один из этих дней нашего пребывания в Гельсингфорсе, местный партийный комитет организовал большой митинг на Сенатской площади. Это место в Гельсингфорсе играло такую же роль, как у нас в Кронштадте знаменитая Якорная площадь. Митинг был чрезвычайно многолюден. Вся площадь была запружена толпой финских и русских рабочих, матросов и солдат. Первое слово было предоставлено членам кронштадтской делегации.

Мы выступали один за другим, на этот раз уделяя больше внимания анализу текущего момента, чем обзору и освещению кронштадтских событий. После кронштадтцев выступали местные товарищи.

Небольшую речь произнес В. А. Антонов-Овсеенко. Тов. Берг, старый матрос из машинной команды, причислявший себя к анархистам, латыш по национальности, потрясал Сенатскую площадь своим раскатистым басом. В патетические моменты звуки его голоса долетали до кораблей, стоявших на рейде Гельсингфорсского порта. И вахтенные матросы, по долгу службы принужденные остаться на корабле, с сожалением думали, что очередная вахта им помешала присутствовать на митинге и, почесывая затылки, с гордостью говорили между собой: «Вон как ревет сегодня на площади наша Иерихонская труба!». За исключительно громкий голос тов. Берга матросы любовно прозвали его «Иерихонской трубой». Он был идеальным товарищем. Простой, необычайно прямой, открытый парень, чрезвычайно честный, он принадлежал к разряду тех политических

работников, порожденных революцией, которые, называя себя анархистами, на самом деле почти ничем не отличались от большевиков. И тов. Берг сумел доказать свою преданность пролетариату.

В дни Октября, в раннюю эпоху Советской власти, в самые тревожные месяцы ее судорожной борьбы за существование, тов. Берг, постоянно рискуя собою, в любой момент был готов пожертвовать собою за торжество рабоче-крестьянской власти. К сожалению, он преждевременно покончил земные счеты, застрелившись в одной из московских больниц, весной 1918 года.

Кроме т. Антонова-Овсеенко и Берга, на этом митинге выступали гельсингфорсские левые эсеры Устинов и Прошьян. Нельзя сказать, чтобы они не имели успеха. Этим они, в значительной мере, были обязаны содержанию своих речей, в которых не заключалось ни слова полемики с большевиками, а, напротив, была полная поддержка большевистских тезисов. После них снова выступили кронштадтцы, так сказать, со своим заключительным словом. Во всех наших речах центр тяжести лежал в анализе текущего момента, но тем не менее мы уделяли достаточное внимание и нашему кронштадтскому вопросу.

Митинг затянулся на несколько часов.

После его окончания, все участники митинга по предложению тов. Берга направились на братскую могилу. Мы образовали стройное шествие и двинулись с пением революционных песен. Встречавшиеся на пути финские буржуа с удивлением рассматривали неожиданную демонстрацию и при пении похоронного марша: «Вы жертвою пали...» были вынуждены снимать свои шляпы.

Мы отслужили на могиле гражданскую панихиду.

По заранее выработанной программе, после Гельсингфорса мы должны были съездить в Або. Вместе с нами в вагоне кронштадтской делегации по партийным делам выехал в Ганге гельсингфорсский работник т. Шейнман.

Выехав из Гельсингфорса в 8 часов утра, мы в 2 часа дня были в Або. Непосредственно с вокзала мы направили свои стопы в местный Совет. Мы пришли туда как раз во время заседания Исполкома, но нам пришлось очень долго ожидать приема; на заседании комитета присутствовала

французская военная миссия. Наконец, иностранные гости удалились, и мы могли быть приняты Исполкомом. Председатель Абоского Исполнительного Комитета, корнет Подгурский, принял нас внешне довольно приветливо и предложил занять места за столом, вокруг которого сидело около десятка членов местного Исполкома. По нашему требованию нам тотчас же было предоставлено слово.

После доклада корнет Подгурский заявил нам, что сейчас в нашем отсутствии они вынесут какое-либо решение.

Через некоторое время мы были снова приглашены на заседание, и Подгурский нам объявил, что резолюция о кронштадтских событиях будет вынесена ими впоследствии. После этого, он, приняв важный деловой вид, торжественно объявил, что Абоский Исполнительный Комитет обсудил заявление о нашем намерении устроить митинг и пришел к решению, что в свободной стране могут устраиваться всевозможные митинги, за исключением явно-провокационных. Но так как мы являемся официальными делегатами, то подозрение в провокации само собой отпадает, и мы совершенно беспрепятственно можем устроить митинг.

Такое торжественно-декларативное заявление нас всех очень удивило. Мы были искренно поражены, услышав, что Исполнительный Комитет входил в рассмотрение вопроса: можно ли кронштадтской делегации предоставить устройство митинга. Наконец, мы были совершенно ошеломлены, выслушав чрезвычайно подробную и детски-наивную мотивировку. Как нам разъяснили, Абоский Исполком очень часто ломает голову над такими пустяками и не впервые изощряется в вынесении резолюции с необычайно пространной мотивировкой по весьма простому вопросу. Впоследствии нам сказали, что кто-то высказывался даже против разрешения нашего митинга.

Далее председатель сообщил нам заключение Исполнительного Комитета о телеграммах, которые мы передали дежурному члену с просьбой отправить их на телеграф. Вместо того, чтобы прямо отослать их на телеграф, дежурный член представил их Исполнительному Комитету, который с готовностью взялся обсуждать их и вынес свое решение.

— Содержание ваших телеграмм, — с тем же глубокомысленным видом продолжал председатель-корнет, — содержание ваших телеграмм лежит на вашей совести. Абоский Исполнительный Комитет не имеет препятствий к их отправлению.

Здесь наше недоумение совершенно не знало границ. Мы тотчас же взяли слово и заявили, что вовсе не имели в виду представлять телеграммы для предварительной цензуры в Исполнительный Комитет, а просто передали их дежурному члену с просьбой отправить на телеграф.

— В таком случае здесь произошло недоразумение,— с тем же невозмутимо-серьезным видом произнес председатель.

Вообще, в Або публика видимо не привыкла к политической жизни, и то, что мы видели и слышали на заседании Исполнительного Комитета, напомнило нам детей, играющих в политику. Тут же мы узнали, что из 26 членов Абоского Исполнительного Комитета большевиков насчитывалось только четверо или пятеро. В Абоском Совете всего состояло 149 членов; из них около 40 большевиков. Председателем Совета был прапорщик флота Невский — командир Абоского флотского полуэкипажа.

Из помещения Исполкома мы непосредственно отправились в казармы флотского полуэкипажа и, обратившись в местный комитет, попросили через несколько минут созвать общее собрание морского полуэкипажа. Было семь часов вечера, мы вышли на двор, и тут же, на открытом воздухе, провели общегарнизонный митинг, на который собралось довольно много матросов и солдат.

К сожалению, канонерская лодка «Бобр» находилась в море. Это был один из самых большевистских кораблей. Наш коллектив достигал на нем 150 человек. Кроме кронштадтцев, выступали два местных партийных работника: т.т. Шерстобитов и Невский. Тов. Шерстобитов—невысокого роста, коренастый и «кряжистый», по внешнему виду серьезный, угрюмый, всегда озабоченный,—по существу являлся здесь главным партийным руководителем. Его речи были насыщены деловитостью и кроме того он был не плохой оратор. Тов. Невский, прапорщик из кондукторов флота, по своим природным данным значительно уступал Шерстобитову.

Первоначально часть митинга была настроена недружелюбно, но к концу митинга настроение стало в высшей степени дружественным к большевикам. Видимо, тов. Шерстобитов провел здесь большую работу и в политическом отношении хорошо подготовил матросов.

В наши расчеты не входила длительная задержка в Або, который вообще не имел большого значения, и поэтому 13 (26) июня ранним утром мы выехали обратно в Гельсингфорс. Наше пребывание в Гельсингфорсе как раз совпало с первым съездом моряков Балтийского флота. На этом съезде безраздельной гегемонией пользовались двое морских офицеров: капитан 2-го ранга Ладыженский и капитан 1-го ранга Муравьев, специалист по радиотелеграфному делу. На том заседании, на которое я заглянул, Ладыженский был председателем, а Муравьев выступал докладчиком и энергично участвовал в прениях. Наши партийные моряки во главе с тов. Дыбенко, участвуя в работе съезда, не придавали ему большого значения, и, действительно, в истории флота этот съезд не сыграл никакой роли.

Следующим этапом на нашем пути был Ревель.

За все время нашего довольно продолжительного пребывания в Гельсингфорсе, мы не имели совершенно никакого касательства к командованию флотом. Командующий флотом контр-адмирал Вердеревский, сидя на своем флагманском судне «Кречет», мирно копошился в ворохе казенных бумаг, которые по старой памяти в неограниченном изобилии изготовлялись и посылались ему трудолюбивыми чинами штаба командующего Балтфлотом.

Вердеревский тактично избегал осложнения отношений с Центробалтом и командовал флотом лишь постольку, поскольку ему не мешал Центробалт. Одним словом, в то время Центробалт был все, а командование флотом ничто. Тов. Дыбенко как-то в своем кругу говорил: «Ну, что ж, в случае нужды, мы выпустим пару снарядов по «Кречету», и от него ничего не останется». Вердеревский, вероятно, учитывал эту возможность и, как огня, боялся конфликтов с Центробалтом. В результате, он абсолютно не имел никакого влияния на флот. Мы, приезжие делегаты, чувствовали себя на судах Балтфлота в гораздо большей степени хозяевами, чем командующий флотом адмирал Вердерев-

ский. Все деловые сношения мы поддерживали только с Центробалтом.

Для обеспечения себе отъезда в Ревель мы также обратились в Центробалт, который выдал нам разрешение совершить этот переход на борту эскадренного миноносца «Инженер-механик Зверев», который как раз на следующий день должен был отправляться в Ревель. Этот миноносец принадлежал к 7-му дивизиону и базировался на Ревель. Нас заранее предупреждали, что там мы можем наткнуться на крупное недоразумение.

На следующий день, около 7 часов утра, наши ребята явились на миноносец, но поход оказался отложенным до 11 ч. дня. Команда миноносца приняла их весьма дружелюбно, немедленно вступила в разговор и предложила чаю. Наши ребята, благодушествуя, расположились: кто внизу, в матросском кубрике, а кто на занесенной угольной пылью верхней палубе.

Между кронштадтцами и матросами корабля завязалась беседа на политические темы. Мои товарищи сразу сумели найти с аборигенами «Зверева» общий язык, и ничто, казалось, не предвещало грозы. Я ушел по делам на берег, но когда в одиннадцатом часу вернулся назад, то около пристани встретил членов кронштадтской делегации, понуро возвращавшихся с миноносца. У них был расстроенный и весьма недовольный вид.

Оказывается, около 10 часов утра на миноносец явился флаг-офицер мичман Севастьянов. Узнав, что на корабле находится кронштадтская делегация, он стал переходить с одного миноносца на другой, всюду будируя против кронштадтцев. Затем, подойдя к одному из товарищей, он обратился к нему с вопросом: «Это все кронштадтские делегаты?» Получив утвердительный ответ, он громко закричал: «Вон отсюда, мерзавцы!». Ему было резонно указано, что кронштадтской делегацией получен пропуск на миноносец от Центрального Комитета Балтийского флота.

— Я с этими сволочами не считаюсь,—не помня себя, кричал мичман,—я признаю только одно: свою физическую силу.—После этого зарвавшийся офицер подбежал к одному товарищу и, схватив его за шиворот, с руганью вытолкнул

с палубы корабля, неустанно повторяя: «с такими сволочами я не желаю иметь дела».

Вместе с кронштадтцами Севастьянов удалил с миноносца и двух членов Центробалта: Галкина и Крючкова, имевших какие-то поручения к ревельским морякам. Удаляя их с миноносца, мичман Севастьянов имел наглость пустить в ход угрозу: «Убирайтесь, убирайтесь, а то мы привяжем вам к ногам колосники и сбросим вас за борт».

Разумеется, возвращаться на такой черносотенно-настроенный корабль не имело никакого смысла. Поэтому мы немедленно отправились на транспорт «Виолу», где заседал Центробалт, и доложили о возмутительном происшествии, только что разыгравшемся на миноносце. Члены Центробалта с глубочайшим возмущением отнеслись к этой неслыханной истории. Было вынесено решение о задержании выхода миноносца и о немедленном вызове на «Виолу» командира миноносца и мичмана Севастьянова. Те явились с понурым и виноватым видом. Тов. Дыбенко, никогда не лазивший за словом в карман, набросился на них со всем гневом своей легко-взрывающейся натуры. Эти офицеры сидели перед ним, как школьники, которых только что высекли за неудовлетворительные отметки. Мичман Севастьянов во всем сознался.

Когда товарищ Дыбенко спросил Севастьянова: «Кому, по его понятиям, принадлежит власть на корабле?» — тот ответил: «Это написано в уставах: командиру, старшему офицеру, дежурному офицеру». Он ни словом не обмолвился ни о судовых комитетах, ни о Центральном Комитете Балтийского флота, высшем органе военно-административной власти, фактически стоявших тогда над командующим флотом. В пояснение своего поступка мичман Севастьянов добавил: «Я действовал по старым законам, новых законов я не знал».

Эти показания ярко обнаружили, что в лице мичмана Севастьянова мы имеем дело с определенным черносотенцем, опирающимся на царские уставы и на законы старого, низвергнутого режима. Он цинично обнаруживал нежелание считаться с новыми порядками. Он ни в малейшей степени не пропитался республиканской психологией. В каждом его слове чувствовалось презрение к революции, к созданным ею учреждениям.

Центральный Комитет Балтийского флота, усмотрев здесь наличность преступления, распорядился передать дело Севастьянова в руки следственной комиссии, образованной при Центробалте. Следственная комиссия намеревалась арестовать преступного мичмана, но команда миноносца просила оставить его на свободе, ввиду того, что он являлся дивизионным штурманом и, как флаг-офицер, заведывал секретными документами. Так как мичмана Севастьянова было трудно немедленно заменить, то следственная комиссия оставила его на свободе, взяв с него подписку, что по первому требованию Центробалта он явится в Гельсингфорс. Уже в Кронштадте мы узнали, что несколькими днями позже Севастьянов был в Ревеле арестован.

Этот неприятный, глубоко нас возмутивший инцидент на целые сутки отсрочил наш отъезд. Лишь на следующий день 15 (28) июня мы, наконец, выбрались из Гельсингфорса. Нам были предоставлены места на пассажирском пароходе.

Здесь я случайно встретился с моим бывшим товарищем по реальному училищу Влад. Андреевым. Он был только что произведен в мичмана военного времени и носил форму морского офицера. Вместе с ним ехало несколько других мичманов. Из их отношений я вынес впечатление, что эта морская молодежь, только что выпущенная в офицеры, еще не проникнута кастовым духом и, в отличие от старого кадрового состава, чрезвычайно терпимо относится к большевикам. Это была уже офицерская молодежь революционного производства.

Вскоре мы прибыли в Ревель. На допотопной конке, по узким, старинным улицам Ревеля, мы проехали в Екатериненталь, где тогда помещался местный Совет. Здесь нас встретил дежурный член Исполкома матрос Радзишевский, по партийной принадлежности анархист.

В Ревельском Совете Раб. и Солд. Деп. в то время числилось 311 делегатов, из них было 57 большевиков; при тайном голосовании, число депутатов, высказывавшихся за большевистские резолюции, достигало семидесяти. Кроме того, в Совете имелось около 90 эсеров и 11 анархистов. Исполнительный Комитет, состоявший из 20 человек, в партийном отношении разбивался следующим образом: 2 большевика,

2 анархиста, 2 меньшевика, остальные—эсеры и беспартийные. Председателем Исполкома был эсер Шерстнев, как его нам курьезно охарактеризовал Радзишевский, «сочувствующий большевикам».

Наскоро пообедав в матросском (бывшем офицерском) собрании, мы отправились на собрание представителей гарнизона, которое происходило под председательством мичмана А. А. Синицына. На этом собрании нас поразило довольно большое количество морских офицеров, метавших на нас злобные взгляды. Здесь мы сделали доклад информационного характера. Никаких резолюций мы не потребовали.

В тот же день, совершенно неожиданно, мне пришлось выступать на одном эстонском рабочем собрании. Встретившиеся нам партийные товарищи-эстонцы затащили нас в цирк, где на скамьях амфитеатра сидело несколько сот эстонских рабочих. Ввиду того, что русский язык был многим непонятен, мне пришлось говорить через посредство переводчика. Эстонцы были настроены чрезвычайно хорошо. Их большевистские симпатии в продолжение всего заседания, открыто прорываясь наружу, можно сказать, били ключом. Из всех ревельских впечатлений это посещение митинга эстонских рабочих является наиболее приятным воспоминанием.

На следующий день мы всей компанией пошли на крейсер «Баян». Здесь я встретился с своим товарищем по выпуску из гардемаринских классов мичманом Неллис. Он пригласил меня в свою каюту и рассказал, что матросы корабля настроены чрезвычайно враждебно к большевикам и даже сговорились выбросить нас за борт. Собрание происходило на верхней палубе около орудий. Здесь в самом деле чувствовалась огромная разница по сравнению с настроением Гельсингфорса. В то время как там моряки понимали нас с полуслова, устраивая нам братские овации,— здесь нас приняли с ледяным холодком. Отношения между ораторами и аудиторией все время были натянутые, и когда кто-то из нас резко отозвался о временном правительстве и попутно высказался против войны, то большинству команды «Баяна» это не понравилось. Стали раздаваться угрожающие возгласы, враждебные выкрики, и нам пришлось выпустить тов. Баранова, который обладал природной способностью

путем смехотворных шуточек, поговорок, веселых пословиц вызвать шутливо-юмористическое настроение и таким образом рассеять нависшие тучи. В результате митинга нам все же удалось несколько смягчить настроение, заставить моряков вслушаться в наши слова и хоть немного почувствовать нашу искренность.

С «Баяна» мы двинулись на тральщики, в большом количестве стоявшие у стенки ревельской гавани. Но здесь отношение было совершенно иное. Вредное влияние контр-революционных слоев комсостава здесь чувствовалось в значительно меньшей степени. На этих кораблях командиром зачастую состоял прапорщик флота, не примыкавший к корпорации замкнутого морского офицерства и поэтому более терпимо относившийся к чуждым ему политическим идеям. Команда тральщиков с большим интересом прослушала наши речи, проявила полную солидарность и без конца благодарила нас за посещение. «Спасибо, товарищи, за то, что нас навестили. К нам так редко приезжают ораторы»,—раздавались единодушные возгласы, когда мы по сходням возвращались на берег. Кроме «Баяна» и тральщиков, мы посетили еще учебное судно «Петр Великий».

Не менее радушно и гостеприимно нас принял отряд морской авиации, расположенный недалеко от Ревеля. Туда и обратно авиаторы доставили нас на своем автомобиле.

Ревель был конечным пунктом нашего объезда финских берегов. На этом кронштадтская делегация могла считать свою агитационную миссию законченной.

VII. ИЮЛЬСКИЕ ДНИ.

1. 3 ИЮЛЯ.

3 июля, около двух часов дня, к нам в Кронштадт приехала из Питера группа делегатов первого пулеметного полка, повидимому находившихся под влиянием анархистов.

По прибытии в Кронштадтский Совет их провели ко мне, как к товарищу председателя Совета. Прежде всего я поинтересовался узнать о цели их приезда. Наши гости, во главе которых стояла какая-то женщина, объяснили, что имеют намерение организовать несколько публичных выступлений на тему о текущем моменте и, в частности, о разгроме дачи Дурново, где тогда помещался анархистский центр. И раньше анархисты самых различных оттенков нередко наезжали в Кронштадт. Они прекрасно учитывали исключительную роль Кронштадта в революционном движении, его боевые настроения, его огромную потенциальную революционность и естественно стремились перетянуть красный Котлин на свою сторону, завладеть этой твердыней большевизма.

Неоднократно наведывался в Кронштадт и глава анархистов-коммунистов, небезызвестный Блейхман, обрушиваясь на нас в Совете за то, что мы разрешаем передавать арестованным офицерам продовольственные посылки вместо яда, которого, по мнению Блейхмана, они заслуживали. Я немилосердно спорил с лидером анархистов и его друзьями, но в общем отношения у нас были хорошие, товарищеские. В то время анархисты не имели серьезного влияния, а своими выступлениями против временного правительства они часто лили воду на мельницу нашей партии.

У нас в Кронштадте существовала постоянная организация «анархистов-синдикалистов», руководимая тов. Ярчу-

ком, но никакого самостоятельного значения она не имела и против нас почти никогда не выступала.

Ярчук, по профессии портной, только что вернувшийся из Америки, где он жил в эмиграции, довольно благожелательно относился к партии большевиков и тактику своей немногочисленной группы всегда старался согласовать с действиями нашей партии. Таким образом, мы к анархистам привыкли, усвоили методы их политической аргументации и натренировались в борьбе с ними. По этой части особенно успешно действовал Семен Рошаль, которому очень хорошо удавалось, с помощью свойственного ему юмора, высмеять идеологию анархистов и наглядно показать нецелесообразность, утопичность, бессодержательность и мелко-буржуазность их политических лозунгов, поскольку они выступают за пределы нашей платформы. Естественно, что гастрольный приезд новой полу-анархической группы нас нисколько не удивил. Но я счел долгом их предупредить, что политическое настроение у нас достаточно приподнято, приводить массы в еще большее возбуждение сейчас не следует, так как это может вызвать стихийное, неорганизованное выступление.

Они обещали не бросать в массы никаких конкретных призывов и уверили меня, что они далеки от желания вносить дезорганизацию в политическую жизнь красного Кронштадта. Для начала своего выступления пулеметчики избрали 1-й Балтийский экипаж, адрес которого им был неизвестен. Нам было по пути, и я отправился вместе с ними, ведя разговор на политические темы, при чем мои собеседники все время старательно воздерживались от споров и критики нашей программы и тактики, очевидно опасаясь, что преждевременное раскрытие их замыслов может сорвать все их планы. Расставшись с гостями, я по телефону связался с Питером. У нас существовал очень хороший обычай, согласно которому я ежедневно звонил в Питер и, вызвав к телефону Ленина, Зиновьева или Каменева, сообщал им обо всем происходящем в Кронштадте и получал инструкции, необходимые для текущей работы.

На этот раз к телефону подошел тов. Каменев и предупредил меня, что со стороны прибывших делегатов-пулеметчиков можно ожидать провокации в связи с тем, что

в Петрограде первый пулеметный полк, несмотря на сопротивление нашей партии, уже выступил на улицу с пулеметами на грузовиках. Другие части Петроградского гарнизона пока не присоединились, и наша партия этот безответственный шаг не поддерживает.

Едва я успел отойти от аппарата, как мне сообщили, что на Якорной площади собирается митинг. Оказывается, инициаторами его были приезжие депутаты. В данном случае они действовали совершенно «анархически», не только не сговорившись с Советом, но даже игнорируя близких себе по духу анархистов-синдикалистов.

Лидер последних, Ярчук, ничего не подозревая, мирно читал лекцию в помещении сухопутного манежа на необъятную тему «Война и мир», когда туда влетело несколько человек с возгласами: «Товарищи, на митинг!». Вся аудитория, словно от прикосновения электрического тока, мгновенно вскочила с мест и устремилась к выходу. Лектор-анархист, оставшись в одиночестве, последовал за слушателями на Якорную площадь.

Кронштадтский комитет нашей партии уже почти весь был в сборе.

Первым говорил один из приехавших. Истерическим голосом он описывал преследование анархистов временным правительством. Но центральным моментом его речи было сообщение о назначенном на сегодня выступлении первого пулеметного полка и других частей Петроградского гарнизона.

— Товарищи, — со слезливым подъемом говорил анархист, — сейчас в Петрограде, может быть, уже льется братская кровь. Неужели же вы откажетесь поддержать своих товарищей, неужели вы не выступите на защиту революции?

На впечатлительную, по преимуществу, морскую аудиторию такие речи оказывали сильнейшее впечатление.

После приезжего оратора с успокоительной речью попробовал выступить тов. Рошаль.

Когда он взошел на импровизированную деревянную трибуну, вся Якорная площадь застыла в молчании. Каждому было интересно услышать, что скажет этот популярный и остроумный оратор. Но когда Семен со свойственной ему резкостью и прямотой высказался против демонстрации

по причинам ее несвоевременности и стал горячо призывать к воздержанию от участия в ней, то тысячи голосов закричали «долой» и подняли такой шум и свист, что моему бедному другу пришлось сойти с трибуны, даже не закончив своей речи. Это был первый и последний случай расхождения Рошаля с массой в его кронштадтской работе; обычно все его речи имели большой успех, выслушивались с глубоким вниманием и если перебивались в середине, то только аплодисментами или сочувственным хохотом. Немудрено, что эта непривычная неудача глубоко расстроила и потрясла тов. Рошаля.

После него взял слово представитель левых эсеров тов. Брушвит. (Его не следует смешивать с однофамильцем и, может быть, родственником, правым эсером, членом учредилки и участником чехо-словацкой авантюры.) Наш кронштадтский Брушвит был по тем временам довольно левым и очень талантливо владел простонародным, крестьянским языком с веселыми шуточками и прибауточками.

Его кронштадтцы тоже любили слушать. Внешне он довольно благожелательно относился к нам, большевикам, и, во всяком случае, из тактических соображений, боясь повредить своей популярности, никогда не позволял себе выступать против нас. В то время серьезных тактических разногласий между нами и левыми эсерами еще не было и своей агитацией они обычно только облегчали нашу работу. На этот раз Брушвит поднялся на трибуну, чтобы развить ту самую точку зрения, которой придерживались и мы. Он тоже был против демонстрации. Но едва аудитория поняла его намерения, как она тотчас устроила ему такую же неприязненную демонстрацию, как т. Рошалю, и буквально не дала говорить. Тов. Брушвит, от природы чувствительный, сошел с трибуны, смахивая слезу.

После него выступали какие-то неведомые товарищи, никогда прежде не бравшие слова. Они произносили зажигательные речи и предлагали немедленно отправиться в казармы, захватить оружие и затем итти на пристань, овладеть всеми наличными пароходами и двинуться в Питер. «Время не терпит», настаивали они. Атмосфера Якорной площади накалялась все больше и больше.

Беспокойство за судьбу питерских товарищей, быть может, жуе выступивших на улицу, в данный момент проливающих

кровь и нуждающихся в поддержке, оказывало магическое действие на толпу. Все горели желанием как можно скорее оказать помощь. Цели были неясны. Не было точного представления, во имя чего выступают в Питере. Достаточно было одного факта этого выступления: активное чувство товарищества сообщало кронштадтским массам импульс непосредственного действия, подсказывало, что в такой момент они должны быть вместе со своими кровными братьями — рабочими и солдатами Питера. При таком единодушном коллективном настроении было очень трудно итти против течения. Однако партийный долг принуждал меня бороться до последней крайности. Я отчетливо сознавал, что раз наша партия не поддерживает выступления, то мы, большевики, независимо от своих личных взглядов, обязаны высказываться против него, всеми силами удерживая от участия в нем наших друзей-кронштадтцев.

В таком настроении я потребовал слова. Аудитория насторожилась. Я начал с того, что в настоящий момент нарастания революционных событий временному правительству и стоящей за ним буржуазии может быть только выгодно устроить кровопускание рабочему классу. Поэтому нужно очень осторожно и подозрительно ко всему относиться. Можно отовсюду ожидать расчетливой провокации временного правительства с целью вызвать преждевременное, недостаточно организованное выступление вооруженных рабочих и крестьян в солдатских шинелях для того, чтобы утопить революционное движение и нашу партию в потоках крови. Под впечатлением горячих речей, не выяснив обстановки, нельзя принимать ответственных решений, способных оказать огромное воздействие на ход и исход всей революции. Нужно прежде всего точно выяснить, что именно происходит в Питере, действительно ли состоялось то выступление, о котором говорили приехавшие товарищи. У нас в Совете есть прямой провод с Питером, и мы прежде всего должны собрать подробные, исчерпывающие сведения о том, что там было сегодня. Отправившись прямо, ничего наперед не узнав, мы можем попасть в нелепое положение. Затем, в случае необходимости нашего участия, надо внести в это дело строжайшую организованность. Нельзя притти скопом на пристань

и разобрать первые попавшиеся пароходы. Предварительно нужно подсчитать пловучие средства и организованным порядком распределить их. Затем нужно учесть запасы оружия, чтобы избежать поездки людей, вооруженных одними палками.

Ввиду этого, я предложил: 1) вместо шествия к пристани, выбрать организационную комиссию и поручить ей выяснение петроградских событий, учет оружия и пловучих средств; 2) обязать комиссию в кратчайший срок телефонограммой сообщить ее решение по частям.

К моему удивлению, вся речь и практическое предложение, вытекавшее из нее, были выслушаны спокойно. Больше того, несколько отрезвевшая аудитория, повидимому, поняла безрассудность немедленной реакции на события, которые толком никому не известны. Предложение было принято. В комиссию оказались избраны т. Рошаль, я и еще несколько человек. Старому, привычному вождю кронштадтцев—партии большевиков—было оказано полное доверие.

По соображениям целесообразности, мне пришлось прибегнуть к некоторой «дипломатии», скрыв от толпы уже известный мне от т. Каменева факт выступления первого пулеметного полка.

Сообщение на митинге о начавшемся выступлении, как о совершившемся факте, только подлило бы масла в огонь. Я, тем более, не считал себя вправе докладывать об этом событии, что имевшиеся в моих руках сведения еще не давали ясного представления о характере выступления, сопровождавших его явлениях и последствиях.

Легко могло случиться, что, неподдержанный другими частями петроградского гарнизона, первый пулеметный полк был принужден возвратиться в казармы. Однако еще перед митингом я успел шепнуть о полученном извещении т. Каменева моим партийным друзьям по Кронштадтскому комитету.

После закрытия митинга, когда многотысячная толпа разошлась и Якорная площадь сразу поредела, мы направились в здание Совета. Нашей организационной комиссией тотчас же было принято решение созвать представителей от военных частей и мастерских для установления тесней-

шего контакта с массами. Около половины двенадцатого открылось собрание. Прежде всего товарищам делегатам было предложено сделать доклады с мест. Эти сообщения нарисовали ясную картину. Было очевидно, что если сегодня нам удалось сорвать немедленное выступление и созданием организационной комиссии оттянуть его и выиграть время, то завтра выступление неминуемо состоится и мы выпустим массы из рук. Прямо с заседания я вышел в телефонную комнату, попросил соединить меня с Петроградским Советом и вызвал Ленина, Зиновьева или Каменева. К телефону подошел тов. Зиновьев.

Я информировал его о кронштадтских настроениях и подчеркнул, что вопрос стоит не так: выступать или не выступать, а в другой плоскости: будет ли проведено выступление под нашим руководством или оно разыграется без участия нашей партии—стихийно и неорганизованно.

Так или иначе, выступление совершенно неизбежно и отвратить его нельзя.

Тов. Зиновьев попросил меня подождать у аппарата. Через несколько минут он вернулся и сообщил, что ЦК решил принять участие в завтрашнем выступлении и превратить его в мирную и организованную вооруженную демонстрацию. Тов. Зиновьев сделал ударение на словах «мирная демонстрация» и пояснил, что это условие партия выдвигает в качестве неуклонного требования и поэтому нам вменяется в обязанность следить за его проведением. Как я узнал впоследствии, это решение Центрального Комитета о мирной, но вооруженной демонстрации было принято, с одной стороны, под влиянием моего сообщения, а с другой стороны, под впечатлением демонстрации рабочих-путиловцев, явившихся к Таврическому дворцу с женами и детьми.

Как бы то ни было, я был очень обрадован принятым решением ЦК. Кронштадт в то время был не такой величиной, которую можно было без сожаления сбросить со счетов. Кронштадт и Царицын были наиболее крупными цитаделями большевизма, где наша партия пользовалась огромным идейным влиянием. Но, благодаря близости к Питеру и обилию вооружения, политическое и военное значение Кронштадта было неизмеримо выше Царицына. Поэтому отход нашей партии от стихийного движения крон-

штадтских масс нанес бы непоправимый ущерб ее авторитету. С другой стороны, вооруженное восстание сулило верное поражение. Мы сравнительно легко могли бы захватить власть, но оказались бы не в состоянии удержать ее.

Фронт еще не был достаточно подготовлен. Несмотря на интенсивную напряженную работу, которая велась там целым рядом наших товарищей: Нахимсоном, Сиверсом, Хаустовым, Дзевалтовским и многими другими, в результате огромной организационно-агитационной работы, нашей партии удалось привлечь на свою сторону только немногие отдельные полки, стяжавшие себе репутацию большевистски-настроенных частей.

В этом отношении особенно выделялись латышские полки 12-й армии Северного фронта. Но, кроме перечисленных частей и небольшого числа других полков, весь остальной фронт был еще в руках временного правительства.

Поэтому решение ЦК было крайне целесообразно. С одной стороны, оно давало отдушину накопившимся политическим страстям; с другой стороны, вводя выступление в русло вооруженной демонстрации, наша партия тем самым производила пробу сил, боевой смотр революционному авангарду, одушевленному лозунгом передачи власти Советам, и своим организованным партийным руководством спасала стихийное массовое движение от преждевременного, бессмысленного кровопускания. Наконец, в случае успеха демонстрации и сочувственной поддержки ее фронтом, у партии всегда оставалась возможность превратить вооруженную демонстрацию в вооруженное восстание. Стремясь к свержению временного правительства, мы были бы плохими революционерами, если бы упустили из виду эту возможность. Но, тем не менее, выступление было задумано и от начала до конца проведено, как мирная, хотя и вооруженная демонстрация.

Едва я успел закончить разговор с тов. Зиновьевым, как ко мне подошел тов. Донской и взволнованно попросил передать ему трубку. Тов. Донской был одним из самых симпатичных работников Кронштадтской лево-эсеровской организации. Развитой, очень смышленый матрос, он обладал боевым темпераментом. Молодой, невысокого роста, с живыми глазами, энергичный, увлекающийся и жизнерадост-

ный, он всегда был в первых рядах и смело глядел в лицо опасности. Среди кронштадтских левых эсеров он казался нам наиболее близким, поддерживал хорошие отношения с нашей партией и в нашей организации его любили. «Борьба до конца» была его стихией. Во время Октябрьской революции он состоял комиссаром Красной Горки, руководя отправкой формирований на Пулковские высоты. Позже, летом 1918 года, он убил в Киеве немецкого генерала Эйхгорна и был повешен слугами германского империализма. Так погиб этот многообещавший талантливый юноша, вышедший из рядов Красного флота.

На этот раз, в ночь на 4 июля тов. Донской, соединившись с Таврическим дворцом, вызвал к телефону Натансона или Камкова, лидеров левых эсеров.

С третьего этажа, где у нас в Совете был прямой телефонный провод Кронштадт-Питер, я снова спустился во второй, в залу заседаний и, потребовав слова, доложил собранию, что ЦК партии большевиков постановил принять участие в завтрашней мирной вооруженной демонстрации. Это известие было встречено бурей аплодисментов.

Едва я успел закончить свое сообщение, как на авансцену, служившую ораторской трибуной, вышел тов. Донской, заявивший, что левое крыло эсеров также присоединяется к демонстрации. Эти слова были снова покрыты аплодисментами.

Прения сами собой прекратились и собрание приступило к голосованию. Решение участвовать в мирной демонстрации с оружием в руках было принято единогласно.

Любопытно, что даже комиссар временного правительства Парчевский, пытавшийся одновременно угодить князю Львову и нам, присутствовавший на этом собрании, тоже голосовал за участие в демонстрации. Впрочем, он большую часть заседания мирно проспал на своем стуле, склонив на грудь голову, и, вероятно, поднял руку механически, со сна не разобрав в чем дело. Во всяком случае, это дало повод к шуткам и остротам над оригинальным представителем власти.

После баллотировки мы занялись подсчетом винтовок и плавучих средств. Но эта работа настолько затянулась, что, не доведя ее до конца, пришлось прервать заседание, с тем

чтобы сделать это распределение утром следующего дня на Якорной площади перед посадкой на суда.

Тотчас было отдано распоряжение о немедленной разводке паров. В организационную комиссию по руководству демонстрацией были выбраны: Рошаль, я и один представитель от левого крыла эсеров. Незадолго до закрытия заседания меня вызвал к телефону т. Флёровский; он вообще принимал близкое участие в работах Кронштадтской организации — состоял членом партийного комитета, но в этот день как раз находился в Питере. Он сообщил, что только что был на заседании рабочей секции Петроградского Совета, которая постановила участвовать в демонстрации и для руководства ею выбрала 15 товарищей. Рабочая секция в то время была единственной советской организацией в Петрограде, находившейся в наших руках. «Ура», — прокричал я ему в телефон. Обменявшись информацией и своими впечатлениями, мы условились, что на следующий день тов. Флеровский приедет нас встречать к Николаевскому мосту.

Вскоре заседание было закрыто. Участники, охваченные подъемом, быстро разошлись, спеша в свои казармы и на суда, чтобы оповестить товарищей о принятом решении. До рассвета оставалось уже мало времени.

2. 4 ИЮЛЯ

На следующий день, 4 июля, в назначенный накануне ранний час вся Якорная площадь была покрыта стройными колоннами матросов, солдат и рабочих, с красными знаменами и оркестрами музыки, собиравшихся на сборный пункт для организованного выступления в Петроград.

По поручению организационной комиссии, я поднялся на трибуну и разъяснил цели и задачи нашей поездки в Питер. Возможность провокации была еще раз мною подчеркнута. Я специально предостерег против всякой попытки втянуть нас в неорганизованное вооруженное столкновение со сторонниками временного правительства и предложил тщательно воздерживаться от стрельбы. Я указал, что в условиях массового возбуждения, неизбежного во время демонстрации, даже случайный выстрел может повлечь за

собою серьезные и нежелательные последствия. В заключение я огласил список руководителей демонстрации, предложенных ночным делегатским собранием.

Все намеченные товарищи были единогласно утверждены.

Со стороны собравшихся на площади раздались голоса, что некоторые товарищи, особенно рабочие, не сумели достать себе оружия и спрашивают, что им делать. Я разъяснил, что, ввиду приглашения участвовать не в вооруженном восстании, а в демонстрации, безоружным товарищам лучше всего присоединиться к нам и вместе следовать в Питер. Это было встречено с удовлетворением, так как никому не хотелось оставаться в Кронштадте. Конечно, было обидно отправляться без оружия, но все революционные работники Кронштадта скорее предпочитали погибнуть со своими товарищами на улицах Питера, чем по-обывательски сидеть дома.

Наконец, после того как все неизбежные вопросы выяснились, мною был оглашен список пароходов, предназначенных для этого похода с распределением их между воинскими частями и рабочими. После этого мы все организованно, под музыку, двинулись на пристань.

Группа активных руководителей, так сказать, штаб демонстрации, поместилась на крепостном пароходе «Зарница». Для других были отведены иные буксирные и пассажирские пароходы. Ни одного военного судна не было в нашем эскорте: из состава Балтийского флота в Кронштадтском порту стояла только одна рухлядь, не способная отделиться от стенки или выйти из дока. Все мало-мальски пригодное к передвижению было сосредоточено в Гельсингфорсе и Ревеле. Наконец, посадка закончилась, и мы покинули гавань.

Управление пароходами находилось в руках штатских капитанов, не имевших понятия о походном порядке. Поэтому наша «флотилия» не соблюдала никакого строя и следовала вразброд, как попало.

Если бы временное правительство нашло в себе достаточно решимости, вроде той, какуюпроявил контрреволюционный помощник морского министра Дудоров, приказавший подводным лодкам топить всякое судно, выходящее в эти дни из Гельсингфорса на помощь Питеру,

то путем установки пары батарей на берегу морского канала ничего не стоило бы преградить кронштадтцам вход в устье Невы и, сверх того, потопить в грязных волнах «Маркизовой лужи» один-два парохода, доверху нагруженных активными, боевыми врагами временного правительства.

Но, к счастью, эта мысль не пришла в голову никому из членов правительства Керенского в силу его панической растерянности; впрочем, возможно, что оно не отважилось на этот дьявольский план из боязни еще больше обострить и осложнить свое непрочное положение.

Исключительная по своей жестокости подготовка уничтожения людей с кораблями была применена к Гельсингфорсу из панического страха перед появлением под Петроградом эскадры с дальнобойной морской артиллерией. Хотя личную ответственность за возмутительное приказание взял на себя управляющий морским министерством эсер Лебедев, тем не менее ясно, что вся ответственность за это преступление, не совершенное только по независящим обстоятельствам, всецело лежит на всем временном правительстве. Его агентам не удалось разжечь гражданской войны между подводным и линейным флотом Балтики только потому, что сведения о демонстрации были получены гельсингфорсскими моряками слишком поздно и Центробалт не успел откликнуться на демонстрацию так же горячо и самоотверженно, как он это сделал в Октябрьскую революцию. Кроме того, настроение самих подводников было совсем не таково, чтобы их можно было сбить с толку и направить на своих же товарищей матросов.

Без всяких препятствий, мы спокойно проплыли Морским каналом и, наконец, вошли в устье Невы. На обеих набережных жизнь текла обычным будничным темпом и ничто не обнаруживало происходящих в городе событий. Наши пароходы, не торопясь и не внося беспорядка, один за другим стали подходить к пристани Васильевского острова.

За недостатком места, часть судов ошвартовалась у Английской набережной. Выгрузка, сбор и построение в колонны заняли около часу. Когда все уже подходило к концу, ко мне подбежал весь красный, запыхавшийся и радостно-возбужденный т. Флеровский.—«А я вас искал на том бе-

регу»,—сказал Иван Петрович и сообщил мне маршрут нашего шествия. Согласно церемониала, мы прежде всего должны были итти к дому Кшесинской, где тогда сосредоточивались все наши партийные учреждения.

Едва мы успели построиться у Николаевского моста и оркестр заиграл марш, как ко мне подбежал кто-то из левых эсеров и попросил подождать, ввиду того, что Мария Спиридонова хочет приветствовать моряков. Она уже попробовала обратиться с речью к задним колоннам, но моряки ее перебили и отказались слушать, заявив, что пора итти на демонстрацию. Я со своей стороны ответил левому эсеру, что сейчас некогда и мы останавливать шествия не можем, а если Спиридонова хочет произнести речь перед кронштадтцами, то лучше всего это сделать у Таврического дворца. Левый эсер, в огорчении, отошел прочь.

Стройными рядами, в организованном порядке, под звуки военного оркестра, тысячи кронштадтцев двинулись по набережной Невы. Мирные обыватели, студенты, профессора, эти постоянные завсегдатаи чинной и академически-спокойной Университетской набережной, останавливались на месте и с удивлением оглядывали нашу необычную процессию. С Васильевского острова по Биржевому мосту мы перешли на Петербургскую сторону, и пошли по главной аллее Александровского парка.

Недалеко от дворца Кшесинской нас встретил Петр Васильевич Дашкевич, тогдашний работник партийной военной организации, которая в разговорной речи обычно называлась «военка». Он присоединился к нам.

Приближаясь к Каменноостровскому, несколько человек, шедших в первых рядах, взялись за руки и запели Интернационал. Вся многотысячная толпа тотчас дружно его подхватила.

Босоногие мальчишки, подпрыгивая, бежали за нами. По мере нашего движения они нарастали, как снежный ком, со всех сторон облепляя демонстрацию.

Наконец, мы подошли к зданию ЦК и ПК. Моряки выстроились перед двухэтажным домом Кшесинской, где еще так недавно известная балерина и фаворитка царя устраивала роскошные обеды и званые вечера, а сейчас помещался и лихорадочно работал главный штаб нашей партии, подго-

товлявший Октябрьскую революцию и торжество Советской власти. На балконе стояли Я. М. Свердлов, А. В. Луначарский и несколько других крупных работников. Тов. Свердлов громким и отчетливым басом отдавал сверху распоряжения: «Тов. Раскольников, нельзя ли голову демонстрации продвинуть вперед, стать немного плотнее, чтобы подтянуть сюда задние ряды». Когда все были удобно размещены, первым взял слово тов. Луначарский. Анатолия Васильевича кронштадтцы хорошо знали: он уже дважды навещал Кронштадт, с большим успехом выступая в Морском манеже и на Якорной площади. Сейчас с балкона он произнес короткую, но горячую речь, в немногих словах охарактеризовав сущность политического момента. Тов. Луначарский кончил, приветствуемый рукоплесканиями.

Хотя кронштадтцы спешили к Таврическому дворцу, но, узнав, что здесь находится тов. Ленин, они стали настойчиво требовать его появления.

Вместе с группой товарищей я отправился внутрь дома Кшесинской. Разыскав Владимира Ильича, мы от имени кронштадтцев стали упрашивать его выйти на балкон и произнести хоть несколько слов. Ильич сперва отнекивался, ссылаясь на нездоровье, но потом, когда наши просьбы были веско подкреплены требованием масс на улице, он уступил и согласился.

Тов. Ленин появился на балконе, встреченный долго несмолкавшим громом аплодисментов. Овация еще не успела окончательно стихнуть, как Ильич уже начал говорить. Его речь была очень коротка. Владимир Ильич прежде всего извинился, что по болезни он вынужден ограничиться только несколькими словами и передал кронштадтцам привет от имени петербургских рабочих, а по поводу политического положения выразил уверенность, что, несмотря на временные зигзаги, наш лозунг «Вся власть Советам» должен победить и, в конце концов, победит, во имя чего от нас требуются колоссальная стойкость, выдержка и сугубая бдительность. Никаких конкретных призывов, которые потом пыталась приписать тов. Ленину переверзевская прокуратура, в его речи не содержалось. Ильич закончил под аккомпанимент еще более горячей и дружной овации.

После этих приветствий, кронштадтцы, как и подобает организованным воинским частям и отрядам рабочих, снова выстроились и под звуки нескольких военных оркестров, непрерывно игравших революционные мотивы, в полном порядке вступили на Троицкий мост. Здесь уже мы стали предметом внимания со стороны кокетливых, нарядно-одетых офицериков, толстых, пышущих здоровьем и сытостью буржуев в новых котелках, дам и барышень в шляпках. Они проезжали на извозчиках, проходили мимо, взявшись под ручку, но на всех лицах, смотревших на нас широко открытыми глазами, отпечатлевался неподдельный ужас.

От самого дома Кшесинской несколько товарищей впереди процессии несли огромный плакат Центрального Комитета нашей большевистской партии. Левые эсеры заметили это только на Марсовом поле и стали требовать удаления плаката.

Мы, конечно, отказались. Тогда они заявили, что в таком случае не могут участвовать в демонстрации и уходят. Однако, кроме нескольких лидеров, никто на эту демонстрацию не откликнулся. Левые эсеры удалились, а вся масса осталась с нами.

Наконец, пройдя Марсово поле и небольшую часть Садовой улицы, мы свернули на Невский проспект и оказались в царстве буржуазии.

Здесь уже фланировали не отдельные буржуа, а целые толпы нарядной буржуазии двигались в ту и другую сторону по обоим тротуарам Невского. С изумлением и испугом они взирали на вооруженных кронштадтцев, по описанию их же газет представлявшихся им исчадием ада, живым воплощением страшного большевизма. При нашем появлении многие окна открывались настежь и целые семейства богатых и породистых людей выходили на балконы своих роскошных квартир. И на их лицах было то же выражение нескрываемого беспокойства и чувства шкурного, животного страха.

Буржуазия, вообще инстинктивно боявшаяся всякого соприкосновения с массами, панически трепетавшая при виде «простонародья», не могла скрыть своего недоумения по поводу всего происходящего. Воображаю, какие проклятия посылали тунеядствующие обитатели центральных

кварталов столицы на голову своего классового правительства, допускающего столь опасную для их господства игру с огнем, как вооруженная демонстрация под большевистскими лозунгами. Но — увы! — правительство в то время было так слабосильно, так растеряно и настолько не уверено в своем положении, что оно не могло позволить себе роскошь расстрела демонстрации.

Несмотря на то, что обитатели и прохожие Невского проспекта были для кронштадтцев символом паразитической и эксплоатирующей буржуазии, несмотря на то, что при одном виде наших классовых врагов в душе многих матросов клокотала безумная ненависть, наш путь по Невскому от Садовой до Литейного прошел без всяких эксцессов. Только на углу Невского и Литейного (теперь проспект Володарского) арьергард нашей демонстрации был обстрелян. В результате этого первого нападения пострадало несколько человек.

Насколько большое пространство занимала в длину наша процессия, можно видеть из того, что, когда ее хвост подвергался нападению, шедшие в голове не слыхали никаких выстрелов. Наконец, жестокий обстрел нас ожидал на углу Литейного и Пантелеймонской улицы.

Еще около Бассейной впереди нас появился какой-то неведомый грузовик. На нем сидела кучка солдат, а сзади был установлен пулемет Максима. Грузовой автомобиль, став во главе демонстрации, медленным ходом пошел по одному направлению с нами; люди, на нем находившиеся, были нам неизвестны, а потому мы предложили им отделиться от процессии. Они, весело смеясь, прибавили ходу, но как раз в это время авангард кронштадтцев поравнялся с Пантелеймонской улицей. Вдруг, откуда ни возьмись, раздались первые выстрелы. Грузовик с своей стороны открыл частую пулеметную стрельбу не то по нас, не то по окнам домов. Нужно было видеть, какое возмущение, волнение и вместе с этим смятение охватило наши ряды. Эта провокация, к которой мы вообще готовились, в данный момент—после того, как мы уже спокойно прошли по Васильевскому острову, Петербургской стороне и по центральным кварталам города—явилась в полной мере неожиданной и вызвала мгновенное замешательство.

Неприятно действовала неизвестность: где враг? откуда, с какой стороны стреляют?

Как только послышались первые выстрелы, кронштадтцы инстинктивно схватились за винтовки и начали стрелять во все стороны. Частые, но в этой обстановке, конечно, беспорядочные, выстрелы создавали впечатление настоящего боя с той разницей, что позиции противника были абсолютно неизвестны. Быстро израсходовав по первой обойме патронов и убедившись в безрезультатности пальбы в воздух, большинство словно по команде легло на мостовую, а другая часть успела скрыться в первые попавшиеся подъезды и ворота; только отдельные товарищи, стоя среди улицы, еще продолжали ружейную стрельбу по невидимой цели. Вот понесли первого раненого солдата Кронштадтской крепости. Здесь было убито и ранено несколько человек.

Наконец, пальба сама собою стала стихать.

Тогда шедшие в первом ряду: Рошаль, Флеровский, Брегман, Дешевой, я и другие стали успокаивать кронштадтцев и приглашать их следовать дальше к цели нашего назначения—к Совету, до которого оставалось уже сравнительно недалеко. Товарищи охотно откликнулись на этот призыв. Мы попросили оркестр заиграть что-нибудь бодрящее, веселое. Громко ударили барабаны, резко взвизгнули медные трубы и негостеприимно встреченные кронштадтцы тронулись в прерванный путь. Но сколько усилий ни прилагал авангард шествия, чтобы снова построить правильные колонны, это никак не удавалось. Равновесие толпы было нарушено. Всюду казался притаившийся враг. Одни продолжали итти по мостовой, другие перешли на тротуар. Винтовки уже не покоились мирно на левом плече, а были взяты на изготовку.

Когда у открытых окон или на балконах появлялись группы людей, то туда тотчас же наводилось несколько дул с недвусмысленным приказанием «закрыть окна». Буржуазно-обывательские квартиранты Литейного спешили убраться внутрь своих помещений и торопливо запирали двери и окна.

Взволнованность и нервная настороженность массы не миновали даже тогда, когда мы свернули на тихую Фурштадтскую улицу. И здесь кронштадтцы продолжали требо-

вать от любопытных, пачками высыпавших к окнам, тех же гарантий против нового нападения.

Руководителям демонстрации приходилось подходить к наиболее взволнованным товарищам, класть руку им на плечо, успокаивать, что опасность уже миновала, уговаривать притти в себя и не терроризировать обывателей. Такие увещания в большинстве случаев достигали цели; товарищи оставляли угрожающие позы и жесты; перед Таврическим дворцом для поддержания престижа красных кронштадтцев мы даже построились, но строгого порядка, подобающего демонстрации организованных отрядов революции, добиться все же не удалось. Демонстрация кронштадтцев резко делится на две части: до провокационного обстрела и после него.

В течение большей части пути, до первых выстрелов из-за угла, стройное шествие красных кронштадтцев можно назвать образцовым. Наконец, после того, как на их головы, словно из рога изобилия, посыпались таинственные пули, порядок был нарушен.

К Таврическому дворцу мы подошли, хотя и в строю, но довольно условном. Это обстоятельство дало повод буржуазным и меньшевистско-эсеровским легендам изображать приход кронштадтцев к зданию Петроградского Совета в виде недисциплинированной банды, сколоченной из разного сброда. Разумеется, это была чудовищная, сознательно придуманная клевета.

Порядок, организация и дисциплина безусловно были на-лицо, но, конечно, не в такой полной мере, как этого хотелось бы самим же кронштадтцам и как это было до гнусного нападения из-за угла. Несмотря на естественную раздраженность и общую повышенность нервного состояния, на всем протяжении пути кронштадтцами не было произведено ни одного эксцесса.

Выйдя на Шпалерную, мы попали в густой поток демонстрирующих отрядов революции, так же, как и мы, несших красные знамена с золотыми и черными лозунгами: «Долой министров-капиталистов» и «Вся власть Советам».

Другой такой же поток устремлялся уже назад, нам навстречу. Когда первые ряды кронштадтцев вступили в небольшой сквер, разбитый перед фасадом Таврического

дворца и подошли к тяжелым белоснежным колоннам, то Рошаль и другие товарищи остались вместе со всеми снаружи, а я вошел внутрь, чтобы сообщить о нашем приходе, попросить оратора и выяснить дальнейший церемониал демонстрации. Встретив тов. Троцкого, я подошел к нему.

Но едва мы успели бегло обменяться впечатлениями, как кто-то из меньшевиков взволнованно подбежал к нам и сообщил: «кронштадтцы арестовали Чернова, посадили его в автомобиль и хотят куда-то увезти».

Троцкий и я немедленно отправились к месту происшествия, сговариваясь на ходу о необходимости отменить этот самочинный арест и непременно, во что бы то ни стало, освободить Чернова. Никаких разногласий на этот счет у нас не было. Выйдя на подъезд, мы прошли сквозь расступившуюся толпу кронштадтцев прямо к автомобилю, в котором без шапки сидел арестованный Виктор Чернов. Вождь эсеровской партии не мог скрыть своего страха перед толпой: у него дрожали руки, смертельная бледность покрывала его перекошенное лицо, седеющие волосы были растрепаны.

Троцкий и я вскочили в автомобиль и пытались жестами восстановить молчание, чтобы обратиться к товарищам-кронштадтцам со словом дружеского увещания. Несколько минут не удавалось водворить тишину. Толпа гудела, шумела, волновалась, подавала реплики, переговаривалась.

Чувствовалась огромная ненависть со стороны крестьян в матросских и солдатских шинелях к «министру статистики», который всяческими путями, под разными несостоятельными предлогами оттягивал и отсрочивал до «Учредительного Собрания» разрешение аграрного вопроса, понимавшегося тогда только в одном смысле,—как передача всей земли в руки крестьян.

Впоследствии, в «Крестах», тов. Троцкий показал мне одного уголовного матроса, запомнившегося ему как участника ареста Чернова, и видел в этом подтверждение своей версии о том, что арест был произведен десятком субъектов полу-уголовного полу-провокаторского типа. Однако я категорически считаю попытку ареста Чернова отнюдь не результатом провокации, а стихийным поступком самих кронштадтских массовиков, в глазах которых министр

земледелия и вождь партии эсеров Виктор Чернов, как саботажник земельной проблемы, являлся худшим типом врагов народа и революции.

Пока толпа перекатывалась неясным гудением голосов, сливавшихся в общем гуле, я, стоя в автомобиле, успел перекинуться несколькими словами с ближайшими ко мне товарищами.

— Зачем вы арестовали Чернова? Куда вы хотите его везти?—спросил я.

— Не знаем,—недоумевающе отвечали одни.

— Куда хотите, тов. Раскольников. Он в вашем распоряжении,—отвечали другие.

Видя растерянность Чернова, я шепнул ему: «Это недоразумение. Вы будете освобождены». Чернов посмотрел на меня каким-то рассеянным взглядом и ничего не ответил: повидимому, он плохо отдавал себе отчет во всем происходящем. У т. Троцкого мелькнул план на случай неудачи немедленного освобождения Чернова: поехать вместе с ним в автомобиле, отвезти его за несколько кварталов и затем выпустить на свободу. Но я решительно запротестовал, заявив т. Троцкому: «Это невозможно, это позор! Если вы выедете с Черновым, то завтра скажут, будто кронштадтцы хотели его арестовать! Нужно Чернова освободить немедленно».

Трудно сказать, сколько времени продолжалось бы бурливое волнение массы, если бы делу не помог горнист, сыгравший обычный судовой сигнал, призывающий команду к полной тишине и спокойствию. Тогда т. Троцкий прыгнул на передний кузов, покрывающий моторный двигатель автомобиля, и взмахом руки подал сигнал к молчанию.

В одно мгновенье все стихло и воцарилась мертвая тишина. Громким, отчетливым, металлическим голосом, отчеканивая каждое слово и тщательно выговаривая каждый слог, т. Троцкий произнес короткую речь приблизительно следующего содержания:

— Товарищи-кронштадтцы,—начал он,—краса и гордость русской революции! Я не допускаю мысли, чтобы решение об аресте министра-социалиста Чернова было вами сознательно принято. Я убежден, что не найдется ни одного

человека, стоящего за арест, и не поднимется ни одной руки за омрачение нашей сегодняшней демонстрации, нашего сегодняшнего праздника, нашего торжественного смотра сил революции ненужными, ничем не вызываемыми арестами. Кто тут за насилие, пусть поднимет руку.— Тов. Троцкий остановился и обвел взглядом всю толпу, словно бросая вызов своим оппонентам. Толпа, с напряженным вниманием прослушавшая его речь, застыла в немом молчании.

Никто даже не приоткрыл рта, никто не вымолвил ни слова возражения.

— Гражданин Чернов, вы свободны,—торжественно произнес тов. Троцкий, оборачиваясь всем корпусом к министру земледелия и жестом руки приглашая его выйти из автомобиля. Чернов был ни жив, ни мертв. Я помог ему сойти с автомобиля: с вялым измученным видом, нетвердой, нерешительной походкой он поднялся по ступенькам и скрылся в вестибюле дворца.

После этого я, с своей стороны, произнес несколько слов. Мне казалось важным предупредить повторение инцидентов, по своему характеру превращающих демонстрацию в непосредственную прелюдию к захвату власти. Я напомнил товарищам кронштадтцам мои утренние слова на Якорной площади и подчеркнул, что мы являемся гостями питерских рабочих и самостоятельно не можем принимать никаких сепаратных ответственных решений. В заключение, я отметил, что если бы наши задачи шли дальше мирной демонстрации, то, конечно, мы направились бы не к Таврическому дворцу, куда заезжают только «министры-социалисты», а к Мариинскому дворцу, где заседают министры-капиталисты.

После меня выступил еще кто-то, и, таким образом, создался импровизированный митинг. Помню, около самого автомобиля, служившего для Чернова местом заключения, а для нас трибуной, стоял Григорий Иванович Петровский, очень внимательно относившийся к всему происходящему. Под влиянием речей наша публика заметно успокоилась.

Мы с Рошалем ушли внутрь дворца выяснить дальнейшее назначение кронштадтцев. Наверху, на хорах, опоясыва-

ющих зал заседаний, встречаем Владимира Ильича, выходящего из комнаты, где только что окончилось совещание руководящей группы цекистов. Ильич в хорошем настроении. Видно, широкий размах демонстрации, развернувшейся под нашими лозунгами, несомненный успех нашей партии его глубоко радуют.

Мы с Семеном продолжаем разыскивать кого-нибудь из товарищей, кто мог бы дать указания относительно программы дальнейших действий. Наконец, внизу, в помещении фракции мы находим т.т. Зиновьева и Троцкого. Тов. Троцкий тогда формально еще не состоял членом нашей партии.

Мы с Рошалем подходим к т. Зиновьеву и спрашиваем указаний. «Надо сейчас обсудить»,—отвечает он. Наскоро созывается совещание активных работников. Присутствует немного: около двадцати человек. Произносят речи: сперва Зиновьев, затем Троцкий, потом я и, наконец, Рошаль. Освещая вопрос с разных сторон, все приходят к одному выводу: демонстрацию следует считать законченной, участников пригласить вернуться в казармы. Кронштадтцев решено временно, на всякий случай, оставить в Петрограде. Всеми единодушно признается, что, несмотря на успех сегодняшней демонстрации, условия для вооруженного восстания и захвата власти в данный момент еще не созрели. Заседание продолжается недолго.

После него мы с Семеном разделяемся: я остаюсь в Таврическом дворце, чтобы присутствовать на заседании ЦИК'а и быть в курсе политических решений и настроений, а Рошаль идет разводить кронштадтцев по квартирам; им назначены помещения: в доме Кшесинской, в Петропавловской крепости, в Морском корпусе и в Дерябинских казармах.

Я поднимаюсь на хоры для публики и занимаю место в первом ряду. На улице уже стемнело. Зал бывшей государственной думы ослепительно освещен невидимыми, скрытыми за карнизом электрическими лампочками, отбрасывающими свой яркий матовый отсвет с стеклянного потолка. Заседание в полном разгаре; обсуждается вопрос о сегодняшней демонстрации. Правый сектор и центр амфитеатра полны эсерами и меньшевиками, левые скамьи наших товарищей сравнительно пустуют.

9*

Один за другим поднимаются на трибуну столпы «социал-предателей», чтобы произнести слово осуждения по адресу нашей партии, якобы прорывающей единый «фронт демократии».

Но все же в этих выступлениях чувствуется большая растерянность и неуверенность в завтрашнем дне.

Вечером, 5 июля и позже, когда стали прибывать с фронта войска, «социал-соглашатели» почувствовали у себя под ногами почву, и сразу весь тон их выступлений по поводу нашей демонстрации резко переменился: стал гораздо задорнее, злее, наступательнее, к нему присоединились чувство стихийной ненависти, родственной погромным настроениям, и пробудившаяся жажда мщения за свою временную растерянность. Но 4 июля на этом вечернем, перешедшем в ночное, заседании ЦИК'а, когда временное правительство почти не имело в Питере войск, на которые оно могло бы опереться, когда, несмотря на позднее время, Таврический дворец был окружен целым морем приходивших и уходивших манифестантов, тон речей меньшевистско-эсеровских лидеров был гораздо сдержаннее и осторожнее.

Авксентьев, Дан и компания произносили длиннейшие, малосодержательные речи, в которых не чувствовалось пафоса борьбы, а были только вялые нападки и упреки по нашему адресу. Общее настроение ЦИК'а было тревожное. События на улице отражались на психологии эсеровско-меньшевистского большинства.

Во время речи Дана разыгрался один эпизод, живо воскресивший в моей памяти известные по описаниям сцены Великой Французской революции. Дан, в форме военного врача, едва успел передать свой председательский колокольчик и, спустившись на ораторскую трибуну, завел свою шарманку, примерно, часа на полтора, как вдруг на хоры для публики порывисто вбежал снизу один рабочий и громким, взволнованным голосом истерически закричал:

— Товарищи, там, на улице казаки расстреливают народ.

Словно электрическая искра пробежала по всему залу. Депутаты заволновались, стали переговариваться между собой, некоторые поднялись с мест.

Церетели, сидевший в президиуме, нервно вскочил и сделал попытку устремиться к выходу, но его сейчас же уговорили остаться в зале. Дан пригласил членов ЦИК'а не волноваться и сидеть на местах, а сам, прервав свою речь, сошел с трибуны и вышел из зала заседаний. Через несколько минут он вернулся и доложил, что у кавалеристов, стоящих перед Таврическим дворцом, взбесилась какая-то лошадь, это вызвало панику, тотчас раздались выстрелы и открылась перестрелка. — Но были приняты меры, и сейчас все обстоит благополучно,—закончил Дан информационное сообщение и приступил к продолжению своей обвинительной речи против большевиков.

Незадолго до конца заседания рядом со мною внезапно оказался Рошаль. Он сообщил, что кронштадтцы уже разведены по казармам, и очень хорошо отозвался об общем настроении кронштадтских друзей.

Вскоре заседание закрылось, и мы с Симой, дружески делясь впечатлениями богатого переживаниями дня, вышли на улицу.

3. 5 ИЮЛЯ.

На следующее утро я прежде всего пошел в дом Кшесинской. Здесь под одной крышей дружно работали ЦК, ПК и военная организация при Цека. Здесь всегда можно было увидеть множество партийных товарищей, начиная от Владимира Ильича и кончая приезжим работником из провинции.

Все секретариаты тоже были собраны в этом здании, что сильно облегчало деловые сношения и наведение справок. В Секретариате ЦК тогда работала т. Стасова, секретарем ПК был т. Бокий. Всей текущей работой «военки» руководили т.т. Подвойский и Невский.

Тут же помещалась редакция «Солдатской Правды», где всегда можно было встретить с ворохом рукописей т. Мехоношина.

В доме Кшесинской непрестанно толпилась масса народу. Одни приходили по делам в тот или иной секретариат, другие в книжный склад, тут же продававший агитационную литературу, третьи—в редакцию «Солдатской Правды», четвертые на какое-нибудь заседание. Собрания происхо-

дили очень часто, иногда беспрерывно—либо в просторном широком зале внизу, либо в комнате с длинным столом наверху, очевидно бывшей столовой балерины.

Почти ежедневно произносились агитационные речи: в более торжественных случаях и перед широкими массами—с балкона, повседневно—с угловой каменной беседки сада Кшесинской на перекрестке Большой Дворянской улицы и Кронверкского проспекта. Здесь особенно часто подвизался т. Сергей Богдатьев. Бывало, зайдешь в ЦК или ПК, пробудешь там часа два, разрешишь кучу вопросов, переговоришь с десятком товарищей, возвращаешься домой и смотришь,—Сергей Богдатьев, характерно раскачивая головой, все еще продолжает свою речь на богатую, поистине неисчерпаемую тему «О текущем моменте». Аудитория этих небольших уличных митингов перед домом Кшесинской по своему социальному составу резко делилась на две категории: первую составляли рабочие, специально пришедшие с далеких окраин или откуда-нибудь поблизости с глухих улиц Петербургской и Выборгской стороны. Они сходились сюда поучиться политической грамоте, послушать своих большевистских ораторов. Эти являлись постоянным составом летучего митинга: плотно прижавшись к чугунной решотке, они сплошной стеной окружали оратора и чутко, внимательно слушали, боясь пропустить хоть одно слово.

Другую часть аудитории составляли любопытствующие обыватели-буржуа, либо случайные прохожие, либо зрители, нарочно пришедшие, «посмотреть на Ленина», прельстясь громкой рекламой, устроенной буржуазной печатью дому Кшесинской с тех пор, как там поместились наши партийные органы. Это был текучий, ежеминутно менявшийся состав, слушавший рассеянно, внутри негодовавший, но обычно не смевший поднять своего голоса. Эта публика подолгу не задерживалась перед ораторской беседкой.

Но пятого июля в этой беседке (выстроенной любовницей царя для роскоши и отдохновения) вместо привычного оратора стоял пулеметчик с пулеметом. Не поднимаясь наверх, я прямо прошел в помещение военной организации. Здесь уже были: фактический председатель «военки» т. Подвойский, прапорщик Дашкевич, видный профессио-

нальный работник нашей партии тов. Томский, тов. Еремеев и еще несколько ответственных партийных работников. Тов. Дашкевич вскоре уехал на заседание ЦИК'а, членом которого он состоял.

Товарищи сейчас же передали мне упорно циркулирующие слухи о готовящемся на нас нападении со стороны временного правительства. Словно для иллюстрации момента, Константин Степанович, волнуясь, но не спеша и не упуская характерных деталей, рассказал нам о происшедшем накануне у него на глазах разгроме газеты «Правда». Выяснилось, что, ввиду общей тревожной атмосферы и реальной возможности новых погромов и разгромов, ЦК принял решение, предлагающее рабочим, солдатам и матросам 5 июля оставаться в своих помещениях, но быть наготове по первому зову выйти на улицу. Перед военной организацией прежде всего стал на очередь вопрос о подготовке самообороны на случай нападения и связанный с этим выбор коменданта дома Кшесинской. На эту должность военная организация выбрала меня. Я тотчас же приступил к осмотру наших боевых сил и средств. У подъезда стоял грозно зашитый в броню автомобиль с надежной командой. Затем я осмотрел «пулеметные позиции»: один пулемет в угловой беседке, другой на крыше. Угол обстрела был у обоих достаточно велик: он захватывал всю Троицкую площадь, Троицкий мост, часть Александровского парка, Кронверкского проспекта и Большой Дворянской; третий пулемет стоял внутри, на нижней площадке лестницы. Я прежде всего позаботился дать инструкции пулеметчикам и командиру броневика.

Ввиду того, что никаких агрессивных или наступательных намерений с своей стороны мы не имели, единственной задачей оставалась непосредственная оборона нашего здания, где хранились все документы и архивы партии. Пулеметчикам было приказано первым огня не открывать. Даже в случае появления толпы или военного отряда, следовало их подпустить ближе и начать обстрел лишь после того, как определенно обнаружатся враждебные намерения.

Обойдя все здание и сделав нужные распоряжения, я собрал в нижнем зале внутренний гарнизон дома Кшесинской, состоявший, главным образом, из кронштадтских

моряков, накануне вместе с нами прибывших в Петроград. Я объяснил им наши военные задачи.

Настроение кронштадтцев было отличное: они все горели желанием дать бой сторонникам временного правительства. Однако ознакомление с положением дела и первоначальные приготовления убедили меня, что мы располагаем незначительными силами и к защите не подготовлены. Необходимо было наладить связь с соседними частями, условиться относительно их поддержки и недостаток живой силы возместить техническим усилением нашей примитивной крепости.

Я попросил зашедшего как раз в это время Семена Рошаля, как хорошего агитатора, съездить в казармы Гренадерского полка и в Петропавловскую крепость для того, чтобы поднять настроение этих соседей и создать из них прочных союзников, готовых в трудный момент притти к нам на выручку. Для усиления технической стороны обороны я срочно послал бумагу в Кронштадтский исполком с просьбой немедленно выслать несколько орудий с полным комплектом снарядов.

Как раз около этого времени в дом Кшесинской зашли двое матросов с Морского полигона и предложили мне экстренно доставить на грузовике несколько легких орудий из своей части. Я охотно ухватился за это предложение, так как отсутствие артиллерии было самым уязвимым местом нашей обороны. Товарищи с полигона, заручившись моим письменным предписанием, быстро уехали.

Резолюция ЦК, предписывавшая не выходить на улицу, но быть наготове, с помощью самокатчиков была разослана по партийным районным комитетам с просьбой известить о ней воинские части и вооруженные рабочие отряды, эти зачатки Красной гвардии.

Между тем, в дом Кшесинской все время приходили для связи представители рабочих районов: они рассказывали, что происходит у них на улицах и на заводах, делились впечатлениями о настроении рабочих и солдат, просили дать советы и указания. Также являлись, хотя и в меньшем количестве, представители от полков. Кто-то из пришедших сообщил, что в окнах большого дома на противоположном берегу Невы выставлены пулеметы и наведены на дом Кшесинской.

Другие товарищи передавали, что они видели кильватерную колонну бронированных автомобилей, направлявшихся в нашу сторону. Были получены известия о приближении казачьих разъездов. Пришлось призвать товарищей к бдительной зоркости и все поставить на боевую ногу.

Ввиду угрожающих симптомов, тов. Еремеев и мой брат Ильин-Женевский поехали объясняться с командующим войсками Петроградского округа генералом Половцевым.

Вскоре вернулся из агитационного объезда гренадеров и петропавловцев товарищ Рошаль.

Он пришел в радужном настроении и с оживлением передал, что солдаты все безусловно наши, поддержка с их стороны обеспечена, а в Петропавловской крепости нашлись даже офицеры, сочувствующие большевикам.

Около этого времени мне попался на глаза номер бульварной антисемитской газеты «Живое Слово», сделавшей своей специальностью травлю товарищей, имевших партийные псевдонимы. Раскрыв хулиганский листок, я прочел там гнусное обвинение против тов. Ленина за подписью Алексинского и Панкратова. Грубо-сфабрикованная фальсификация давала понять, что здесь скрывается дьявольский план: морально очернить и политически убить нашу партию. Но тогда еще никто не полагал, что на этих фальшивомонетческих документах либеральные адвокаты Керенский и Переверзев, объединившись со следователями царской юстиции, создадут против партии глупейшее и гнуснейшее дело, которое, однако, в конечном счете только открыло массам глаза и ускорило Октябрьскую революцию.

Днем в ту комнату в доме Кшесинской, где я работал вместе с другими товарищами, зашел знакомый мне по Гельсингфорсу военный моряк Ванюшин, член Центробалта. Он сообщил, что сейчас уезжает в Гельсингфорс, и спросил, нет ли у меня каких-нибудь поручений. Я проинтервьюировал его по части гельсингфорсских настроений, и, посоветовавшись с товарищами, написал бумагу в Центробалт с просьбой выслать в устье Невы небольшой военный корабль типа миноносца или канонерской лодки. Я, — полагаю, не без основания, — считал, что достаточно ввести в устье Невы один хороший корабль, чтобы решимость временного правительства значительно пала. Конечно,

в боевом отношении это было ничто, но здесь шла игра на психологию.

Тов. Ванюшин обещал мое письмо немедленно передать по назначению. В результате, начав работу в качестве коменданта дома Кшесинской, я фактически превратился в нелегального командующего войсками.

Впоследствии, на допросах, царские следователи—господа Александровы, поступившие на службу к Переверзеву и Зарудному, предъявляя мне письменные предписания с требованием на орудия и с вызовом кораблей, усматривали в этом юридические признаки, достаточные для того, чтобы квалифицировать события третьего-пятого июля, как вооруженное восстание. На эти ухищрения мне было нетрудно ответить, что если бы мы, действительно, подняли вооруженное восстание, то у нас хватило бы здравого смысла и знания тактики уличного боя, чтобы не итти стройными колоннами, а рассыпаться и наступать цепью. И в таком случае мы не освобождали бы министров, а, наоборот, арестовывали бы их. Конечно, с моей стороны были сделаны военные приготовления, но только на случай самообороны, так как в воздухе пахло не только порохом, но и погромами. Однако мерам военной предосторожности не пришлось быть проверенными в деле, на боевой практике.

Вернувшись от Половцева, т. Еремеев рассказал нам, что генерал, немедленно приняв его и Женевского, настойчиво уверял их в отсутствии каких бы то ни было планов, сулящих репрессии нашей партии. И, в самом деле, 5 июля ген. Половцев атаки на нас не повел. Он предпочел отложить ее на один день, чтобы, дождавшись новых подкреплений с фронта, продолжавших непрерывно поступать, нанести «сокрушительный» удар нашей партии. Но своими лживыми уверениями генералу никого не удалось обмануть: ему абсолютно не верили.

По возвращении тов. Еремеева было получено новое постановление ЦК, объявлявшее демонстрацию законченной и призывавшее всех участников к ее прекращению. Напряженная атмосфера несколько разрядилась.

Тов. Подвойский предложил мне и Рошалю объехать кронштадтцев. Мы сели в автомобиль, только недавно приобретенный партией, и выехали, нагрузившись консервами

и хлебом. К нам присоединился еще третий кронштадтец—анархист Ярчук, случайно в это время зашедший в дом Кшесинской.

Мы начали с Морского корпуса, затем проехали к Дерябинским казармам—в Галерную гавань. Как только наш автомобиль показывался в воротах, к нему со всех сторон сбегались кронштадтцы. Машина превращалась в трибуну, и мы делали краткие сообщения о политическом положении и о только что принятом решении партии. Настроение товарищей было прекрасное: они готовы были начать вооруженную борьбу за власть Советов, но авторитет партии большевиков обязывал их согласиться с нашими предложениями. Почти единодушно было решено возвратиться в Кронштадт. Больше всего затруднений нам пришлось испытать в доме Кшесинской, где мы устроили собрание кронштадтцев, уже закончив своей объезд. Здесь были размещены исключительно моряки. Стоя в центре военных приготовлений, они, возбужденные этой атмосферой осажденного лагеря, естественно жаждали боя, борьбы, их революционное нетерпение подсказывало им безумную, в данных условиях, мысль о немедленном захвате власти.

Поэтому в доме Кшесинской нам пришлось встретиться не только с обычными и вполне естественными вопросами, но даже с прямой критикой нашей позиции и резкими возражениями. Наши оппоненты недоумевали: как это можно вернуться в Кронштадт, не утвердив в Петрограде Советскую власть. Возражали исключительно анархисты и беспартийные. Товарищи, принадлежавшие к партии, с самого начала оказались на нашей стороне; анархистам дал хорошую отповедь Ярчук, вместе с нами считавший невыгодным и обреченным на поражение всякое решительное выступление в целях захвата власти. В разгаре этого бурного совещания, когда у нас велись жаркие споры с партизанами неумеренной левизны, занимавшими позицию «левее здравого смысла», из Кронштадта прибыла делегация Исполнительного Комитета. Оказывается, получив мою утреннюю записку о высылке артиллерии, товарищи, уже сделав все распоряжения о погрузке орудий, решили точно выяснить калибр требуемой артиллерии и количество нужных пушек; с другой стороны, Исполком интере-

совался их назначением и запрашивал, нет ли надобности в вооруженных бойцах. Для наведения точных справок и общей информации о питерских событиях была сформирована специальная комиссия, в которую вошли Ремнев, Альниченков и еще несколько товарищей. Застав нас на митинге в доме Кшесинской, они попросили слова и своим выступлением облегчили нашу работу, так как до их прихода приходилось отдуваться, главным образом, Рошалю и мне. В результате, когда дело дошло до голосования, подавляющее большинство товарищей приняло резолюцию ЦК.

Помимо информационно-осведомительных поручений, приехавшие привезли с собой повелительное требование Кронштадтского Исполкома о немедленном освобождении всех кронштадтцев, арестованных за последние два дня. Я и Рошаль присоединились к делегации, и мы все вместе отправились на набережную Невы, где сели на маленький катер, доставивший товарищей из Кронштадта, и пошли вверх по Неве—снова к Таврическому дворцу. Ошвартовавшись у какой-то дровяной баржи, мы неудобными переходами по нескольким узким качающимся сходням, наконец, выбрались на пустынную набережную и всякими закоулками вышли на Шпалерную улицу почти напротив дворца. В помещении Совета мы узнали, что сейчас происходит заседание военной комиссии, откуда к нам вышел меньшевик Богданов.

Мне приходилось с ним встречаться еще в эпоху «Звезды» и «Правды», когда, однажды, в день рабочей печати, 22 апреля 1914 года, он, в качестве «ликвидатора», выступал моим оппонентом в пролетарском клубе «Наука и Жизнь».

Несмотря на взаимную ненависть, он встретил нас с какой-то странной, покровительственной улыбкой. Мы потребовали освобождения наших арестованных товарищей. Он обещал, что это будет сделано, и тут же, с своей стороны, как контр-требование, выдвинул вопрос о разоружении находящихся на свободе кронштадтцев.

Мы с негодованием ответили, что об этом не может быть и речи. Тогда Богданов с притворно-участливым видом стал убеждать нас сдать оружие, так как если кронштадтцы станут возвращаться домой с винтовками в руках, то Петроградский Совет не может нести ответственности за без-

опасность их следования на пристань. Он намекнул на огромную ненависть к кронштадтцам среди некоторых частей гарнизона. Очевидно, он имел в виду только что прибывшие с фронта контр-революционные полки. В виде компромисса Богданов предложил произвести сдачу оружия в присутствии представителей Петроградского Совета, дав гарантии, что после посадки кронштадтцев на пароход все оружие полностью будет возвращено.

Но это предложение, содержавшее в себе процедуру унизительной сдачи винтовок, также показалось нам неприемлемым. Мы могли согласиться только на то, что кронштадтцы до пристани пройдут по городу без оружия, которое они сложат на подводы и будут везти впереди себя. Богданов обещал дать ответ и ушел в соседнюю комнату, где происходило заседание пресловутой «военной комиссии». Через несколько минут он вышел и заявил, что наши условия приняты.

Казалось, что вопрос разрешен, и соглашение достигнуто. Не тут-то было. Едва мы успели заговорить с вошедшими в комнату т.т. Каменевым и Троцким, как нам передали, что кронштадтцев просят в «военную комиссию». Мы вошли в комнату, где происходило заседание. Там стоял большой стол, в форме буквы «П», накрытый казенным сукном, за которым сидели: председатель комиссии меньшевик Либер и члены ее: Войтинский, Богданов, Суханов, а также еще несколько молодых людей в офицерской форме, фамилий которых я не знал. Либер, едва скрывая свой гнев, в официальной форме обратился к нам с требованием разоружения кронштадтцев. Мы сослались на заключенное Богдановым соглашение, на основании которого разоружение не предусматривалось. Но Либер, не обращая внимания на наши слова, в еще более категорической форме повторил свое требование. Его темные глаза от нескрываемой злобы налились кровью. Мы хладнокровно ответили, что не имеем от своих товарищей полномочий на обсуждение вопроса об их разоружении и прежде всего обязаны спросить мнения тех, кого это касается.

Тогда Либер, весь корчась от судорожной ненависти к большевикам, заявил, что «военная комиссия» предъявляет нам ультиматум: к 10-ти часам утра завтрашнего дня сооб-

щить наше решение. Мы, не дав никакого ответа, вышли в соседнюю комнату и приступили к обсуждению создавшегося положения с т.т. Каменевым и Троцким. Но едва мы успели начать повествование о наших злоключениях в инквизиторской «военной комиссии», как нас снова пригласили вернуться, и Либер торжественно возвестил, что срок ультиматума сокращен: через два часа «военная комиссия» ждет нашего ответа. Мы с возмущением заявили протест и подчеркнули, что такая внезапная перемена срока является издевательством и ставит нас в условия физической невозможности опросить мнения кронштадтцев, размещенных в разных концах города.

Едва мы успели снова скрыться за дверью, как нас в третий раз пригласили в «комиссию».

Тот же Либер, вместо прокурорского тона уже принявший тон палача, готового повесить свою жертву, краткосложно заявил нам, что срок ультиматума аннулируется вовсе, и мы должны дать немедленный ответ. Тогда, еще раз заявив свой протест, мы с негодованием отвергли ультиматум и удалились.

Вся эта процедура, обставленная таинственностью и конспирацией секретного заседания, удушливая атмосфера безапелляционного суда, насыщенная смертельной ненавистью и глумлением над политическими врагами, напомнила мне средневековые судилища отцов-инквизиторов. Быстро менявшиеся решения производили такое впечатление, словно приговоры выносились под диктовку каких-то закулисных комбинаций. Очевидно, срок ультиматума уменьшался в прямой зависимости от увеличения прибывающих с фронта контр-революционных войск. Меньшевистско-эсеровский ареопаг, вероятно, был связан исправным телефонным кабелем с военными штабами временного правительства. Войтинский на наших глазах сносился по телефону с какой-то прибывшей частью.

Любопытно, что «новожизненец» Суханов, словно набрав в рот воды, сидел с угнетенным видом молчаливого, но страдающего праведника и умудрился в нашем присутствии не произнести ни одного слова.

Уйдя с заседания «военной комиссии», мы возобновили наше совещание с Каменевым и Троцким. Последний

посоветовал немедленно и тайком отправить кронштадтцев домой. Было принято решение разослать товарищей по казармам и предупредить кронштадтцев о готовящемся насильственном разоружении. Но, к счастью, большинство кронштадтцев уже благополучно успело уехать частью еще ночью, 4 июля, а в значительной степени 5 июля после нашего посещения казарм и объявления конца демонстрации; остались только те, кто были размещены в доме Кшесинской и в Петропавловской крепости для охраны партийного помещения. Каменев и Троцкий уехали домой. Рошаль и я пошли в комнату пропусков за получением разрешения для ходьбы по городу.

Нам сперва в выдаче пропусков отказали, под предлогом невозможности поручиться за нашу безопасность, но затем, после категорических настояний с нашей стороны, пропуска все-таки были выданы. Здесь, в комнате пропусков, мы снова увидели Суханова. Он стоял, прислонившись к высокой изразцовой печке, в позе мрачного раздумья, с выражением всей тягости мучительных и неразрешенных колебаний.

Зная межеумочную позицию, занятую им с первых дней революции, я все же уважал его за несомненный ум и за выдающуюся роль, которую он сыграл во время войны. Он был один из немногих легальных журналистов, сумевший в период 1914—1916 г.г. найти фарватер между цензурными рифами и выступить с сильными, содержательными статьями против войны. На этой почве, еще в начале 1916 года, я сошелся с Сухановым, и в те короткие промежутки, которые мне предоставляла военная служба, охотно встречался с ним.

Но сейчас, словно поставив крест на своем прошлом, Суханов действовал во вред революции. С упорством и настойчивостью Пенелопы он распускал все то, что ему удалось напрясть во время войны. Он с места в карьер желчно высказал несколько ядовито-жалобных интеллигентских упреков по поводу демонстрации и предупредил, что при выходе на улицу нас могут арестовать. О том же самом незадолго предупредила Рошаля Мария Спиридонова, а товарищи-моряки, с своей стороны, рассказывали, что казаки на Невском, в течение всего дня, усиленно разыскивали Рошаля и меня. Точно сокрушаясь о наших грехах, Суханов

скорбно покачал головой. Семен, в ожидании ареста, попросил Суханова взять на сохранение револьвер.

После некоторого нерешительного раздумья тот согласился.

К нашему удивлению, нас с Рошалем на улице никто не тронул. Мы решили, что, очевидно, арест был отложен. Пройдя немного вместе, мы разошлись: Семен пошел к себе, а я отправился на квартиру моей матери на Выборгскую сторону. Но, дойдя до Литейного моста, я убедился, что он разведен. Так как у меня не было уверенности относительно Троицкого моста, то я решил итти ночевать к т. Л. Б. Каменеву на 9-ю Рождественскую Песков.

На Литейном было пусто, как на улице вымершего города. Кругом ни души. Даже милиционеры куда-то скрылись. Мои шаги отдавались гулким эхом от каменных плит тротуара. Между Пантелеймонской и Бассейной улиц, напротив длинного здания артиллерийской казармы, стоял какой-то патруль и проверял документы.

Только передо мной кого-то задержали. Я сделал независимый вид и, как ни в чем не бывало, прошел мимо. Офицер, пристально оглядев меня взглядом, документов не спросил. Меня спасла морская офицерская фуражка и черная форменная накидка.

Благополучно добравшись до квартиры Каменева, я позвонил. Все уже спали. Мне отворил дверь прапорщик Благонравов. Я тотчас лег на первый попавшийся диван и через несколько минут заснул, как убитый.

4. ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРОНШТАДТ.

Утром мы попросили прапорщика Благонравова сходить за газетами и заодно посмотреть, что делается на улице.

Оказалось, что на каждом перекрестке только и слышно, как ругают большевиков. Одним словом, открыто выдавать себя на улице за члена нашей партии было небезопасно. Наша демонстрация потерпела фиаско, и теперь даже мелкобуржуазное мещанство Песков, не отставая от крупной буржуазии Невского, высыпало на улицы после трехдневного вынужденного затворничества и отчаянно, на все лады, поносило большевиков. Вскоре вернулась домой т. О. Д. Ка-

менева, работавшая в секретариате Петроградского Совета, и дорисовала картину начавшейся антибольшевистской реакции.

Настроение всех было нерадостное. Предвидя, что репрессии в конечном итоге послужат только на пользу нашей партии, мы в то же время не скрывали от себя, что в ближайший период партии предстоит пройти через полосу ожесточенных гонений. Это сказывалось не только в неистовом озлоблении обывательской массы, готовой растерзать каждого большевика, но и в настроении меньшевиков и эсеров, буквально лезших на стену от негодования по поводу «самочинной демонстрации». Наше выступление определялось ими, как «раскол демократии», хотя только слепой мог не видеть, что пресловутая единая демократия, трещавшая по всем швам, была простым социал-соглашательским мифом. На деле, непримиримые разногласия твердой баррикадой все время отделяли нас от остальных партий. Много злобы и ненависти накипело против нас у социал-патриотов за бурные месяцы с февраля по июль. Им нужен был только предлог, чтобы приговорить нашу партию к политической смерти. Июльская демонстрация дала им этот вожделенный повод.

Уходя, я посоветовал тов. Каменеву переменить свою квартиру.

— А у вас есть что-нибудь подходящее?

Я ответил, что хорошо знаю живущую поблизости молодежь, которая с удовольствием предоставит убежище, но только на беду отец семейства ненавидит большевиков.

— Вот так надежная квартира!—громко рассмеялся Лев Борисович, вскидывая голову таким характерным для него, непринужденным движением. В конце концов, он решил не трогаться с места, так как от случайной банды погромщиков нигде не укроешься, а если придут с обыском правительственные отряды, то они ничего сделать не могут, так как за них отвечает их «социалистическое» начальство. В то время мы все еще были проникнуты некоторым доверием к кабинету Керенского и рассчитывали на соблюдение элементарных «правовых гарантий». Однако, ближайшие дни показали воочию, что в лице временного правительства мы имеем злобную и мстительную контр-революционную банду.

Около 3 часов дня я расстался с Каменевым и, выйдя на Бассейную, направился к Выборгской стороне. На углу я купил свежий номер «Вечернего Времени».

Здесь, на первой странице мне бросилось в глаза подробнейшее фантастическое сообщение об отъезде тов. Ленина в Кронштадт под моей непосредственной охраной! Досужий корреспондент, заполнивший голым вымыслом всю первую полосу буржуазно-бульварной «Вечерки», изощрялся в описании самых кропотливых деталей, рассчитанных на неискушенного читателя и придававших всему повествованию внешний вид полного правдоподобия. Во всей истории русской журналистики нельзя найти более черной полосы безудержного лганья, чем в этот период послеиюльских дней, когда вся буржуазная и примыкающая к ней соглашательская пресса начала бешеную кампанию травли большевиков с легкой руки Алексинского и Панкратова, Бурцева и Переверзева, возведших неслыханную клевету на тов. Ленина.

На Бассейной и на Невском не было заметно никаких следов нашей демонстрации. После стрельбы последних двух дней, разогнавшей обывательскую толпу, как воробьев, по домам, улицы оправились от безлюдья и снова приняли мирный характер. Узнав от своих кухарок о наступившем успокоении, буржуа высыпали из хмурых домов на улицы, пригретые ласковым летним солнцем. Они чувствовали себя, как на другой день после грозы и бури, и в знак того, что социальный потоп, от которого они едва избавились, больше не повторится, временное правительство показывало им многоцветную радугу прибывших с фронта верных частей, разоружение большевистских полков и, наконец, начало репрессий.

На Выборгской стороне, на повороте с Нижегородской улицы на Симбирскую, мне пришлось видеть один из полков, явившихся на усмирение Петрограда. Он длинной лентой вытянулся по Симбирской, загибаясь своим обозом к Литейному мосту. На чолках лошадей по-солдатски были сплетены какие-то украшения. Было странно видеть этих запыленных, усталых, заросших бородами фронтовиков не на ухабистой проселочной дороге, а на каменной мостовой рабочего квартала. Как часто бывает во время движения

по улицам большого города воинской части — полк вдруг остановился. Может быть, впереди что-нибудь препятствовало шествию, а может быть, передние ряды уже входили во двор казармы. Солдаты усталыми жестами стирали пот с своих загорелых лбов. Я внимательно всматривался в их лица. На них отражалось крайнее физическое утомление и близкое к бесчувствию равнодушие. Видно, временное правительство вызвало их издалека и доставило для борьбы с большевистской крамолой в самом срочном порядке. Это были типичные рядовые, солдаты-массовики. Ничего специфически контр-революционного, ничего бесшабашно-казацкого в их внешности не было. Не даром большинство этих частей вскоре перешло на нашу сторону и приняло участие в Октябрьской революции, целиком растворившись в Питерском гарнизоне.

На виду у солдат, среди которых никто, разумеется, не мог узнать меня, я завернул во двор, внутри которого, в квартире моей матери, я всегда останавливался, когда приезжал из Кронштадта. На этот раз я застал дома Семена Рошаля, Л. Н. Александри и моего брата А. Ф. Ильина-Женевского. С тов. Александри я познакомился еще до революции, когда он по партийным делам приехал из-за границы и привез в подошве сапога свежие номера «Социал-Демократа». Так как во время войны зарубежная партийная литература доходила до Питера с огромными затруднениями, то все товарищи тогда были особенно рады драгоценной контрабанде Александри.

Женевский рассказал о событиях, происшедших в Петропавловской крепости, откуда он только что вернулся,— о бескровном занятии крепости и дома Кшесинской войсками временного правительства и о разоружении неуспевших уехать последних кронштадтцев, еще остававшихся в крепости. Трудная роль выпала здесь на долю т. Сталина, которому фактически пришлось быть не только политическим руководителем, но и дипломатом. Со стороны временного правительства в переговорах участвовал меньшевик Богданов.



Теперь перед нами стоял вопрос о нашей будущей работе. Я решил возвратиться в Кронштадт, а Рошалю посоветовал перейти на нелегальное положение, ввиду особенно ожесто-

ченной личной травли его буржуазной печатью. Обезумевшая в те дни обывательская публика легко могла узнать Семена и предать его самосуду. Семен был мгновенно переодет, и, вместо обычной кепки задорного вида, ему была дана более респектабельная шляпа. Откуда-то нашлось и приличное пальто. Изменив, насколько было возможно, свою наружность и пригладив непокорные черные волосы, Рошаль уехал вместе с Александри, который взялся поселить его нелегально где-то в Новой Деревне.

Я остался ночевать в Питере и на следующее утро, 7 июля, по Балтийской железной дороге выехал в Кронштадт. Я намеренно выбрал кружный маршрут вместо прямого сообщения на пароходе, чтобы избежать проверки документов и возможного задержания, так как аресты большевиков уже были в полном разгаре. Расчет оказался верным: мне без труда удалось пробраться в Кронштадт. В Ораниенбауме, где происходит пересадка с поезда на пароход, действительно, не было никакого кордона. Только в Кронштадте, на пристани, в целях борьбы со шпионажем, происходила обычная проверка паспортов,—но здесь меня уже не смели тронуть.

В партийном комитете и в редакции «Голоса Правды» все были на местах. Среди товарищей, обескураженных разгромом Питерской организации, чувствовался некоторый упадок духа. Большему унынию поддались руководители-интеллигенты,—рабочие были сдержаннее и казались спокойнее. — «Эх, обидно было вернуться без власти Советов», — формулировал общее настроение один кронштадтский рабочий.

В типографии, где на плоских маслянистых машинах печаталась наша газета, я заметил отсутствие т. Петрова— высокого и худого, носившего пенснэ наборщика, который обычно приходил ко мне в редакцию за рукописями. «А где же товарищ Петров?» — спросил я. «Он все еще передает власть в руки Советов Рабочих и Солдатских Депутатов», — смеясь, ответили мне наборщики.

Как оказалось, он вместе с другими отправился в Питер и был там арестован.

Тут же, в типографии, я сажусь наспех писать бодрую статью о демонстрации, выясняющую ее политическое

значение, сдаю ее в набор, правлю гранки, и сам же читаю корректуру. Просматриваю материал для очередного номера и сейчас же передаю в наборную. В эти дни, когда «Правда» еще не оправилась от гнусного юнкерского погрома, когда политические условия Питера препятствовали возобновлению нашего партийного органа, кронштадтские большевики спокойно выпускали свою газету и свободно писали в ней все, что хотели. Островное положение спасло от разгрома единодушный в своих настроениях Красный Кронштадт.

Конечно, питерские товарищи, сгруппировавшись тогда вокруг Выборгского районного комитета, тотчас поспешили использовать нашу трибуну. В нашу вольную типографию стали поступать из Питера статьи, которые без всякого просмотра шли прямо в типографию. А на следующий день большая часть ночью отпечатанных номеров уже отправлялась на пароходе в Петроград. Для нужд самого Кронштадта оставлялась лишь небольшая партия. Несколько дней «Голос Правды», как единственный большевистский орган, широко распространялся в рабочих кварталах Питера.

Поздно вечером в здании бывшего Морского собрания (где тогда помещался Кронштадтский Совет), состоялось заседание Исполнительного Комитета. Председатель Исполкома Ламанов огласил только что полученную телеграмму, подписанную Керенским и требовавшую выдачи «зачинщиков» демонстрации и переизбрания Центрофлота. Вот ее текст:

С начала революции в Кронштадте и на некоторых судах Балтийского флота, под влиянием деятельности немецких агентов и провокаторов, появились люди, призывавшие к действиям, угрожающим революции и безопасности родины. В то время, как наша доблестная армия, геройски, жертвуя собой, вступила в кровавый бой с врагом, в то время, когда верный демократии флот неустанно и самоотверженно выполнял возложенную на него тяжелую боевую задачу, Кронштадт и некоторые корабли, во главе с «Республикой» и «Петропавловском», своими действиями наносили в спины своих товарищей удар, вынося резолюции против наступления, призывая к неповиновению революционной власти в лице поставленного демократией временного правительства и пытаясь давить на волю выборных от органов демократии в лице Всероссийского Съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Во время самого наступления нашей армии начались беспорядки в Петрограде, угрожавшие революции и поставившие наши армии под удары врага. Когда по требованию временного правительства, в согласии с Исполнительными Комитетами Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов, для быстрого и решительного воздействия на участвовавших в этих предательских беспорядках кронштадтцев были вызваны суда флота,

враги народа и революции, действуя при посредстве центрального комитета Балтийского флота, ложными разъяснениями этих мероприятий внесли смуту в ряды судовых команд; эти изменники воспрепятствовали посылке в Петроград верных революции кораблей и принятию мер к прекращению организованных врагом беспорядков и побудили команды к самочинным действиям: смене генерального комиссара Онипко, постановлению об аресте помощника морского министра капитана 1-го ранга Дудорова и предъявлению целого ряда требований Исполнительному Комитету Всероссийского Съезда Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Изменническая и предательская деятельность ряда лиц вынудила временное правительство сделать распоряжение о немедленном аресте их вожаков, в том числе временное правительство постановило арестовать прибывшую в Петроград делегацию Балтфлота.

Ввиду сказанного выше приказываю:

1) Центральный Комитет Балтийского флота немедленно распустить, переизбрав его вновь.

2) Объявить всем судам и командам Балтийского флота, что я приказываю немедленно изъять из своей среды подозрительных лиц, призывавших к неповиновению временному правительству и агитирующих против наступления, предоставив их для следствия и суда в Петроград.

3) Командам Кронштадта и линейных кораблей «Петропавловск», «Республика» и «Слава», имена коих запятнаны контр-революционной деятельностью и резолюциями, приказываю в 24 часа арестовать зачинщиков и прислать их для следствия и суда в Петроград, а также принести заверения в полном подчинении временному правительству. Объявляю командам Кронштадта и этих кораблей, что, в случае неисполнения настоящего моего приказа, они будут изменниками родины и революции, и против них будут приняты самые решительные меры. Товарищи, родина стоит на краю гибели из-за предательства и измены, ее свободе и завоеваниям революции грозит смертельная опасность. Германская армия уже начала наступление на нашем фронте, каждый час можно ожидать решительных действий неприятельского флота, могущего воспользоваться временной разрухой. Требуются решительные и твердые меры к устранению ее в корне. Армия их приняла, флот должен идти с нею нога в ногу.

Во имя родины, революции, свободы, во имя блага трудящихся масс, призываю вас сплотиться вокруг временного правительства и всероссийских органов демократии и грудью отразить тяжелые удары внешнего врага, охраняя тыл от предательских ударов изменников.

Военный и морской министр *А. Керенский.*

Телеграмма была помечена седьмым июля.

Этот истерически-диктаторский приказ произвел на Кронштадт обратное впечатление. Рассчитанный на устрашение, он на самом деле вызвал огромное возмущение. Конечно, об арестах и выдачах не могло быть и речи. В порядке прений я потребовал слова и с негодованием обрушился на временное правительство:

— Этот 24-часовый ультиматум является верхом контрреволюционного цинизма, ярким симптомом начавшейся реакции. Положившись на внешнее успокоение Петрограда,

временное правительство решило использовать благоприятный момент для серьезной борьбы с революционными настроениями Кронштадта и Балтийского флота. После Петрограда оно хочет разгромить все остальные базы революции. Резкий, запальчивый тон телеграммы, как нельзя более, напоминает наглые приказы и распоряжения усмирителей царских времен. Так же, как при царизме во время рабочих волнений, среди масс ищут «зачинщиков». От красных кронштадтцев имеют бесстыдство требовать, чтобы они арестовали «смутьянов» и «подстрекателей», скрутили им руки к лопаткам и препроводили по начальству. Но этому не бывать! На протяжении всей истории рабочего движения в России в ответ на подобные требования о выдаче «вожаков» забастовавшие рабочие всегда мужественно отвечали: среди нас нет зачинщиков, мы все являемся зачинщиками стачек! По примеру наших предшественников, в революционном движении мы обязаны дать такой же ответ.

По поводу переизбрания Центрофлота мною было предложено снова избрать наших старых делегатов.

Стоит ли говорить, что на все предложения Керенского было отвечено категорическим отказом? Сторонники всех оттенков, всех направлений были единодушны. Впрочем, никого правее левых эсеров и меньшевиков-интернационалистов у нас в Кронштадтском Исполкоме вообще не водилось.

В эти же дни, 8 или 9 июля, в саду парткома состоялось общепартийное заседание Кронштадтской организации. Все руководители демонстрации были встречены с какой-то особенной задушевной теплотой. С докладами о 3—5 июля выступали т. Флеровский и я. Исключительное негодование всех товарищей вызвало бесстыдное поведение пресловутой военной комиссии под председательством Либера, многократно возобновлявшей торг на новых и неизмеримо худших для нас условиях, как только соглашение казалось достигнутым...

Настроение массовиков было вполне удовлетворительно. Общегородское собрание приободрило их еще больше. К концу его появились улыбки, посыпались шутки. Было видно, что товарищи не предались отчаянию и не потеряли веру в будущее партии. Партийно-советская работа в Кронштадте попрежнему функционировала нормально, как нака-

нуне демонстрации. Мирная жизнь вполне возобновилась. Только не устраивалось митингов. Руководители Кронштадтского комитета сознавали, что в течение нескольких дней нужно дать массе отдохнуть и предоставить ей возможность спокойно разобраться в обильных и многообразных впечатлениях, которые вынес из демонстрации каждый ее участник. Первое широкое собрание наш комитет назначил на 13 июля, когда в Морском манеже я должен был прочесть лекцию о минувшей демонстрации, об ее политическом смысле и значении.

Но, по независящим обстоятельствам, прочесть эту лекцию мне не удалось.

5. АРЕСТ.

В ночь на 13 июля, когда я уже спал на своем корабле «Освободитель», тов. Покровский (левый эсер, член Кронштадтского Исполкома) срочно вызвал меня в Совет. Когда я пришел, он показал мне только что полученную телеграмму. Она была адресована на имя коменданта Кронштадтской крепости и предписывала немедленно арестовать и доставить в Петроград Рошаля, Ремнева и меня. В телеграмме было добавлено, что, в случае невыполнения приказа, Кронштадт подвергнется блокаде и не получит ни хлеба, ни денег.

Покровский, видимо, растерялся и с волнением спрашивал моего совета. Я ответил, что, по моему мнению, всем кронштадтцам, подлежащим аресту, нужно добровольно явиться в Петроград для следствия и суда. Я так обосновывал свое решение: временное правительство в безудержно-злобном преследовании большевиков, вероятно, не остановится перед блокадой Кронштадта. Остаться здесь—это значит подвергнуть риску голодной смерти и неизбежному, в таком случае, политическому разложению местный пролетариат и гарнизон. Этот выход из положения был для меня неприемлем.

Правда, не трудно организовать побег в Финляндию. Но против нас были выдвинуты не только политические обвинения, но всей печатью и так называемым «общественным мнением» открыто делались чудовищные намеки на наше сотрудничество с немцами, в качестве их агентов. Именно это обвинение подсказывало мне добровольную явку, как меру самозащиты, как единственный способ реабилитации.

Конечно, я сознавал, что такому вождю партии, как тов. Ленин, следует всеми силами избегать тюрьмы, так как в тот момент, в случае ареста, самая жизнь его, несомненно, подвергалась серьезной опасности со стороны контрреволюционной камарильи. Партия слишком долго ждала Ленина и достаточно бродила в потемках без его ясной и твердой тактики, чтобы она могла хоть на один день лишиться его руководства—особенно в такое трудное для революции время. Но нам остальным, по моему мнению, надлежало предстать перед судом временного правительства, чтобы публично реабилитировать партию и себя, попытаться превратить наш процесс в крупную политическую демонстрацию против буржуазного режима и разоблачить его возмутительные приемы, применяемые им в борьбе против партии рабочего класса. Тогда мы все еще имели некоторое, правда, небольшое, доверие к меньшевикам и правым эсерам, еще питали иллюзии насчет их минимальной политической чистоплотности.

Тов. Покровский, сперва смущенный и волновавшийся, заметно обрадовался удобному выходу из положения. Я поинтересовался, каким образом секретное предписание об аресте, вместо того, чтобы итти по инстанциям и быть приведенным в исполнение — оказалось в наших руках. Выяснилось, что телеграмма была получена комендантом крепости, и он, не зная, что с ней делать, принес ее в Кронштадтский Совет.

Мы порешили на следующий день созвать пленум совета. Тов. Ремнев казался угнетенным и во время всего разговора не проронил почти ни слова. Этот Ремнев прежде был пехотным подпоручиком и служил в Ладожском полку. На фронте он примкнул к большевикам и у него вышло крупное столкновение с начальством; тогда он поехал в Кронштадт, чтобы доложить о положении своей части, как многие поступали в те дни, смотря на Кронштадт, как на центральный очаг революции.

Как уже было сказано выше, к нам неоднократно приезжали за помощью и советом из Донецкого бассейна, с разных фронтов, одним словом, со всех концов необъятной России. Конечно, кроме моральной поддержки, Кронштадт ничего дать не мог. В большинстве случаев дело ограничивалось только взаимной информацией. Прибывшие делегаты

освещали на митингах положение своего района, знакомились с ходом работы в Кронштадте и со взглядами его работников. Эти потоки гостей не переводились в Кронштадте: почти всегда кто-нибудь из приезжих депутатов пользовался нашим гостеприимством. Ремнев тоже начал с доклада на одном из митингов Якорной площади. Но Кронштадт настолько пришелся ему по вкусу, что он решил остаться у нас для постоянной работы. Ему удалось поступить в машинную школу, где он и нашел временное убежище от преследований временного правительства.

После Октябрьской революции и позже, в ранний «партизанский» период гражданской войны, он командовал второй армией, действовавшей на Украине. В один из своих приездов в Москву, в апреле или в мае 1918 года, он был арестован по обвинению в бандитизме.

Ремнев был горячий и увлекающийся человек, но у него отчетливо проглядывали черты авантюризма и страха за свою личную безопасность. Мне лично он всегда казался неуравновешенным, нервно-расшатанным человеком. Как член партии, он был лишен всякой теоретической подготовки, но в машинной школе, как единственный офицер-большевик, он до Октябрьской революции пользовался известной популярностью.

После разговора с Покровским, мы с Ремневым в ту же ночь поехали в машинную школу, чтобы предупредить товарищей о предстоящем аресте. Ученики машинной школы были хорошие революционные матросы.

Все спали и нам пришлось устроить «побудку», чтобы поднять их с коек. Они быстро вскочили и тесным кольцом сгрудились вокруг нас. Встав на скамейку и рассказав товарищам о полученной телеграмме, я объявил им наше решение. По лицам и по отдельным возгласам несогласия было видно, что многие не разделяют мнения о необходимости нам обоим (мне и Ремневу) ехать арестовываться в Питер. Пришлось выставить целый арсенал доводов, и только тогда наши оппоненты, сначала ничего не хотевшие слышать о нашем изъятии, нехотя оставили свои возражения.

Утром 13 июля у нас первоначально состоялось фракционное заседание. Я по-прежнему настаивал на явке

в Петроград, некоторые товарищи возражали, но, в общем, наше предложение было принято. Ремнев, вообще, был настроен против капитуляции. Правда, он открыто не выступал, но определенно склонялся в пользу побега. По крайней мере, даже после решения фракции, он еще уговаривал меня бежать в Финляндию.

— Катер с семью матросами команды уже стоит под парами, бежим, а то нас убьют в Петрограде,—повторял он, скорбно качая головой.

Вскоре открылось заседание Совета. Покровский обрисовал положение, создавшееся в связи с получением ультимативной депеши. Взяв слово, я еще раз высказал свои доводы в пользу согласия на арест. Начались прения. Голоса разделились. Одни говорили в пользу нашего предложения, другие—против него. Между прочим, мне запомнилась любопытная черточка. Поскольку на прежних заседаниях Совета большей частью выступала одна и та же группа товарищей, слывших ораторами, постольку на этот раз, один за другим занимали трибуну какие-то новые, никому не ведомые лица, нападавшие на нашу партию, вкривь и вкось критиковавшие ее политику и осуждавшие демонстрацию. Прежде они сидели спокойно, словно набрав в рот воды, и не решались выступать «против течения», но теперь вдруг осмелели и, почувствовав временное ослабление нашей партии, сомкнутой колонной двинулись на приступ. За $5^1/_2$ месяцев жизни Кронштадтского Совета впервые в нашей среде неизвестно откуда взялись новоявленные друзья временного правительства. Эти последние часы перед тюрьмой нам пришлось посвятить полемике с неистовыми врагами большевиков. Однако, подозрительные ораторы успеха не имели. Они составляли одиночные голоса, без всякой опоры в массах. После прений Кронштадтский Совет отпустил нас в тюрьму, но заявил перед временным правительством и перед ВЦИК'ом, что он всецело солидаризируется с нами и разделяет всю нашу ответственность. Одновременно Кронштадтский Совет решил требовать нашего освобождения и с этой целью снарядил в Питер специальную делегацию во главе с тов. Дешевым.

П. Н. Ламанов, начальник морских сил Кронштадтской базы, занимавший эту должность по выборам и очень друживший с большевиками, приготовил для нас

отличный катер. В него поместились: «комиссия по освобождению», я, Ремнев и комендант крепости, ехавший в Петроград по своему делу. Громко стуча машиной, катер легко отошел от пристани. Пришедший нас проводить П. Н. Ламанов пожелал нам успеха, скорого возвращения и, стоя на пристани, еще долго махал нам вслед рукой. А ведь он был высшим морским представителем временного правительства! Оригинальные были тогда времена!

В пути между Кронштадтом и Питером комендант крепости, седой и невысокий генерал, типа старых вояк, не выносящих никакой политики, горько жаловался на свое отчаянное положение:

— Хорошо им писать приказы об аресте, а что я сделаю? На какие силы я могу опереться, чтобы произвести аресты, когда весь Кронштадт стоит за большевиков?

Старик был глубоко прав. И он бы не выпутался из своего нелепого положения, если бы мы сами не пришли ему на помощь. Значит, даже в высший момент кажущейся силы, возвещавшей о своих мнимых победах барабанно-трескучими, истерическими приказами об аресте большевиков, временное правительство на самом деле было колоссом на глиняных ногах. Еще засветло наш маленький, но изящный кронштадтский катер подошел к одной из пароходных пристаней Адмиралтейской набережной.

Комендант Кронкрепости, любезно пожав руки своим попутчикам-арестантам, отправился по своему делу, а мы вошли в подъезд Адмиралтейства, разыскивая квартиру Дудорова. Еще свободные от надзора и тюремной стражи, мы в душе уже чувствовали себя арестованными.

Меня и Ремнева сопровождали наши друзья: т. Дешевой и моряки, уполномоченные Кронштадтским Советом добиваться нашего освобождения. В приемной 3-го этажа к нам вышел невысокого роста брюнет с подстриженными черными усами и без бороды. Это был первый помощник морского министра, капитан 1-го ранга Дудоров. Мы заявили, что явились отдать себя в руки временного правительства, издавшего приказ о нашем аресте. Мы подчеркнули, что при старом режиме сочли бы своим долгом бежать и скрыться, но сейчас, после Февральской революции, делая некоторую разницу между царизмом и временным правительством,

решили принять этот суд, чтобы публично доказать свою невиновность в возводимых на нас гнуснейших обвинениях, связывающих нашу идейную работу с германской агентурой.

Дудоров внимательно выслушал объяснения и принял деланно-сочувственный вид.

Между прочим, он обратил внимание на пришедших с нами товарищей. Тов. В. И. Дешевой объяснил цель комиссии, приехавшей по поручению Кронштадтского Совета. Это не удивило лойяльного капитана. Он, главный виновник приказа о потоплении подводными лодками больших кораблей, если те двинутся из Гельсингфорса на помощь петроградским рабочим, на этот раз выдерживал неизменно мягкий, слегка доброжелательный тон. Он посоветовал «товарищам» направиться во Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет. Этот совет, в котором, однако, никто не нуждался, и вообще вся предупредительность Дудорова еще более укрепили мое первое впечатление. Это был крупный и зубастый волк в либеральной овечьей шкуре.

Вызвав юного морского офицера и двух вооруженных матросов, Дудоров приказал отвезти меня и Ремнева в штаб Петроградского военного округа. На улице нас уже ждал открытый автомобиль. Мы сели на заднюю скамейку, офицер и матрос с винтовкой поместились впереди на складных стульях, второй вооруженный матрос уселся рядом с шофером. Сознаюсь, мне было неприятно видеть первыми тюремщиками именно матросов. Среди них я работал, среди них я насчитывал стольких друзей. Я вглядывался в лица конвоиров, но они были угрюмы и задумчиво-замкнуты в себе. По их выражению нельзя было угадать, кто они? Скрытые друзья или несознательные враги? Наш странный кортеж вызывал нескрываемое удивление всех прохожих и проезжих этого центрального района. Впрочем, наш путь был недолог. Через несколько минут автомобиль остановился на Дворцовой площади, близ Миллионной, у известного подъезда штаба военного округа. Нас пригласили во второй этаж. Как полагается при конвоировании арестантов, один матрос шел впереди, другой сзади. На каждой площадке лестницы, у каждой двери стоял на часах юнкер с винтовкой и привинченным

штыком. Еще неделю тому назад эти же самые юнкера встречали каждого арестованного большевика тумаками и ружейными прикладами. Но, после первых дней упоения победой, их темперамент, видимо, остыл. По крайней мере, нас никто и пальцем не тронул. Только слышался перебегающий шопот: «Большевиков привели». Мы вошли в большую грязную комнату. В этом бюрократическом сарае не было даже стульев—пришлось стоять. Сопровождавший нас начальник конвоя, безусый «мичманок», едва достигший совершеннолетия, пошел с докладом в соседнюю комнату. Вскоре оттуда один за другим стали появляться штабные офицеры с бумагами в руках, с нескрываемым любопытством осматривавшие нас. В это время из наружных дверей в комнату ввалился какой-то рослый, едва ли трезвый верзила в полушоферской, полуавиаторской форме. На нем была кожаная куртка и фуражка с офицерской кокардой. С враждебным видом он громко заявил по нашему адресу: «Как вас еще не убили? Вас надо было по дороге застрелить». После этого он стал громким голосом хвастаться своими подвигами:

— Я сам своими собственными руками убил тридцать двух большевиков.

— Вот видите, зря мы явились; они нас убьют,—шепнул побелевший Ремнев.

— Вас отправляют в Кресты,—предупредил вернувшийся морской офицер.

Бродяга, хваставшийся убийством большевиков, тотчас набросился на него:

— Как вы смеете разговаривать с арестованными! Какое вы имеете право? Это секрет, куда они будут отправлены. Да вы знаете, кто с вами разговаривает? Знаете, кто я такой?

Мне удалось узнать, что его фамилия — Балабинский.

Молодой офицер смутился и не сумел ответить негодяю в надлежащем тоне.

Наконец, матросы были заменены солдатами, и уже под «сухопутной» охраной нас вывели на улицу. Здесь пришлось погрузиться в большой, наглухо закупоренный арестантский автомобиль, с высокопрорезанными, крохотными решетчатыми окошечками. Мы не видели своего пути, но вскоре почувствовали под колесами мягко закругленную спину

Литейного моста. Потом остановились, и когда раскрылась дверца машины, то мы увидели себя уже в «Крестах».

Спустились сумерки. Снаружи и внутри тюрьмы загорелись электрические лампочки. В конторе солдаты сдали нас под расписку смотрителю тюрьмы.

— Да вы не страшный, вы совсем не страшный! Судя по газетам, мы вас представляли совсем иначе...—говорил смотритель тюрьмы, веселый и жизнерадостный человек, когда ушли наши конвойные солдаты...

По пути в камеру я успел крепко ругнуть бульварно-буржуазную прессу, которая всех нас усиленно изображала зверями в человеческом облике, добавил еще несколько слов о крайней разнузданности буржуазной печати вообще,— смотритель тюрьмы сочувственно кивал головой, а надзиратель, брякая ключами, со странной усмешкой распахнул передо мной тяжелые двери камеры.

§ 6. ИТОГИ ИЮЛЬСКИХ ДНЕЙ.

В процессе нарастания революционных событий демонстрация 3—5 июля 1917 года имеет, несомненно, большое историческое значение. Она является промежуточным звеном между двумя другими массовыми выступлениями пролетариата: демонстрацией 20—21 апреля и великой Октябрьской революцией. Она логически вылилась из демонстрации 20—21 апреля, но превзошла ее как более резкой, отчетливой постановкой вопросов, так и вовлечением в ряды демонстрантов гораздо более широких масс рабочего класса.

20—21 апреля, на-ряду с выставленным нашей партией лозунгом «Вся власть Советам», еще встречалось требование персональных перемещений в составе министерства, выражавшееся в плакатах: «Долой Гучкова и Милюкова». В этих наивных надписях еще чувствовались отзвуки неизжитых, мелко-буржуазных иллюзий, внушавших наивную веру, что с переменой одного-двух лиц временное правительство станет приемлемым для рабочих и крестьян.

К 3—5 июля углубление и обострение классовых противоречий заставило изжить эти вредные мечты, отрешиться от всяких надежд на временное правительство. В июльской демонстрации единообразное содержание плакатов

варьировалось только в пределах: «Вся власть Советам» и «Долой министров-капиталистов». Последнее требование, настаивавшее на обязательном устранении из состава правительства всех до одного представителей буржуазии с заменой их социалистами, представителями рабочих Советов, являлось только иной формулировкой того же самого требования. Лозунг изгнания десяти министров-капиталистов означал не смену отдельных лиц, а полный переход к новой системе управления—к Советской Республике.

Несмотря на доказанное участие анархистов, без всякого смысла стремившихся разжечь страсти, не они спровоцировали все выступление: это было не по силам такой невлиятельной группе. Июльские события произошли совершенно стихийно, без всякого побуждения извне. Рабочий класс и крестьянство в солдатских и матросских шинелях своим здоровым инстинктом чуяли, что временное правительство губит революцию, ведет ее в пропасть.

Преступное наступление 18 июня, продиктованное хищниками международной биржи и означавшее продолжение войны за старые задачи империализма, так же как предательская политика внутри страны, лучше всяких агитаторов открыли глаза народным массам.

И, не ожидая призыва, они 3 июля по собственной инициативе хлынули на улицу.

Как отнеслась к этому партия большевиков? 2 и 3 июля она всей силой своего влияния сдерживает идущие за ней массы. Днем 3 июля ЦК сдает в печать призыв воздержаться от выступления. Но наэлектризованность рабочих масс и их напор настолько велики, а коллективная воля так знаменательно проявляет себя в самостоятельном выступлении одних частей и в сочувственном настроении других, еще не выступивших, но в любой момент готовых к выступлению, что к вечеру 4 июля партия революционного пролетариата, чутко отражающая интересы и настроения рабочих масс, решается возглавить неизбежное, неустранимое движение и, внеся в стихию сознательность, превратить его в мирную и организованную вооруженную демонстрацию.

Классовое чутье, здравый политический смысл и дальнозоркость нашей партии, тесная спаянность ее с широкими

пролетарскими и полу-пролетарскими массами избавили ее от роковой и непоправимой ошибки, которая произошла бы, еслиб партия осталась в стороне от движения. Ее призывы к спокойствию не были бы услышаны. Движение, органически и стихийно возникшее на почве контр-революционного издевательства над массами правительства Керенского и Церетели, было все равно неминуемо, но при пассивном воздержании партии большевиков оно перекатилось бы через ее голову, разбилось бы на тысячи мелких, не связанных, не координированных и не объединенных выступлений и было бы разбито по частям. Ни одна другая партия, ни по своему влиянию, ни по состоянию организационного аппарата, не могла в то время взять на себя руководство таким ответственным революционным выступлением.

Наша партия возложила на свои плечи эту тяжелую задачу и с честью разрешила ее. Конечно, были отдельные эксцессы, совершенно неизбежные во всяком массовом выступлении, но они быстро ликвидировались энергией членов партии. В общем, партии всецело удалось овладеть этим стихийным, помимо ее воли образовавшимся, движением и влить его в русло демонстрации.

Часто приходилось слышать возражения: если предполагалось произвести лишь мирную демонстрацию, зачем нужно было брать оружие? Не лучше ли было винтовки оставить дома?

Наивный вопрос! Легко было предвидеть, что безоружная демонстрация будет встречена «по-военному». Если 4 июля временное правительство не выпустило против манифестантов русского Кавеньяка во главе какого-нибудь казачьего полка или юнкерского отряда, так это в значительной степени потому, что мозолистые руки рабочих, матросов и солдат крепко сжимали приклады заряженных винтовок.

Временное правительство боялось вооруженного отпора, не хотело преждевременно вызвать гражданскую войну. Еще в мае Церетели, приезжавший заключать соглашение с «независимой» Кронштадтской республикой, выдуманной напуганным буржуазным воображением, хватаясь за голову, страдальчески говорил:

— Неужели будет гражданская война? Неужели не удастся предотвратить ее?

И он в искреннем отчаянии нервно сжимал кулаки.

Необходимость оружия, единственного средства защиты в случае кровопускания, диктовалась еще и тем обстоятельством, что, провозглашая демонстрацию, мы сохраняли за собой право в любой момент превратить ее в вооруженное восстание.

Если бы фронт и провинция горячо поддержали наши лозунги, произведя аналогичные смотры своих вооруженных сил, то мы были бы плохими революционерами, не попытавшись форсировать события и уже в июле не сделав октября.

Почему же мы в то время не решились стать на путь переворота?

Потому что, несмотря на несомненное большинство в Питере, во всероссийском масштабе у нас не было достаточно сил, чтобы не только захватить власть на несколько дней, а надолго удержать ее. Наконец, совершая переворот, нам пришлось бы арестовывать тогда как членов временного правительства, так и большинство Центрального Исполнительного Комитета и большинство Питерского Совета. Это сразу обессилило бы партию, произведшую переворот, подрезав основы ее позиции и создав непонятные для масс, противоречивые условия, когда во имя борьбы за власть Советов приходилось бы арестовывать эти Советы.

Партия большевиков поступила правильно, не прельстившись на лавры дешевой авантюры, способной в то время, если не погубить революцию, то надолго отсрочить ее Октябрьское торжество.

Исторические дни 3—5 июля в том виде, как они были использованы партией, имели огромные положительные результаты по своему влиянию на дальнейшее развитие событий.

Этот первый грандиозный смотр пролетарских сил, готовых на страх буржуазии с оружием в руках защищать революцию, был началом конца для временного правительства и связавших с ним свою бесславную судьбу «оборонческих» партий меньшевиков и эсеров.

События 3—5 июля и последовавшая за ними кампания жестоких репрессий до конца разоблачили контр-револю-

ционную и антидемократическую позицию буржуазного правительства Керенского. Меньшевики и эсеры, запутавшиеся в сетях коалиции, окончательно и бесповоротно скомпрометировали себя.

А наша преследуемая партия, окруженная ореолом мученичества, вышла из этих испытаний еще более закаленной, неслыханно увеличившей свое влияние и кадры своих сторонников.

Июльские дни и неотвратимо наступившее после них обострение классовой борьбы дали огромный опыт и многому научили русский рабочий класс.

VIII. В ТЮРЬМЕ КЕРЕНСКОГО.

Отведенная мне камера была расположена в первом этаже огромного второго корпуса «Крестов».

На следующий день, 14 июля, я был вызван на допрос. В особой комнате, рядом с кабинетом начальника тюрьмы, меня ожидал следователь морского суда Соколов в блестящем форменном кителе. Подавая мне лист бумаги, он с преувеличенной корректностью, невольно напомнившей мне царских жандармов, предложил заполнить показаниями официальный бланк.

Когда я закончил изложение своей роли в июльских событиях, морской следователь многозначительно информировал меня, что по старым законам, так же как по новому положению, введенному на фронте, за вменяемые мне преступления полагается смертная казнь.

— Закон обратной силы не имеет, —возразил я.

В самом деле, в момент демонстрации смертная казнь формально еще не была введена, к тому же моя деятельность протекала в Кронштадте и в Питере, а никак не на фронте.

Следователь недоуменно развел руками. Я догадался, что понятие «фронта», очевидно, допускает самое широкое толкование. Элементарные юридические формулировки, вроде «обратной силы закона», существуют лишь в мирное время, и в эпоху революции отпадают сами собой. Мне стало понятно, что в рядах опьяненного победой и жаждой мести временного правительства существует немало сторонников самой жестокой расправы с большевиками.

В начале моего тюремного сидения я был подвергнут строжайшему одиночному заключению: дверь моей камеры была постоянно закрыта и даже на прогулку «по кругу» меня выводили отдельно, тогда как другие товарищи,

сидевшие в одиночках, имели общую прогулку, во время которой устраивались небольшие импровизированные митинги.

* * *

Во время одной из первых прогулок я увидел за решоткой нижнего подвального этажа знакомое лицо товарища П. Е. Дыбенко. Не обращая внимания на конвойных солдат и тюремных надзирателей, я спокойно остановился и на виду у всех вступил с ним в приятельскую беседу. Никто не сделал мне замечания—революция уже заметным образом коснулась тюрьмы.

Тов. Дыбенко со свойственным ему юмором рассказал перипетии своего ареста. Он сам не мог удержаться от смеха, когда описывал мне неожиданные злоключения командующего флотом, адмирала Вердеревского, убежденного сторонника временного правительства. Адмирал, получив шифровку Дудорова о безжалостном потоплении подводными лодками всех кораблей, самовольно выходящих из гавани по направлению к Петрограду, естественно доставил ее в Центробалт, откуда она, произведя неслыханную сенсацию, распространилась по всем кораблям. Вердеревский, не имевший физической возможности за спиной Центробалта привести в исполнение готтентотский приказ, отлично сознавал, что, даже в мало вероятном случае его удачного выполнения, ему самому не сносить головы. Конечно, было нетрудно подводной лодкой потопить тот или иной корабль, но вызвать в Балтийском флоте гражданскую войну было абсолютно немыслимо при полном единодушии и нераздельной сплоченности матросских масс. Исходя из одних соображений голой целесообразности и собственного бессилия, а отнюдь не из пристрастия к выборным матросским учреждениям, органически враждебный большевизму, но умный и хитрый адмирал Вердеревский избрал единственный доступный ему лойяльный путь и адресовался в Центробалт.

Высшее морское начальство, сидевшее под адмиралтейским шпицем, было взбешено до последней степени опубликованием секретной шифровки, переданной командующему флотом в порядке боевого приказа, и объявление которой вызвало сильнейшее возбуждение среди моряков

и разоблачило грязные, возмутительные приемы борьбы решившего ни перед чем не останавливаться временного правительства. Лебедев, Дудоров и им подобные увидели в этом акте незаконное разглашение военных тайн. Вердеревский был обвинен ни больше, ни меньше, как в государственной измене, и неожиданно для всех арестован.

Впрочем, несколько позже, адмирал с такой же внезапностью стал «калифом на час» и прямо из-за решотки попал в мягкое кресло Малахитовой залы Зимнего дворца в качестве последнего морского министра временного правительства. Виновнику его ареста — Дудорову — пришлось срочно ретироваться в Японию на пост морского агента.

После встречи с Дыбенко, возвращаясь в свою камеру, я встретил в коридоре матроса с «Авроры», тов. Куркова, и одного из членов Центробалта, Измайлова. Последний пришел в Питер на миноносце в составе делегации Балтфлота с протестом против политики временного правительства, но был арестован и посажен в «Кресты». Впрочем, оба сидели недолго и вскоре были освобождены без всяких последствий.

Однажды в моем «глазке» показался крупный и темный глаз, а вслед затем я услышал хорошо знакомый мне голос Семена Рошаля: «Здравствуй, Федя». Оказывается, узнав, что я арестован, он решил добровольно явиться в тюрьму. «После твоего ареста я считал неудобным скрываться»,— пояснил тов. Семен.

В «Крестах» разрешалось читать газеты, что было значительным новшеством по сравнению с тюрьмами старого режима, с которыми в свое время мне довелось довольно близко познакомиться.

Каждое утро в мою камеру приходил кто-нибудь из товарищей и приносил огромную кипу газет,—я покупал по одному экземпляру все выходившие в Питере издания, до бульварного листка «Живое Слово» включительно.

Тов. Рошаль иногда подходил к моей камере и брал у меня те номера газеты, которых у него не было. В то время во всей печати шла лютая, неистовая травля большевиков. Безудержно и бесстыдно бульварно-буржуазные борзописцы вешали собак не только на партию, но и на отдельных ее членов, не останавливаясь перед самыми гнусными измышлениями, вроде обвинения Каменева и Луначарского в прово-

кации. Изрядно доставалось при этом и кронштадтцам, особенно Рошалю и мне. Лично на меня эти нападки не производили никакого впечатления. Я только посмеивался по поводу выдвинутых против меня обвинений в семи смертных грехах. От наших непримиримых классовых врагов и нельзя было ждать ничего иного, и потому ко всем их словам, как бы возмутительны и оскорбительны сами по себе они ни казались, я относился с глубоким равнодушием.

Рошаль реагировал иначе. Он очень болезненно воспринимал каждую грязную статью, каждую заметку, приписывавшую ему нечистоплотные поступки. Помню, как одно досужее измышление языкоблудного репортера суворинского «Вечернего Времени» испортило ему настроение на целый день. Долгое время после этого он не мог еще вспомнить без раздражения чудовищное извращение своей биографии и лживые наветы на родных. Такая болезненная чуткость вытекала из всей натуры Семена. Под свирепой наружностью, под взлохмаченными волосами и вызывающей кепкой скрывался нежнейший романтик, немного наивный, обидчивый и неудержимо горячий во всем, что относилось до его спартанской честности. Кроме того, Рошаль был еврей, русский студент без права жительства, гражданин отечества, украсившего свою историю кровавыми еврейскими погромами и позорным процессом Бейлиса... В остервенелой травле суворинских «молодцов», избравших объектом преследования кронштадтцев его скромную личность, Семен чутко угадывал струю махрового «истинно-русского» анти-семитизма.

* * *

В один из первых дней заключения ко мне на свидание пришла старушка-мать. Свидания происходили, как и при старом режиме, через двойную решотку в присутствии тюремного смотрителя. Этот последний отличался некоторыми привлекательными чертами, в том числе нескрываемым сочувствием к арестованным, и в подтверждение своей стародавней близости к политическим заключенным он однажды показал мне снятую в Предварилке в 1906 году фотографию Троцкого с его личным автографом.

— Если бы это нашли у меня при старом режиме, то вы знаете, чем я рисковал,—рисуясь своею смелостью, говорил благожелательный смотритель.

Нельзя сказать, чтобы он ревниво относился к своим служебным обязанностям. Во время свиданий он часто выходил из комнаты, что в значительной степени облегчало передачу свернутых в трубочку длинных и узких рукописей, пересылавшихся мною в наши газеты.

На одном из первых свиданий я успел шепнуть моей матери просьбу сходить к Троцкому и попросить его взять на себя мою судебную защиту.

Другой раз ко мне на свидание пришли три кронштадтских матроса во главе с т. Панюшкиным. Они принесли хлеб, консервы и деньги, собранные среди команд. Этот знак внимания кронштадтских друзей глубоко меня тронул. Все присланное ими оказалось как нельзя более кстати. Деньги дали возможность ежедневно приобретать полное собрание петроградских газет и, таким образом, не отставать от текущей политики. Наконец, продукты были весьма ценным дополнением к недоброкачественному тюремному столу. В этом отношении режим Керенского несколько отличался от тюрем царизма, где заключенных кормили немного более прилично. Очевидно, мы переносили на своем желудке всю тяжесть продовольственных неурядиц 1917 года. На обед нам давалась тошнотворно пахнущая бурда из тухлой солонины. От небольшого куска этой плававшей в супе тухлятины во рту оставалось ощущение кисловатых помоев, только что выловленных из выгребной ямы. Нередко, в результате раскопок, в похлебке обнаруживались: мочала, человеческие волосы, мелкие сучья деревьев и другие неразложившиеся остатки органической и неорганической природы. В довершение, грязная жидкость цвета мыльной воды, только по недоразумению удерживавшая название супа, очень часто оказывалась подгоревшей, и тогда становилась абсолютно несъедобной даже для свиней, на положении которых мы, очевидно, находились. В таком случае, брезгливо поморщившись, горелые помои приходилось немедленно выливать в «парашу». На второе давалась неизменная каша— «шрапнель». Суточный хлебный паек составлял около $^3/_4$ фунта на каждого. В соединении с водой это было главным пита-

нием. Хлеб даже иногда оставался, и тогда мы охотно делились им с уголовными, которые приходили к нам по-товарищески попросить «хлебца». Тюремные надзиратели на недозволенное общение заключенных между собой смотрели сквозь пальцы. Во всем их обращении проглядывала заметная осторожность и даже боязнь «политических». Февральская революция, низвергнувшая царских сановников, внезапно оказавшихся в «Крестах», и передавшая часть министерских портфелей в руки бывших ссыльных и заключенных, произвела крупную встряску в умах тюремщиков. Один из них довольно откровенно высказал причины своей обходительности с большевиками: «Вот сегодня вы в тюрьме сидите, а завтра, может быть, министрами станете».

И действительно, они обходились с нами, как с министрами, инкогнито севшими в камеру одиночного заключения и до срока желающими остаться неузнанными.

Помню, в 1912 году, в доме предварительного заключения в Петербурге заведывал прогулками некий Алексей Иванович. Это был старый и многоопытный тюремщик, состоявший на службе не менее 25—30 лет. Вся его грудь была увешана крупными серебряными медалями. С окладистой бородой и в неизменной фуражке, которая никогда не снималась, он был живым воплощением тюремного холода. Он никогда не разговаривал и не шутил ни с кем из заключенных. Это было ниже его достоинства, а главное против инструкций «начальства». На губах старика никто не видел улыбки. В редких случаях он выражал внутренний смех только своими морщинами, расходившимися по его лицу. Не даром он пользовался огромным уважением среди начинающих тюремную карьеру надзирателей, титуловавших его не иначе, как по имени-отчеству. После революции величавые «Алексеи Ивановичи», все эти важные официально-сухие, грубоватые и непроницаемые тюремщики времен царизма скинули свои чопорные ледяные маски и превратились в ласковых Розенкранцев и Гильденштернов из Шекспировского «Гамлета».

Эта разница обращения давала себя знать не только со стороны мелких сошек, но и лиц высшего тюремного персонала. Но у этих нормы поведения по отношению к арестованным строго регулировались колебаниями политической атмосферы. Держа нос по ветру, эти аристо-

краты тюремного замка чутко принюхивались, куда дует ветер. С увеличением шансов большевистской победы они становились ласковыми, делали всевозможные поблажки, законные и незаконные льготы, но как только им начинало казаться, что политическая обстановка благоприятствует временному правительству, как у нас тотчас отнимались все привилегии и в ежедневном тюремном обиходе мы живо ощущали установление сурового режима.

Начальником тюрьмы был немолодой прапорщик, «мартовский эсер», любивший похвастать своей революционной ролью в палисаднике Таврического дворца. Из его рассказов выходило так, что именно он и был главным руководителем и организатором февральского восстания. Хвастун и льстивый человек, он всегда казался нам морально нечистоплотным. Его грубое и глупое подлизывание не могло никого ввести в заблуждение. Омерзительность пищи, а позже холод сырых, нетопленных камер, водворившийся в тюрьме с наступлением осенних морозов, в значительной степени приписывались ему. Несмотря на вводившийся временами «либеральный» режим, вся тюрьма его ненавидела.

* * *

В двадцатых числах июля, в «Кресты» привезли т. Троцкого.

Едва слух об его аресте распространился в тюрьме, как я, воспользовавшись удобной минутой, подошел к его камере. Он рассказал мне детали своего ареста. Оказывается, узнав от моей матери о приглашении его защитником, он охотно согласился и позвонил по телефону в министерство юстиции. Оттуда ответили, что препятствий нет, и записали адрес. Едва ли не в ту же ночь по этому адресу явилась милиция, и он был арестован. Через дверь нельзя было вдоволь поговорить, а интересных вопросов было много. Я пустился на хитрость. Пользуясь хорошим отношением наиболее доброжелательного и уже немолодого тюремщика, я условился с ним, что во время утренней прогулки, когда заключенные выносят параши и в тюремном корпусе стоит сильный шум и суматоха, а высшее начальство еще сладко почивает в по-

стели, он на четверть часа пустит меня в камеру тов. Троцкого. Старый тюремщик сдержал свое обещание. Однажды утром я внезапно появился в камере т. Троцкого. Надзиратель, с силой поворачивая ключ в замочной скважине, запер дверь на два оборота. В эти 15 минут т. Троцкий все же успел рассказать мне, что происходит на воле.

Меньшевики и эсеры, войдя в раж, продолжают исступленную травлю большевиков. Аресты наших товарищей продолжаются. Но в партийных кругах нет уныния. Напротив, все с надеждой смотрят вперед, считая, что репрессии только укрепят популярность партии и в конечном счете пойдут на пользу революции. В рабочих кварталах также не замечается упадка духа. Даже политически-аморфные заводы и фабрики начинают тяготеть к нам и выносят резолюции протеста против преследований вождей пролетариата. Среди передового пролетариата намечается стремление к вооружению рабочих. Военные части, стоявшие под нашими знаменами, остаются верны ему и сохраняют боевую силу. Только первый пулеметный полк пострадал, подвергшись разоружению и расформированию.

Одним словом, несмотря на ожесточенные репрессии правительства, сопутствуемые травлей со стороны социалистов-предателей, ни в рабочих, ни в солдатских массах развала не наблюдалось.

Вскоре начались редкие освобождения. Первыми вырвались из «Крестов» тт. Курков и Измайлов.

Это радовало, как непосредственная живая связь с волей, где временно хоть и царила социал-реакция Керенского, но гул революционной бури все громче раскатывался по стране: как никак, это был красный 1917 год, а не мертвый удушливый штиль беспросветной царской реакции. Нам всем безудержно хотелось скорее выйти на свободу, чтобы снова примкнуть к активно-действенным рядам рабочего класса.

* * *

Л. Б. Каменев и А. В. Луначарский были заключены в первом корпусе «Крестов». Оба флигеля являлись настолько изолированными, что мы совершенно не встречались. Только однажды в день свиданий мне удалось увидеть Льва Бори-

совича. Мы устремились один к другому, обнялись и расцеловались. Это была радостная встреча. За двойной решоткой т. Каменева ожидала его жена Ольга Давыдовна.

В другой раз мне пришлось пережить несколько неприятных минут. Как-то, идя в свою камеру по длинному и широкому коридору, я встретил предателя Мирона Черномазова. Его наружность нисколько не изменилась: та же густая черная с проседью борода и большая курчавая шевелюра, те же темные глаза. Я имел несчастье знать его еще по «Правде» 1913 года, когда мне приходилось носить ему, как одному из редакторов газеты, свои рукописи. В начале 1914 года, с приездом из-за границы Л. Б. Каменева, он был отстранен от газеты, но продолжал свою работу в страховом рабочем движении. Давно циркулировавшие слухи об его службе в охранном отделении после Февральской революци нашли свое полное подтверждение. Мирон Черномазов оказался в списке провокаторов. В марте 1917 года он был арестован. Буржуазная печать немедленно принялась демагогически вопить: «редактор газеты «Правда»—провокатор». Выходило так, словно Черномазов до последних дней состоял редактором «Правды», и наша партия не принимала никаких мер, чтобы его обезвредить...

Когда теперь мы столкнулись с Черномазовым в тюремном коридоре, наши взгляды случайно встретились. Вероятно, я не мог скрыть своих чувств глубочайшего органического презрения, потому что предатель заметно смутился и как-то трусливо и подловато отвел глаза. Невольная встреча с одним из самых грязных провокаторов надолго оставила во мне осадок гадливости...

* * *

22 июля во всех газетах было опубликовано весьма пространное официальное сообщение, содержавшее множество возмутительнейших передержек и заставившее меня отправить следующее заявление прокурору Петроградской судебной палаты:

«Опубликованное 22 июля от Вашего имени официальное сообщение содержит целый ряд касающихся меня фактических неточностей и искажений:

1) Делегаты от первого пулеметного полка приехали в г. Кронштадт 3 июля совершенно независимо от меня. Когда я узнал, что их временно, дабы не волновать массы, задержали в помещении Кронштадтского Исполнительного Комитета, то я эту меру одобрил.

Вообще, мне даже не удалось перекинуться с ними ни одним словом.

Впервые я их увидел на митинге на Якорной площади, куда был делегирован Кронштандтским Исполнительным Комитетом для противодействия их призывам к немедленному выступлению в Петроград.

2) На этом митинге, состоявшемся вечером 3 июля, я не только не призывал «к вооруженному выступлению в Петрограде для ниспровержения временного правительства», а, напротив, всеми силами удерживал товарищей кронштадтцев от немедленного выступления в Петрограде.

В моей речи я сослался на недостоверность сведений о выступлении петроградских воинских частей, сообщил только что полученное по прямому проводу от товарища Каменева известие, что если даже первый пулеметный полк выступит на улицу, то у Таврического дворца наши партийные товарищи предложат ему мирно и организованно вернуться в казармы. В заключение я подчеркнул, что во всяком случае речь может итти только о мирной демонстрации и ни о чем другом.

Тут же на митинге мне стало ясно, что мы в силах лишь отложить выступление, но бессильны отменить его. Самое большее, что мы могли сделать — это придать движению формы мирной организованной демонстрации.

3) Я не являюсь и никогда не был председателем Исполнительного Комитета, а состою товарищем председателя Кронштадтского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

4) На вечернем и ночном заседании Исполнительного Комитета, когда был решен вопрос о выступлении, я также не председательствовал, но принимал в заседании самое активное участие, высказываясь в пользу демонстрации.

5) Резолюция Исполнительного Комитета об участии в демонстрации была подписана мною, как товарищем председателя Совета, и рассылалась по частям от имени Испол-

нительного Комитета, но ни в коем случае не от имени начальника морских частей, который к этой демонстрации совершенно не причастен.

6) Утром 4 июля части гарнизона, собравшиеся на Якорной площади, уже имели определенное намерение выступить и мне, как и товарищу Рошалю, не было надобности произносить «речи с призывом к вооруженному выступлению». Моя задача сводилась лишь к тому, чтоб разъяснить многотысячным массам, собравшимся на площади, смысл и задачи нашего выступления. Я обстоятельно объяснил, что, согласно решению Кронштадтского Исполнительного Комитета, мы выступаем исключительно с целью мирной демонстрации для выражения нашего общего политического пожелания о переходе власти в руки Советов Раб. и Солд. Депутатов. Оружие берется нами только для демонстрирования нашей военной силы, для наглядного обнаружения того огромного числа штыков, которое стоит на точке зрения перехода власти в руки народа.

Точно также это оружие может пригодиться, как средство самозащиты на случай возможного нападения со стороны темных сил. Я тут же указал, какое вредное влияние оказывает первый выстрел, всегда наводящий общую панику, и распорядился, чтобы товарищи не издавали ни одного выстрела, а во избежание несчастного случая предложил всем товарищам винтовки иметь незаряженными.

7) Совершенно неверно, что «руководителями этого выступления были Раскольников и Рошаль». Кронштадтский Исполнительный Комитет, а вслед за ним митинг на Якорной площади ранним утром 4 июля, избрал для общего руководства мирной демонстрацией особую организационную комиссию, состоявшую из 10 человек. Но подавляющее большинство членов этой комиссии в целях единовластия просило меня взять на себя главное руководство всей демонстрацией.

Я согласился. И таким образом, являясь фактически единоличным руководителем, всю полноту и всю тяжесть ответственности за руководство вооруженным выступлением кронштадтцев должен нести только я один.

Товарищ Рошаль в этой демонстрации играл роль не бо́льшую, чем всякий другой участник, и потому вся ответ-

ственность с т. Рошаля должна быть снята целиком и переложена на меня.

8) В официальном сообщении говорится о попытках кронштадтцев арестовать министров, но не упоминается о том, что в освобождении В. М. Чернова принимали участие тов. Троцкий и я.

9) В заключительной части официального сообщения после перечня одиннадцати фамилий, в том числе и моей, говорится о нашем «предварительном между собой уговоре».

По этому поводу могу сказать только одно: тов. Ленин, Зиновьев и Коллонтай мне хорошо известны, как честные и испытанные борцы за революционное дело, в абсолютной безупречности которых я ни на одну минуту не сомневаюсь; партийные дела заставляли меня поддерживать с ними самые тесные и непосредственные сношения. Но Гельфанд-Парвус, Фюрстенберг-Ганецкий, Козловский и Суменсон мне совершенно неизвестны. Ни одного из них я даже ни разу не видел и я ни с кем из них абсолютно никогда и ровно никаких связей не имел.

Наше дело руководителей демонстрации, равно как и дело товарищей Ленина, Зиновьева, Коллонтай за волосы притянуто к делу Парвуса и его коммерческих компанионов, на которых я вовсе не хочу набрасывать тень, но с которыми установить мою связь совершенно невозможно, так как этой связи никогда не было.

10) Ни с какими агентами «враждебных» или «союзных» государств я никогда ни в какие соглашения не вступал и впредь вступать не намерен.

11) Ни от каких иностранных государств, ни от каких частных лиц денег на пропаганду или на что-либо другое не получал. Единственным источником моего существования является мое мичманское жалованье—272 рубля в месяц.

12) С призывом «к немедленному отказу от военных действий» я никогда и ни к кому не обращался. Напротив, всегда и всюду подчеркивал, что эта грабительская империалистическая война может быть закончена лишь организованным порядком, а ни в коем случае не втыканием штыков в землю.

13) В вооруженном восстании 3—5 июля не участвовал, хотя бы по той простой причине, что этого вооруженного восстания вовсе даже и не было.

14) Никакого отношения к самовольному оставлению позиции, на каком бы то ни было фронте никогда не имел и не имею. Вообще все эти утверждения заключительной части сообщения не связаны с предыдущим актом, совершенно голословны и напоминают скорее статью Алексинского, чем официальный документ.

Мое участие в подготовлении и руководстве мирной вооруженной демонстрацией 4 июля я правдиво разъяснил в моих показаниях военно-морскому следователю подполковнику Соколову, но составитель официального сообщения, к сожалению, не потрудился ими воспользоваться.

Не откажите, г. прокурор, настоящее мое разъяснение довести до сведения печати.

Выборгская одиночная тюрьма («Кресты»),
22 июля 1917 г.

Мичман *Ильин (Раскольников)».*

Одновременно на имя прокурора мною было адресовано заявление по другому поводу:

«Вечером 13 июля, когда я и прапорщик Ремнев были доставлены, как арестованные, в штаб Петроградского военного округа, то там некий тип в кожаной куртке и офицерской фуражке, впоследствии оказавшийся техником трубочного завода Вас. Григ. Балабинским, обращаясь к нам, громко сказал: «Как вас еще не убили? Вас надо было по дороге застрелить». Эти слова, полные издевательства над арестованными, были сказаны намеренно громко, очевидно, для того, чтобы возбудить против нас стоявших здесь же солдат.

Но, к счастью, среди последних его слова никакого сочувствия не встретили. После этого г. Балабинский хвастливо добавил:

«Я сам своими руками убил тридцать двух большевиков».

Прошу Вас, г. прокурор, на основании вышеприведенных данных привлечь к судебной ответственности г. Балабинского.

Мичман *Ильин (Раскольников)».*

* * *

Вскоре у нас в тюрьме вспыхнула голодовка. Поводом к ней послужило то обстоятельство, что многим из заключенных, несмотря на продолжительный срок, истекший со дня их ареста, не было предъявлено никакого обвинения. Кроме того, выдвигалось требовани ебольшей свободы во внутренней жизни.

Решение о голодовке было вынесено товарищами, имевшими общую прогулку во дворе. Троцкий, Рошаль и я, как изолированные в одиночках, не могли прорвать кольца своей тюремной блокады, своевременно не приняли участия в обсуждении и были поставлены уже перед совершившимся фактом объявленной голодовки.

Узнав об этом, мы заявили, что решение, принятое без нашего участия, не может считаться для нас обязательным. Наше мнение имело своим исходным положением общий взгляд на голодовку, как на выражение бессильного отчаяния, которое применимо лишь в крайнем случае, когда все другие средства исчерпаны и остается лишь призыв к помощи внешнего, внетюремного мира.

Мы слишком серьезно относились к голодовке, слишком уважали этот метод самоотверженной борьбы, чтобы признать его орудием ординарного протеста, тем более, что политическая обстановка за пределами тюремной ограды меньше всего могла вселить отчаяние. Нашей партии в это время, т.-е. в августе 1917 года, приходилось уже сдерживать рабочие массы, а отнюдь не вызывать их на преждевременные выступления плохо обдуманными тюремными демонстрациями.

Дело в том, что «политические» 1917 года сильно отличались от старых подпольных работников, составлявших главный контингент политических заключенных времен абсолютизма.

В то время, как до Февральской революции тюрьмы были наполнены стойкими и убежденными революционерами, по большей части теоретически подготовленными, после июльских дней «Кресты» наводнились молодежью. Немалый процент здесь выпадал на долю случайных арестов, бессмысленных захватов на улице, нечаянных задержаний по первому

доносу доброхотного агента, которому небрежно оброненное слово часто казалось достаточным признаком большевизма.

Даже партийный слой арестованных в своей массе представлял молодые побеги, взошедшие под благотворным ливнем могучей большевистской агитации, которую с огромным успехом удалось развить нашей партии с первого дня Февральской революции.

Тов. Троцкий заявил, что он к голодовке не присоединится. Мы с Рошалем, выразив свой взгляд на нецелесообразность этой демонстрации в данных условиях, по мотивам солидарности, однако, примкнули к голодовке.

В первый же день голодовки с рельефной ясностью сказалось влияние случайных попутчиков, для которых участие в ней не было вопросом жизни или смерти, и голодовка длилась всего один день, но даже в этот краткий срок нашлись такие «товарищи», которые, объявив себя «голодающими», потихоньку с большим аппетитом уплетали тюремный обед. Конечно, при наличии такого неустойчивого элемента наша тюремная стачка рисковала превратиться в сплошной скандал. Старые партийцы рисковали своей жизнью в то время, как другие, менее стойкие, формально поддерживая голодовку, потихоньку начиняли свои желудки обильными излишками обедов за счет голодающих товарищей.

К вечеру неприятный кризис разрешился сам собой. Голодовка политических заключенных в «Крестах» произвела впечатление «в сферах». По распоряжению свыше наши камеры были открыты. Мы все собрались в одной из камер второго этажа для обсуждения создавшейся ситуации. Между прочим, здесь присутствовали представители «политических», сидевших в первом корпусе «Крестов», в том числе левые эсеры Устинов и Прошьян. От имени начальника тюрьмы нам было объявлено, что на следующий день в тюрьму приедет министр юстиции А. С. Зарудный для переговоров по поводу выставленных нами требований.

Так же легко, как было принято решение о голодовке, прошло постановление о немедленном ее прекращении. Во время предшествовавших голосованию прений, оформились две противоположных позиции: одна, защищавшаяся тов. Троцким, Рошалем и мною — в пользу

прекращения голодовки. На противоположной платформе стоял В. А. Антонов-Овсеенко, защищавший доведение до конца начатой голодовки.

В результате, для переговоров с министром была выбрана делегация в составе Антонова-Овсеенко, Устинова и меня.

На следующий день мы были вызваны в кабинет начальника тюрьмы, где нас ждал А. С. Зарудный, присяжный поверенный, трудовик, только недавно назначенный на смену Переверзева, чересчур зарвавшегося и оскандалившегося с нашим делом.

Невысокого роста, сутулый, с острой седенькой бородой и почтенной осанкой «честного» либерала из «Литературного Общества» и «Русского Богатства», Зарудный обошелся с нами довольно холодно.

Мы изложили ему требования заключенных. Нервно теребя свою бороду, он выслушал нас с волнением, а когда зашла речь о Троцком, то он окончательно потерял всякое самообладание, повысил голос и почти закричал старческим, срывающимся фальцетом:

— Я сам знаю Троцкого. Я был его защитником во время процесса первого Совета Рабочих Депутатов.

Видимо, когда Зарудный, сын императорского деятеля юстиции и ближайшего приспешника Александра II, сам стал тюремщиком и палачом единственных последовательных революционеров—большевиков, ему были весьма неприятны невольные воспоминания о лучшей странице его жизни, когда он был не врагом пролетарской революции, а защитником членов Совета Рабочих Депутатов, брошенных «конституционной» монархией на скамью подсудимых.

В общем, А. С. Зарудный произвел на нас самое тягостное впечатление. В минуты волнения его генеральский тон, скрывавшийся под фиговым листком внешнего демократизма, проявлял себя в самой худшей старорежимной форме.

Зато именно этим показным, дешевым демократизмом ему легко удалось очаровать всех тюремщиков.

— Помилуйте, ведь министр, а нам руку подал, — рассказывали потом остолбенелые надзиратели.

Оставив после себя благоухание парламентской корректности, министр отделался одними неопределенными обеща-

ниями: обвинительный акт по-прежнему не был вручен многим товарищам, уже не первый месяц сидевшим под замком. Но завоеванная нами скромная свобода внутритюремного общения вошла в жизнь и укрепилась. С этих пор двери камер стали запираться только на ночь, оставаясь открытыми весь день для самых тесных и оживленных товарищеских сношений. Это было единственное реальное достижение голодовки.

Сам по себе визит министра нам ничего не дал. Но тем более серьезные политические выводы можно было сделать из его торопливого посещения. В нем мы увидели еще один признак растущей слабости временного правительства, у которого почва уже до такой степени ускользала из-под ног, что оно всполошилось при одном известии о голодовке в «Крестах». Между тем, обладай временное правительство более крепким позвоночником, оно без труда могло бы навязать политическим заключенным «Крестов» свою волю, принудив нас к полной капитуляции. Ведь основного условия успеха — героического настроения, беззаветной готовности к самопожертвованию — у молодого большинства тюремных обитателей в ту пору не было; в этом нужно откровенно признаться. Либерально-буржуазный и псевдо-социалистический состав совета министров пошел на уступки, не дав себе труда подсчитать силы и взвесить шансы. А между тем самое поверхностное знакомство с случайным составом и настроениями арестованных массовиков (преимущественно солдат, крестьянского происхождения) должно было совершенно успокоить мятущиеся нервы временных правителей насчет исхода тюремной демонстрации. Но хорошо все, что хорошо кончается. В общем, мы с честью вышли из рискованной голодовки, ободренные первым частичным успехом. Как-никак, принцип «одиночного» заключения был все же нарушен.

* * *

Во время ежедневных, теперь узаконенных, свиданий разгорались жгучие споры — чаще всего на тему о перспективах революции. Пессимистов не было. Мы все, без исключения, верили в победу пролетарского дела. Разногласия сосредоточивались лишь на вопросе о темпе развития революции.

Были среди нас нетерпеливые «буревестники», считавшие, что в июльские дни партия допустила ошибку, отказавшись от попытки восстания. В процессе дискуссии, мы, всецело одобрявшие линию Центрального Комитета, указывали, что в те дни всеобщей растерянности и смятения в стане наших врагов, — захватить власть было, действительно легко, но удержать ее—очень трудно. Всякая попытка этого рода являлась бы авантюрой, заранее обреченной на неудачу. Созданная нами власть была бы низложена сравнительно отсталыми фронтовиками, среди которых еще кое-где, особенно в казачьих частях, держалась кулачная дисциплина. Питерскому рабочему классу и его гарнизону было бы устроено чудовищное кровопускание, способное надолго ослабить пролетарскую революцию. При избытке либерального прекраснодушия у временного правительства не было недостатка в кровожадных Кавеньяках, и в скулодробительных добровольцах, обычно сопутствующих режиму адвокатского красноречия, демократического мошенничества и истерической фразы.

— Необходимо сперва привлечь на свою сторону большинство трудящихся, — говорили мы, — и только уже после этого свергать временное правительство.

Но наши оппоненты возражали, что завоевывать симпатии большинства незачем, и совершенно достаточно, если энергичное меньшинство революционного авангарда захватит власть в свои руки и на собственный страх и риск совершит переворот в интересах рабочего класса. В этой политической концепции я без труда уловил знакомые нотки теории семидесятника П. Н. Ткачева с его «Набатом». Особенным упорством защиты этой идеологии отличался тов. Сахаров, за что и получил от меня кличку «бланкиста».

Сравнительно молодой, но лысый, с усеянным морщинами лицом и с живыми блестящими глазами, прапорщик военного времени Сахаров служил в первом запасном батальоне и пользовался огромной популярностью среди солдат своей части. Это он, в июльские дни, вывел на улицу свой многочисленный батальон и привел его с Охты к Таврическому дворцу. С начала реакции он был «изъят», посажен в «Кресты» и привлечен по нашему делу, войдя в список обвиняемых, почетно возглавлявшихся тов. Лениным.

Сахаров был прекрасный товарищ и славный человек, но в вопросах теории он, видимо, прихрамывал.

* *

На прогулку вместе с нами выпускались и уголовные. Кого только тут не было, начиная от немецких шпионов и кончая малолетними преступниками, по Робинзону Крузе мечтавшими о побеге.

Однажды, когда я сидел на скамейке в тюремном дворике, ко мне подошел молодой человек, по внешнему виду рабочий, и стал жаловаться на невыносимые нравственные муки, причиняемые ему тюремным заключением.

Предполагая в нем нестойкого и малодушного товарища, я отнесся к нему с сочувствием и уже собрался поддержать его настроение, но предварительно задал вполне естественный вопрос:

— По какому делу вы арестованы?

— Моя фамилия опубликована в списке провокаторов,— ответил словоохотливый собеседник.

Я поторопился отойти в сторону от тоскующего без работы охранника.

После прогулки мы снова расходились по камерам, которые весь день оставались открытыми. Только поздно вечером мы нажимали кнопку звонка и просили запереть дверь до следующего утра.

— Выходить уже больше не будете? — почтительно спрашивал надзиратель и с гулким эхом поворачивал ключ в заржавленном замке тяжелой двери, словно бронею обшитой железом.

* * *

С установлением режима «открытых дверей» наши камеры превратились в якобинские клубы. Шумной толпой перекочевывая от одного к другому, мы спорили, играли в шахматы, сообща читали газеты. Одним словом, предавались тому, что немцы называют «Theorie und Thee» [1].

Исключение составлял тов. Троцкий. В тюрьме он вел замкнутый образ жизни, покидая камеру только ради прогулки, от которой никогда не отказывался.

[1] Теория и чай.

Матерые царские следователи, горевшие желанием отличиться и выслужиться при новом режиме, из кожи лезли вон, чтобы, при помощи хорошо знакомых им профессиональных приемов, сфабриковать против нас подложный материал и в самом широком масштабе создать новое «дело Бейлиса». Разница была лишь та, что нас обвиняли не в употреблении христианской крови, а в употреблении немецкого золота... Это следует отнести не столько к разнице политических режимов, сколько к различию объектов обвинения: в деле Бейлиса на скамье подсудимых сидел еврейский народ, а в нашем процессе—на заклание обрекалась большевистская партия. В одном случае справляла свой праздник оргия антисемитизма, в другом — антибольшевизма. Тем не менее, существо дела было одинаково. И тут и там, с одобрения высшего начальства, откровенно применялись методы фальсифицированной, погромной юстиции. В обоих случаях господствующий класс (при царизме — поместное дворянство, при временном правительстве — буржуазия) во имя своих классовых политических интересов слишком грубо пытался обратить весы «правосудия» в плаху. Обе инсценировки громких процессов против евреев и против большевиков провалились со скандальным позором. Вместе с эрой российского парламентаризма кончились навсегда опыты сенсационных процессов à la Дрейфус...

Отождествление большевиков с германскими агентами выводило нас из себя. Эта клевета душила нас в каменном ящике, как волна удушливого газа. В потоке грязи, который буржуазия обрушила на наши головы, мы видели одну из тех кампаний, которые наши доморощенные либералы позаимствовали у своих «демократических» союзниц, особенно Франции, в течение десятилетий осуществляющей власть плутократии, при помощи продажной прессы, спускаемой с цепи, как свора гончих по свежим следам Дрейфуса, Жореса или коммунистов. Наш процесс, в деле массовой фальсификации общественного мнения, знаменовал переход от мелкой и почти кустарной работы «Речи» или «Биржевки» — к широкому производству ядовитой газетной лжи, к крупно-капиталистическим махинациям на началах широкой «свободы печати» и «гласности». Освобожденная Февральской революцией от мелочной

царской регламентации в области спекуляции и наживы, юная и победоносная российская буржуазия готовилась снять пенки с моря пролитой крови. Наша партия осмелилась помешать этому процессу, и на ее голову обрушился весь аппарат буржуазной печати, решившей впервые поработать в широком масштабе, с размахом и дерзостью, еще неслыханными в истории русской журналистики. Были отброшены в сторону все старые интеллигентские предрассудки, все хорошие слова и приемы, унаследованные нашими либералами от эпохи высокого интеллигентского «горения», от Лаврова и Михайловского и даже — о, романтическая старина! — от Герцена и Белинского. Совестливо-чувствительный тон так называемого «героического» периода русской публицистики показался бы неуместным в эти послеиюльские недели, когда буржуазия готовилась защищать от пролетариата свои войною нажитые миллиарды. Надо было писать так, чтобы без всяких последствий и в кратчайший срок отправить провозвестников Третьего Интернационала на виселицу. С бубновым тузом государственной измены, со всех сторон облепленный комьями грязи, осыпанный дождем позорнейших обвинений, Ленин и его друзья под гром скандальных «разоблачений» должны были подвергнуться осуждению и быть раздавлены, еще прежде чем пристрастное следствие разобрало бы это дело и успело проверить фальшивые показания о получении немецкого золота. Буржуазная пресса взяла на себя дело следствия и суда. Она сама вызывала мифических свидетелей, сама давала за них неслыханные, по своей лживости, ответы и «показания», сама изготовляла нужные для прокуратуры документы и, признав их абсолютно убедительными, едва не требовала немедленной казни для государственных изменников, для немецких шпионов. Кампания была ведена с уменьем и энергией, с американской смелостью, и если она не удалась, то в этом меньше всего виноваты сами фальшивомонетчики, которым буржуазия поручила ведение и защиту своего дела, охрану священной собственности; буржуазной журналистике не в чем упрекнуть себя, она честно выполнила свой долг перед хозяином-капиталом, она рвала на куски и волочила по грязи имена и репутации тех, кто стоял на его дороге. Увы! — русский народ пренебрег утонченными

формами политической борьбы. Русскому рабочему и крестьянину показались неубедительными мастерские приемы газетной травли. Господа либералы забыли, что классовое сознание инстинктивным путем находит своих вождей, вопреки самой разнузданной клевете, рассчитанной на политическое убийство.

На поток юридической лжи, на уколы бумажных стрел— пролетариат ответил ударом оглоблей, который сшиб на землю все сложное сооружение мелких лавочников, метивших в диктаторы. Великая революционная волна, девятым валом прокатившаяся по всей стране в октябре 1917 года, без остатка смыла следы чернильной грязи, в течение трех месяцев стремившейся замарать коммунистическую партию.

* * *

Тогда как Троцкий вел в тюрьме замкнутый образ жизни, никого не подпуская к себе и к своему духовному миру ближе известной дистанции, Рошаль был воплощением общительности, бессменным зачинщиком всех наших дискуссий, вожаком караванов, путешествовавших из камеры в камеру.

Помимо текущих политических событий, о настоящем ходе которых мы догадывались по газетам и по другим сведениям, проникавшим в тюрьму, Семен проявлял большой интерес к истории революционного движения рабочего класса в России и на Западе. Между прочим, в «Крестах» он с увлечением читал «Политическую историю французской революции» Олара. Эта пухлая и устарелая книга вообще находила в тюрьме обширный круг читателей и без отдыха путешествовала по камерам. В «Крестах» Семен начал писать воспоминания о своей кронштадтской работе в период с февраля по июль 1917 года. Но он успел написать только вступление, выяснявшее роль Кронштадта в русской революции и причины, обусловившие собой его историческую роль. Много тюремных часов скрашивала нам шахматная игра, до которой Семен был большой охотник. Его душевные силы всегда расцветали в живой борьбе, и на квадратном поле шахмат он был отличным стратегом. Иногда к нам в тюрьму проникали редкие волны симпатии, — кем-то при-

сланные цветы, над которыми Семен ломал голову, теряясь в романтических догадках.

Однажды мы с Симой были вызваны в кабинет смотрителя тюрьмы, где нас ожидала девушка, представительница какой-то организации, вроде политического красного креста.

Отрекомендовавшись анархисткой Екатериной Смирновой, она передала нам целую гору черного хлеба. Еще вчера она добивалась свиданья, но не получила пропуска. Тайна загадочных букетов раскрылась сама собой.

Один из первых вопросов, которыми нас засыпала Смирнова, касался снабжения:

— Не хотите ли вы апельсинов? Я могу их вам принести.

— Отчего же? — ответили мы, — в тюремной обстановке всякое даяние — благо.

— Но у нас ведь апельсины особенные, — загадочно произнесла Смирнова, посматривая на меня своими светлыми, почти бесцветными глазами.

Не оставалось сомнений, что речь идет о бомбах. Но так как мы к побегу не готовились, то в черных апельсинах естественно не нуждались. Пришлось поблагодарить и отказаться от любезно предложенных фруктов. Смирнова искренно огорчилась. В ее глазах это предложение было так естественно, а отказ непонятен.

Во время первой революции 1905 года, еще будучи гимназисткой старших классов в одном из провинциальных городов и примыкая к партии эсеров, она была привлечена к террору. Детской рукой сжимая револьвер, Катя Смирнова стреляла в местного губернатора. Несовершеннолетие спасло ей жизнь: смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. Ее лучшие юные годы прошли в скитаниях по тюрьмам Сибири. Бабушка контр-революции Екатерина Брешко-Брешковская, которая в ту пору еще называлась «бабушкой революции», приняла в ней участие и оказала поддержку. На 10-м году каторжной жизни Смирновой вспыхнула Февральская революция и на-ряду с десятками тысяч других каторжан, ссыльных и заключенных вернула свободу и юной террористке. Вместе с «бабушкой» она приехала из Сибири в Питер, и здесь, наблюдая предательскую роль эсеров, стала постепенно отходить от них и вскоре совсем перешла в лагерь анархистов; позднее,

вступив в ряды коммунистов, она принимала участие в гражданской войне.

Эта чуткая, не вполне уравновешенная, девушка оказала нам большие услуги во время тюремной жизни, насыщенной нескончаемым однообразием. Она служила одним из источников нашей связи с внешним миром, принося с воли доступные ее наблюдению политические новости. Энергии и предприимчивости стоявшей за Смирновой небольшой организации политические заключенные «Крестов», состоявшие тогда почти из одних большевиков, были обязаны улучшением своего питания. Нередко нам передавались очень ценные в тюремном обиходе продукты: хлеб, масло, консервы и фрукты.

По словам Смирновой, средства ее краснокрестной организации составлялись, главным образом, из добровольных пожертвований, систематически собиравшихся во время лекций в цирке «Модерн» и на других рабочих собраниях.

Наконец,—правда, в скромном количестве,—мы получали через Смирнову и духовную пищу. По моей просьбе она, между прочим, принесла возобновившийся исторический журнал Бурцева «Былое». В тот же день, в одной из камер, товарищи с огромным вниманием прослушали статью Лукашевича о подготовке убийства Александра III. Для многих, неискушенных в истории революционного движения, роль, которую в этой организации сыграл брат тов. Ленина—Александр Ильич Ульянов, была неожиданным открытием.

* * *

В один прекрасный день из первого корпуса к нам перевели поручика Хаустова и прапорщика Сиверса. Имена обоих были хорошо всем известны по их деятельности в военной организации 12 армии и по редактированию прекрасной газеты «Окопная Правда», популярного фронтового издания для солдат-массовиков.

Конечно, мы познакомились. Хаустов и Сиверс, близкие друзья, спаянные общей работой, на деле представляли собой далеко не однородные характеры. Единственное, что их роднило, это—страстная и безграничная преданность революции и проникнутая энтузиазмом горячность темперамента,

нередко доводившая их до полного самозабвения, до состояния революционного экстаза. Оба они были в полной мере романтиками революции.

По внешнему виду Хаустову можно было дать лет около 30. Сосредоточенный, всегда задумчивый, он по первому впечатлению казался холоднее и меланхоличнее Сиверса. Это впечатление еще более усиливалось его своеобразной речью. Он говорил очень медленно, словно тщательно взвешивая каждое слово, и принадлежал к числу тех натур, за внешней сдержанностью и рассудочностью которых живо ощущается неугасимый внутренний пламень. Мягким и тихим голосом он излагал свои мысли, которым нельзя было отказать в законченной логичности. Однако политическая идеология тов. Хаустова не отличалась теоретической ясностью. В нем преобладало инстинктивное, тяготеющее к анархизму, бунтарство. В его выступлениях почти не чувствовалось влияния марксизма. Революция застала его врасплох, в состоянии неоформившегося мировоззрения. Но теоретическая слабость до известной степени искупалась смелостью и радикализмом практических выводов. По темпераменту природный революционер, Хаустов всегда оказывался на левом фланге. Не кабинетные выводы, а инстинктивное чувство правоты дела привело Хаустова, по существу беспартийного офицера, к тесной совместной работе с большевиками. И, в самом деле, в практической работе между нами не было непримиримых разногласий.

Тов. Сиверс уже тогда был большевиком. Молодой, немногим старше 20-ти лет, без усов и без бороды, с ярким чахоточным румянцем на щеках, он значительно лучше Хаустова разбирался в вопросах программы и тактики. Впоследствии он сумел доказать свою преданность партии и революции героическим участием в гражданской войне и своей доблестной смертью в борьбе с белогвардейским казачеством на Южном фронте.

Тов. Сиверс был весь — порыв, устремление. Он говорил нервно и быстро, в волнении захлебываясь словами, путаясь и сбиваясь от нагромождения длинных периодов. В нем торжествовало революционное горение, не мешавшее, однако, ему быть основательнее и всестороннее в своих суждениях, чем его друг Хаустов. Если, например, в тюрьме затевалась

какая-нибудь демонстрация, то можно было с уверенностью предсказать, что Хаустов принципиально отдаст свой голос в пользу любого выступления; между тем Сиверс решал каждый вопрос в зависимости от обстоятельств.

Внешняя меланхоличная холодность Хаустова прикрывала его революционное нетерпение, в то время как Сиверс, при всей своей внешней и внутренней кипучести, сохранял неприкосновенным живой родник мысли, хладнокровную рассудительность и марксистский учет реального соотношения реальных сил.

Среди солдат Питерского гарнизона, брошенных в тюрьму в послеиюльские дни, выделялись своей революционностью представители первого пулеметного полка. Из них особенно характерны были Ильинский и Казаков. Вполне сознательный и толковый, работник питерской военки, тов. Ильинский до военной службы был типографским наборщиком и еще в нелегальные времена состоял членом партии. Подлинное пролетарское происхождение сказывалось в его подходе к любому вопросу. Он деловито обсуждал каждое предложение и не торопясь высказывал свое мнение, всегда отличавшееся убедительностью и здравым смыслом. Напротив, тов. Казаков был молодым членом партии, вступившим в наши ряды уже после Февральской революции. Высокий, нескладный парень, он по своему духовному облику был типичным порождением деревни, со всеми свойственными крестьянину безотчетными инстинктивными страхами и легко приходящими паническими настроениями. Происходило ли корниловское выступление или в тюрьму приезжал для допроса следователь — он всего боялся, отовсюду ждал беды и напасти. Если представитель мелко-буржуазного интеллигентского радикализма — Хаустов — составлял левое крыло, то пулеметчик Казаков, выразитель чаяний мелко-буржуазного крестьянства, в своих суждениях неизменно воплощал наиболее умеренные и осторожные настроения.

Кроме питерских и кронштадтских руководителей июльского выступления и представителей фронта в лице Сиверса и Хаустова, в нашей среде находились: видный работник петергофской организации тов. Жерновецкий, по профессии педагог и старый партиец, солдат петергофского гарнизона Толкачев и солдат 176-го запасного полка тов. Мед

ведев[1]), ближайший помощник тов. Левенсона по работе в Красном Селе.

Наконец, флот был представлен, помимо кронштадтцев, еще двумя моряками: Любицким и Канунниковым. Интеллигент Любицкий поступил матросом во флот уже после революции и, не имея никакого понятия о морской службе, числился во 2-м Балтийском экипаже. По своим политическим убеждениям он примыкал к интернационалистам. Молодой, с бритой актерской физиономией, с длинными черными волосами, часто спускавшимися на лоб, обычно нахмуренный и недовольный, он по природе был угрюм и нелюдим. Полной противоположностью являлся матрос с «Республики» тов. Канунников. Веселый, разбитной парень, непосредственный, но не лишенный хитрой смекалки, он неизменно пребывал в состоянии веселого благодушия. Однако тюрьма давила его тяжестью заключения, и он часто вздыхал о свободе. Канунников был арестован на улице, около Финляндского вокзала, когда после июльских дней он приехал из Гельсингфорса с кипами большевистской газеты «Волна», для розничной продажи ее в Петербурге. Начавшиеся в это время гонения против большевиков сделали его жертвой репрессивной кампании, тем более, что он и не думал скрывать свою принадлежность к большевикам. Канунников и Любицкий добровольно разносили газеты по камерам, и когда впоследствии, в одной из свободных камер, для наших потребностей была открыта небольшая лавочка, поставлявшая, главным образом, консервы, Канунников взял на себя заведывание этим подобием кооператива.

Итак, Балтийский флот довольно всесторонне был представлен в тюрьме в виде двух кронштадтцев: Рошаля и меня, большого количества гельсингфорсцев (Антонов-Овсеенко, Дыбенко, Канунников, Устинов и Прошьян) и нескольких петербуржцев (Курков, Любицкий и другие). При таком исключительно полном подборе представителей всех прилегающих к Питеру местных организаций, мы в любой момент могли бы созвать в одной из камер «Крестов» хорошую губернскую конференцию, даже с участием делегатов от

[1]) Впоследствии, в 1920 г. расстрелянный по приговору реввоентрибунала Волжско-Каспийской флотилии.

армии и флота. Из чужеродных элементов следует упомянуть об украинце Степановском и миллионере Вайнберге. Степаковский, молодой человек буржуазного вида, долгое время жил в Швейцарии, где он принимал участие в издании на французском языке украинского журнала под названием «L'Ukraine». С визой дипломатического представителя временного правительства он въехал в Россию для того, чтобы на первом пограничном полустанке подвергнуться негостеприимному аресту. Свое задержание он ставил в связь с сепаратистской работой за границей и особенно негодовал по поводу провокационного наложения визы, на деле оказавшейся ордером об аресте.

Степаковский восторженно отзывался об украинском деятеле Скоропись-Иолтуховском, к которому мы с своей стороны не питали никакого уважения, как нас ни пыталась породнить переверзевская прокуратура. Степаковский внушал нам подозрения, и мы старались поддерживать отношения с неблагонадежным по немецкому шпионажу «украинским деятелем» в пределах максимальной осторожности.

Миллионер Вайнберг, маленький, подвижной буржуа, неопределенного возраста и типа «нуво-ришей», разбогатевших на войне, разукрасил свою камеру разноцветными коврами и создал себе подобие комфортабельного уюта. Для полной иллюзии домашней обстановки он целый день ходил в туфлях и мягкой куртке, с утра до вечера заваривая какао. От природы неглупый человек, он, однако, вел чисто растительный образ жизни, ничуть не заботясь о развитии своего интеллекта. Вайнберг оказался ввергнутым в узилище за какие-то спекулятивные комбинации, о которых он сам не любил говорить. Изображая притворное сочувствие делу большевиков, он даже обещал в случае своего освобождения пожертвовать часть капитала в пользу нашей партии. Но, несмотря на столь щедрые благотворительные проекты, ему не удалось завоевать ничьего доверия. При каждой невольной встрече с ним, мы особенно бдительно держались на чеку. На еще более худшем положении, граничившем с состоянием бойкота, находился Оскар Блюм, подобно Степаковскому арестованный на границе при возвращении из Стокгольма. Его подозревали в провокации. Тем не менее, он принимал участие в наших собраниях и высказывал

свои соображения длиннейшими, литературно-закругленными периодами, словно сошедшими со страниц немецкого университетского учебника философии. Мы все держались в отдалении от него и, за исключением редких собраний, почти не встречались. Впрочем, в «Крестах» он сидел недолго и скоро был освобожден.

* * *

Наш процесс шел своим чередом. Однажды меня снова вызвали на допрос. Внизу меня встретил следователь по особо важным делам Сцепура, с полным лягушечьим лицом. Оказалось, что из морского суда мое дело было передано гражданской прокуратуре и приобщено к процессу Ленина, Зиновьева, Троцкого, Коллонтай, Ганецкого, Козловского и других. Проворный и разговорчивый, следователь Сцепура, в виде вступления, с гордостью рассказал мне свою служебную карьеру, до революции протекавшую следователем по особоважным уголовным делам где-то в Западном крае; с полной откровенностью он признался, что вести политических дел ему никогда не приходилось. Он потребовал от меня показаний о моей роли в деле 3—5 июля. Я ответил, что исчерпывающие объяснения мною уже были даны следователю военно-морского суда на второй день после ареста. Но, видимо, не полагаясь на получение материалов путем междуведомственных сношений, следователь гражданского ведомства предложил вторично снять с меня допрос. В его присутствии я снова занялся литературными упражнениями на тему «3—5 июля». Приблизительно через месяц я опять был вызван на допрос для дачи дополнительных показаний. Здесь, между прочим, мне была предъявлена записка, отправленная мною 5-го июля в Гельсингфорс с членом Центробалта Ванюшиным. Записка эта содержала просьбу о присылке на всякий случай в Питер военного корабля небольшого водоизмещения, вроде миноносца, или канонерской лодки. Меня крайне удивило, каким образом этот секретный документ, переданный надежному товарищу, попал в руки прокуратуры...

Наконец, 1 сентября после обеда, мы, привлеченные по общему делу, т.-е. Рошаль, Колобушкин, Богдатьев, Сахаров, Троцкий и Полякевич были приглашены в одну из

официальных комнат тюрьмы для ознакомления с материалами, «добытыми» предварительным следствием.

Мы уселись на венских стульях и на обтрепанном просительском диване. Какой-то неведомый судебный следователь, чуть ли не сам Александров, занял место у письменного стола, на котором лежала высокая кипа однообразно переплетенных книг большого формата с надписью, аккуратно выведенной на казенном ярлыке: «Дело Ленина, Зиновьева и других». Следователь взял один из томов этого полного собрания сочинений анти-большевистской судейской лжи и начал громко читать показания прапорщика Ермоленко. Нудно тянулось отягченное излишними деталями повествование о жизни на фронте, о плене, о поступлении на службу в германский генеральный штаб, об отправлении его в Россию в роли немецкого агента и, наконец, о якобы полученных им инструкциях поддерживать сношения и связь с Лениным.

Все показание Ермоленко изобличало неимоверно подлую личность раскаявшегося шпиона. Во время чтения его показаний мы от времени до времени вставляли иронические замечания. Но когда бесстрастный голос следователя добрался до дорогого нам имени тов. Ленина, то мы не выдержали и, оказавшись не в силах сдержать свое возмущение перед лицом неприкрытой фальсификации, заявили, что отказываемся продолжать слушание этих лживых и подлых показаний. Тотчас был составлен протокол о нашем отказе продолжать чтение следственного материала. Я заявил, что никакого дела со следователем иметь не желаю и даже отказался подписать протокол. Громко и резко выражая протест по адресу «юстиции» временного правительства, мы вышли из комнаты и разошлись по своим камерам.

* * *

2 октября судебные власти повторили попытку ознакомления нас с материалами предварительного следствия. Очевидно, из предосторожности, на этот раз были вызваны только двое: тов. Рошаль и я. Но эта вторичная попытка окончилась так же неудачно, как первая, и вынудила меня апеллировать к общественному мнению рабочего класса следующим письмом:

О приемах следствия по «делу» большевиков.

Дорогие товарищи, сегодня 2 октября судебный следователь, работающий под руководством Александрова, сделал вторичную попытку ознакомить меня и товарища Рошаль с законченным следственным материалом по «делу» большевиков, материалом, занимающим, шутка сказать, 21 том.

Начав на этот раз чтение материалов с другого конца, мы вскоре должны были прервать наше занятие, возмущенные до глубины души. Мы окончательно убедились, что грубо-односторонний, фальсификаторский метод допроса раскаявшегося шпиона, негодяя Ермоленко, не был единичной случайностью.

Напротив, этот способ нарочитого оставления недоговоренности, недосказанности показаний составляет общее правило, продуманную систему всего следствия, обещающего обессмертить и без того достаточно известное имя г. Александрова.

Допрашивая свидетелей, г. Александров в самых интересных местах показаний намеренно не задавал вопросы, напрашивающиеся сами собой. Со стороны можно подумать, что г. Александров юный, неопытный, начинающий служитель Фемиды. Но, увы, ведь г. Александров старый, богатый опытом следователь. В связи со следственными подлогами еще в проклятое царское время, несколько лет тому назад, имя Александрова клеймилось даже на столбцах умеренной кадетской «Речи» на-ряду с именем другого знаменитого мошенника царской юстиции—судебного следователя Лыжина.

Например, некоторые свидетели, бывшие в немецком плену, дают такие показания: «Ходили слухи, что Ленин приезжал в концентрационные лагери и вел агитацию в пользу отделения Украины». «Я слышал, что, проезжая через Германию в Россию, Ленин выходил из вагона и произносил речи в пользу заключения сепаратного мира».

Получая такие ответы, содержащие анонимные ссылки на третьих лиц, следователь обязан поставить вопрос: «Свидетель, от кого вы это слышали?». И полученный ответ следователь непременно должен записать, даже в том случае, если свидетель ссылается на запамятование. Ясное дело,

что если первоисточника сведений, очевидца событий, найти не удалось, то всему показанию такого свидетеля, ссылающегося на непроверенные слухи, одна цена — ломаный грош.

Одно из двух: либо г. Александров сознательно не задавал вопросов о первоисточнике слухов, либо он получал ответы, неблагоприятные для обвинения, срывавшие все значение этих показаний.

Один свидетель, штабс-капитан Шишкин, утверждает, что, находясь в плену, он однажды слышал речь приехавшего в их лагерь Зиновьева, говорившего, что «все немцы— наши друзья, а все французы и англичане—враги». Но указанный свидетель, неожиданно для себя, сам того не подозревая, дал маху. Он все время говорил, как он сам отмечает, о приезде какого-то «старика Зиновьева». Между тем, все мало-мальски знающие товарища Зиновьева могут засвидетельствовать, что его при всем желании нельзя назвать «стариком», так как ему всего 33 года.

Другим источником, якобы «уличающим» товарища Ленина в служении германскому империализму, является документ, носящий вычурное название: «Донесение начальника контр-разведывательного отдела при генеральном штабе о партии Ленина».

Этот с позволения сказать «важный» документ представляет нечто совершенно невообразимое.

На основании агентурных контр-разведочных данных здесь приведен список «германских агентов», членов «партии Ленина».

В этом замечательном списке значатся следующие имена: «Георгий Зиновьев, Павел Луначарский, Николай Ленин, Виктор Чернов, Марк Натансон и др.».

Этот список, приобщенный к делу, прямо шедевр. Контрразведка, пришедшая на помощь г. Александрову, вместе с ним занявшаяся инсценировкой политических процессов, взявшая на себя моральное убийство видных революционеров, настолько не справилась со своей задачей, что даже не сумела точно выяснить имена подлежащих убийственному скомпрометированию политических деятелей.

Известно, что т. Зиновьев никогда не звался Георгием; его настоящее имя Евсей Аронович, а партийное—Григо-

рий, т. Луначарского зовут Анатолием Васильевичем. Правильно названы своими именами Чернов и Натансон. Но они, насколько известно, никогда не состояли в «партии Ленина». И, разумеется, всякому ясно, как день, что никто из перечисленных деятелей никогда не был «германским агентом».

Вот как неподражаемо работает, поглощающая так много народных средств, «республиканская» контр-разведка.

Вот какие безграмотные, насквозь фантастические, сумбурные документы выдвигаются в качестве «несокрушимых» улик.

Остается с нетерпением ждать суда, который будет судом над создателями этого вопиющего, неслыханного дела, судом над всей «обновленной», «республиканской» юстицией.

Раскольников.

Выборгская одиночная тюрьма („Кресты“),
2 октября 1917 года.

* * *

В заключение нужно остановиться на том, как отражалась в нашем тюремном быту политическая жизнь, бурно кипевшая тогда по всей России.

Главное отличие наших условий от старорежимной одиночки состояло в том, что мы все-таки не были изолированы от внешнего мира, а всегда находились в курсе политических событий и переживали их не менее остро, чем наши товарищи на свободе. Как известно, в царскую тюрьму вести извне проникали редко и случайно. Газеты не допускались вовсе, а журналы лишь исключительно за прошлые годы. Присутствовавший на свиданиях жандарм зорко следил за тем, чтобы разговор не переходил на политические темы.

В революционное время, в тюрьме Керенского, мы тысячами путей, из газет и от посещавших нас родственников, друзей и товарищей узнавали все новости политической жизни, вплоть до мельчайших деталей и секретных постановлений ЦК. Мы имели возможность внимательным взором наблюдать быстроту, с какой партия и рабочий класс оправлялись от нанесенного им разгрома.

Через толстые тюремные стены мы остро чувствовали все возрастающее влияние нашей партии. Не сходившие со столбцов «Правды», «Рабочего», «Рабочего и Солдата», «Рабочего Пути» массовые резолюции с требованием нашего освобождения радовали нас, как отклик сочувствия все растущего числа единомышленников. Наше настроение, вообще не отличавшееся ни меланхолией, ни пессимизмом, было еще больше поднято известием о VI партийном съезде. Мы увидели в этом симптом оживления и объединения сил нашей жизнеспособной партии. И действительно, съезд оформил объединение межрайонцев с большевиками. Наконец, VI съезд совершенно правильно наметил тактику борьбы за власть и сделал здоровые выводы из неудачи июльских событий, с неоспоримой ясностью показавших, что без вооруженного свержения временного правительства обойтись невозможно. Съезд сразу взял твердый курс на Октябрьскую революцию. На-ряду с основной целью завоевания власти Советами, была поставлена обусловленная этим задача завоевания Советов большевиками.

Партийный съезд поднял перчатку, брошенную буржуазией. Временному правительству был вынесен смертный приговор, меньшевикам и эсерам объявлена непримиримая война. Мы в наших окаянных «Крестах» горячо приветствовали решения партии, принятые с такой прямолинейной последовательностью и непреклонной смелостью.

Когда в Москве открылось театральное «государственное совещание», мы с интересом следили за всеми речами и дебатами. Даже из тюрьмы нельзя было не заметить трещины, расколовшей весь зал надвое: с одной стороны, Корнилов, Каледин и вся цензовая буржуазия, клокочущая злобой против так. наз. «демократии», с другой стороны,—эта самая демократия. Тут нельзя было не видеть предвестника корниловской авантюры: создавшегося впечатления не удалось замазать даже торжественным рукопожатием Церетели и Бубликова, которое представлялось нам в смехотворном виде. Следующим событием, взбудоражившим тюрьму, было взятие немцами Риги. Помню, это известие застало нас на прогулке. Уголовные реагировали на это событие с нескрываемым злорадством.

— Если немцы возьмут Петроград, то и мы будем на свободе, — без всякого стеснения заявляли они.

Мы расценивали этот факт военного поражения иначе. Интернационалисты и убежденные противники войны, мы не имели оснований радоваться победам той или иной коалиции. Наши усилия сводились к тому, чтобы империалистическую бойню превратить во всех странах в гражданскую войну. Но русская буржуазия рассматривала нас, как пособников немцев. Мы нисколько не сомневались, что и в данном случае падение Риги будет приписано большевикам, относительно которых никто из обывателей тогда не сомневался, что именно они вызвали пресловутое разложение армии. Мы предвидели, что очередная неудача на фронте послужит точкой отправления для нового натиска травли и клеветы против нашей многострадальной партии. Кроме того, взятие Риги немцами отнимало у революции лишний кусок территории. Поэтому мы возмущались малосознательностью уголовных, открыто ликовавших по случаю победы германских империалистических войск.

Больше того, мы прямо подозревали генерала Корнилова в преднамеренной, заранее рассчитанной и подготовленной сдаче Риги,—что вскоре косвенным образом подтвердилось корниловской авантюрой.

Царский генерал, с первых дней революции преследовавший свои реакционные цели, двинул одураченные войска против рабочего класса и гарнизона восставшей столицы. Мы узнали о корниловском выступлении из газет. Велико было чувство нашего гнева, к которому присоединялось трепетное беспокойство за судьбы революции. Вот когда стало особенно нестерпимо сознание нашей физической скованности, не допускавшей активного, непосредственного участия в защите дела, составлявшего смысл жизни для каждого из нас. Мы кипели возмущением против временного правительства, которое — в столь тревожные дни, когда решалась участь Республики, когда на Питер надвигалась реальная черносотенная опасность в генеральских лампасах и с реставрацией в кармане, — продолжало гноить в «Крестах» большевиков. Растерянные, нерешительные действия временного правительства против ярого контр-революционного опричника

вызывали единодушное осуждение партийной ячейки, имевшей жительство в «Крестах».

Тогда нам еще не была известна прикосновенность самого Керенского к корниловскому заговору против революции. Это выплыло только через несколько дней.

Но вот нам стало немного легче дышать: рабочие взялись за оружие. Мы судорожно следили за процессом формирования молодой Красной гвардии, буквально подсчитывая винтовки, скоплявшиеся в руках пролетариата. Все наши надежды сосредоточились на боевой мощи питерского рабочего класса.

Вооружению рабочих нами придавалось исключительное значение не только как средству подавления корниловского мятежа, но и в более широком смысле: в этом стихийном самовооружении нельзя было не видеть зародыша массовой военной организации рабочих—Красной гвардии, которая, по нашему мнению, должна была обеспечить себе постоянное существование в целях подготовки к предстоящим впереди, исторически неизбежным боям за пролетарскую революцию. Мы считали совершенно правильным, что наша партия активно выступила против Корнилова, развернув такую колоссальную энергию, подобие которой можно проследить только в богатую событиями эпоху Октябрьской революции и гражданской войны.

Но не по одним газетам знакомились мы с развитием корниловской эпопеи. Вокруг себя мы наблюдали тщательные приготовления к предстоящей обороне.

Во двор «Крестов» был введен броневик, занявший позиции под нашими окнами. Пулеметчики часто ложились отдыхать на крыше своей машины и в это время охотно вступали в разговоры с обитателями тюрьмы. Снаружи и внутри тюрьмы были усилены караулы, появились какие-то казаки. По двору, как у себя дома, расхаживали казачьи офицеры.

Реакционная корниловщина окончилась так же внезапно, как началась. Однажды пришедшие утром газетные листы, пахнущие свежей типографской краской, рассказали нам о разложении дикой дивизии, едва дошедшей до Павловска, и о самоубийстве генерала Крымова, командовавшего войсками, направленными на Питер.

Корниловские дни послужили рубиконом, после которого наша партия настолько укрепилась, что в самом ближайшем будущем уже смогла поставить в порядок дня решающий пролетарский штурм. Авторитет партии в рабочих слоях умножался со сказочной быстротой. Само слово «большевик», которое после июльских дней стало ругательством, теперь превратилось в синоним честного революционера, единственного надежного друга рабочих и крестьян. Возрастающее влияние партии не замедлило сказаться на тюремном быту. Завоеванные голодовкой относительные «свободы», мало-по-малу отнимавшиеся у нас, в корниловские дни разом вернулись. Режим открытых дверей и свобода собраний снова вошли в обиход нашего повседневного тюремного прозябания. Начальник тюрьмы, типичный хамелеон, следивший за тем, куда дует ветер, надел личину заботливого друга, ходатая по нашим делам, почти заступника. Стремительным подъемом наших акций сумели воспользоваться уголовные, под нашу руку совершившие побег из тюрьмы. Однажды, после бани, когда их вели по двору в корпус, они, по предварительному между собою уговору, со всех ног устремились к воротам. Часовые преградили им дорогу.—«Мы политические, мы большевики»,—в один голос закричали арестанты. Тогда конвоиры безмолвно расступились. Около 20-ти уголовных благополучно выбрались за ворота под фирмой большевиков. Их никто не преследовал. Только начальник тюрьмы, услышав о побеге, выбежал на улицу, воинственно размахивая наганом, по - полицейски привязанным к кожаному поясу длинным витым шнурком.

Для спасения своей чести и для очистки совести, он сделал несколько выстрелов вдоль набережной, после чего, в досаде расправляя большие оттопыренные усы, возвратился в свой кабинет.

* * *

Расширение плацдарма нашей партии непрерывно продолжалось.

Вскоре из солидного меньшинства в Советах мы стали превращаться в господствующее большинство. Кадры наших сторонников по всей России насчитывали уже несколько

десятков тысяч. Идеи большевизма проникли в самые глухие медвежьи углы.

Временное правительство, совершавшее ошибку за ошибкой и преступление за преступлением, теряло последних приверженцев и слева, и справа. Никогда не связанное с массами, оно все больше изолировалось в Малахитовом зале Зимнего Дворца, вскоре ставшем ему могилой. В рабоче-солдатской массе о временном правительстве говорили со скрежетом зубовным. Военно-монархическая клика отшатнулась от него тотчас после предательской роли, сыгранной Керенским в деле провокации и затем предательства корниловского похода. И только буржуазия, нашедшая в лице Керенского свое истерическое, плаксивое и многословное выражение, держалась за него изо всех сил.

Наконец, процесс расширения и углубления революции уперся в насильственный переворот. Немедленная революция, не допускающая ни малейшей отсрочки свержения буржуазного временного правительства, а вместе с ним и всего царства капитала, стала насущной задачей, неотвратимой, как рок. Близость пролетарского восстания в России, как пролога к мировой социалистической революции, стала темой всех наших тюремных досугов. Приходится удивляться, насколько правильно, в полном соответствии с «волей», ставились и решались тактические вопросы в «Крестах». Если мы чего-нибудь не знали, то этот пробел приходилось пополнять интуитивным чутьем.

И в общем, наши выводы всегда согласовались с соответственными решениями партийных центров.

Даже за тюремной решоткой, в спертой и затхлой камере инстинктивно чувствовалось, что кажущееся внешнее затишье на поверхности предвещает приближение бури, что где-то в глубоком партийном подполье происходит подсчет и концентрация сил.

IX. НАКАНУНЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ.

По мере нарастания Октябрьской революции растерявшееся правительство Керенского, пропорционально крепнущему нажиму рабочего класса, стало поочередно выпускать на свободу арестованных в «июльские дни» большевиков.

В один из сентябрьских дней совершенно неожиданно был освобожден т. Троцкий...

Наконец, 11 октября наступила моя очередь. Начальник тюрьмы, прапорщик эсер, лично явился обрадовать меня ордером на освобождение. Тов. Рошаль был несколько удивлен и опечален тем, что на этот раз он был отделен от меня. После дружной совместной работы в Кронштадте наши имена настолько неразрывно спаялись вместе в хитросплетениях «третье-июльского» процесса и в травле буржуазной печати, что даже партийные товарищи иногда смешивали нас. Я был изумлен не менее, чем Рошаль, что меня отрывают от политического близнеца, против которого, к тому же, следствием было собрано меньше обвинительного материала, чем против меня. Я постарался успокоить Семена, пообещав ему сделать все возможное для восстановления попранной справедливости.

В приемной тюрьмы меня ожидал кронштадтский матрос тов. Пелехов, собственноручно привезший приказ о моей свободе и уже успевший внести из партийных средств три тысячи рублей залога, так как, формально, подобно другим товарищам, выпущенным ранее из тюрьмы, я числился освобожденным «под залог».

Но наше «дело 3—5 июля», обильно уснащенное клеветой раскаявшегося немецкого шпиона Ермоленко и фальсификацией царского следователя Александрова, прекращению не подлежало и вокруг него г.г. Алексинский и К-о продолжали плести свою чудовищную паутину. Однако

ровно через две недели восставший рабочий класс захлопнул папки «дела 3—5 июля» и сдал их на хранение в исторический архив, как яркий образец следственного пристрастия и подлога.

Выйдя из тюрьмы на Выборгскую набережную и глубоко вдохнув вечернюю прохладу, струившуюся от реки, я почувствовал радостное сознание свободы, знакомое только тем, кто научился ценить ее за решоткой. От Финляндского вокзала в трамвае я быстро доехал до Смольного. Уже стемнело и всюду горели огни. У подъезда, среди колонн, мне встретился тов. П. Е. Дыбенко.—«Еду в Колпино—громить меньшевиков»,—торжествующе, в предчувствии близкой победы, пробасил мой товарищ по морской профессии. От всей рослой фигуры тов. Дыбенко, охваченного политическим энтузиазмом, на меня пахнуло пронизывавшим его жизнерадостным упоением. Мы оба спешили и поэтому тотчас расстались.

Смольный производил странное, непривычное впечатление. Чувствовалось, что атмосфера накалена, в воздухе пахнет грозой. В настроениях делегатов происходившего тогда съезда Советов северной области и центральных партийных работников был заметен какой-то необычайный подъем, крайнее воодушевление. Группами и попарно товарищи оживленно дискутировали какие-то вопросы. Мне тотчас рассказали, что ЦК принял решение о вооруженном восстании. Но есть группа товарищей, возглавляемых Зиновьевым и Каменевым, которые с этим решением не согласны, считая восстание преждевременным и заранее обреченным на неудачу. Тут же, в столовой, мне дали прочесть напечатанное на машинке мотивированное обоснование этой точки зрения, подписанное двумя вышеназванными членами ЦК, предназначенное для ознакомления партийных работников.

Еще в тюрьме, ведя продолжительные беседы на тему о перспективах российской революции, мы все в последнее время окончательно пришли к выводу, что революция уперлась в вооруженное восстание и что вряд ли представится более удобный момент, чем сейчас, когда партия, окрепшая отчасти благодаря корниловскому восстанию, достигла, наконец, колоссального влияния в рабочих, солдатских и даже крестьянских массах.

В тюрьме мы не могли наглядно представить себе действительных размеров движения, но уже первый день в Смольном и многочисленные беседы с товарищами окончательно убедили меня, что настроение масс достигло точки кипения, что они в самом деле готовы для борьбы, и партии нужно немедленно возглавить движение, призвать рабочий класс и крестьянство к новой революции, чтобы не упустить на долгое время исключительно благоприятный момент.

Встретившись с Л. Б. Каменевым, моим старинным другом, я тотчас завел с ним разговор на тему о «наших разногласиях». Исходный пункт Льва Борисовича сводился к тому, что наша партия еще не подготовлена к перевороту. Правда, за нами идут большие и разнородные массы, они охотно принимают наши резолюции, но от «бумажного» голосования до активного участия в вооруженном восстании еще очень далеко. От петербургского гарнизона трудно ожидать боевой решимости и готовности победить или умереть. При первых критических обстоятельствах солдаты нас бросят и разбегутся.

— С другой стороны, правительство, — говорил тов. Каменев, — располагает великолепно организованными и преданными ему войсками: казаками и юнкерами, которые сильно натравлены против нас и будут драться отчаянно, до конца.

Делая отсюда неутешительные выводы относительно наших шансов на победу, тов. Каменев приходил к заключению, что неудачная попытка восстания приведет к разгрому и гибели нашей партии, тем самым отбросит нас назад и надолго задержит развитие революции. Я не мог разделить эту точку зрения и откровенно высказал свои соображения тов. Каменеву. Но, как всегда бывает между убежденными людьми, мы оба разошлись, оставшись каждый при своем мнении.

Тов. Пелехов, неотлучно сопровождавший меня, уже давно настаивал на отъезде, так как он обещал Кронштадтскому комитету сразу из тюрьмы привезти меня в Кронштадт и, наверное, «ребята» уже давно ждут на пристани. Мы вышли из Смольного и, сев на приготовленный катер, пошли в Кронштадт.

Славный парень был этот Пелехов! Горячий, вспыльчивый, решительный и отважный матрос с честной революционной душой. Февральская революция застала его на каторге, где он очутился после одного из многочисленных процессов кронштадтских моряков. В царской тюрьме он надломил здоровье и, вероятно, оттуда вынес лихорадочный блеск своих глаз, впалые щеки, худое сложение и чахоточный кашель. В первые же дни революции он был выбран членом Кронштадтского Совета. Порывистый энтузиаст, он не мог ни одной минуты сидеть спокойно, когда обсуждался какой-нибудь животрепещущий вопрос. Он воодушевлялся, брал слово, произносил взволнованную речь, но, наконец, его голос срывался, он захлебывался и, чувствуя себя не в силах выразить всю полноту обуревавших его чувств, бессильно махал рукой с крепко зажатой матросской фуражкой и нервно садился на свое место.

Тов. Пелехов считался у нас одним из левых, так что тов. Рошаль не раз шутливо называл его «анархистом». Теперь на пароходе, тов. Пелехов познакомил меня с кронштадтскими настроениями, дошедшими до высшей стадии революционного напряжения, и пополнил мои сведения о партийных делах. Тут же он дал мне прочесть письмо тов. Ленина, обращенное к членам партии.

Это письмо окончательно укрепило меня в правоте своих взглядов на неотложность переворота. Тов. Ленин очень убедительно защищал эту идею, исходя из анализа реального соотношения сил. В пользу своей аргументации он приводил не только логические доводы, но и подкреплял их статистикой выборов в Советы и городские думы. Окончательный вывод был таков, что подавляющее большинство рабочего класса и значительная часть крестьянства стоят решительно за нас. Жажда мира обеспечивает нам большинство солдатской массы. Политическая атмосфера накалена до крайности. Настало время пролетарской революции, свержения ненавистного правительства Керенского и установления диктатуры рабочего класса и крестьянства. Этот момент не должен быть упущен. Дальше ждать нельзя. Революции угрожает опасность. За нами верная победа.

Блестящее письмо Ильича,—этот революционный призыв к восстанию, пламенный зов на баррикады,—как нельзя более подняло мое настроение.

Наш маленький катер уже приближался к Кронштадту. Издали сверкали огни красного острова, они становились все ближе и ярче, пока, наконец, катер не проскользнул в военную гавань.

Несмотря на поздний час, на летней пристани, в парке, перед памятником Петру Великому, стояла большая толпа моряков и рабочих. Оказывается, товарищи готовили мне встречу: раздались знакомые звуки морского оркестра. Катер ошвартовался.

Тов. Энтин, стоя на пристани, сказал несколько теплых приветственных слов. Весь под впечатлением возбуждающих слов тов. Ленина, я произнес горячую речь. Все точки над і были поставлены. После краткой уничтожающей характеристики режима Керенского, я в заключение употребил такую фразу: «временное правительство инкриминировало мне призыв к вооруженному восстанию. Но это была наглая ложь. Тогда я призывал вас, кронштадтцы, не к восстанию, а всего только к вооруженной демонстрации. Но сейчас я говорю вам: восстаньте и свергните это ненавистное буржуазное правительство Керенского, которое гноит в тюрьме большевиков, держит Ленина на нелегальном положении и, не останавливаясь ни перед чем, душит революцию».

Я тотчас заметил, что чем резче, решительнее, определеннее были слова, тем более сочувственный отклик они вызывали. Даже для Кронштадта, который в течение весенних и летних месяцев 1917 г. буквально кипел, эта атмосфера крайнего революционного подъема была необычна. Чувствовалось, что ненависть к временному правительству достигла высших пределов, и мысль о его свержении гвоздит голову каждого сознательного рабочего, матроса и солдата.

По окончании речей, мы пошли в здание партийного комитета. По установившемуся в Кронштадте обычаю, товарищей, которым устраивалась встреча, сейчас же подхватывали на руки и несли, возвышая над толпой. Я не успел опомниться, как сильные, мускулистые руки матро-

сов схватили меня с разных сторон и медленно понесли. Признаюсь, я чувствовал себя не совсем удобно: ощущение неловкости было несколько похоже на то, которое я пережил в Японии, когда однажды мне пришлось ехать на рикше.

К счастью, помещение партии было очень близко: всего в нескольких саженях от пристани. Кронштадтский комитет сравнительно незадолго перед этим переехал в здание бывшего Военно-морского суда. Мы поднялись во второй этаж. Огромный судебный зал с сохранившимся красным сукном, торжественно покрывавшим длинный стол, и высокими, чинными, судейскими креслами—был полон народу. Там, где еще недавно судили революционных моряков, вынося им беспощадные приговоры, сейчас сидели те же самые моряки-революционеры, но с гордым, независимым видом судей буржуазного класса и вершителей судеб революции.

Здесь мне пришлось выступить с пространной речью. Имея в тюрьме широкий досуг, добросовестно читая почти все русские газеты, я располагал порядочным материалом и мне нетрудно было в течение полутора часов ознакомить с ним товарищей, несмотря на физическую усталость, уже овладевшую мною к концу этого утомительного первого дня свободы.

По окончании доклада, уже поздней ночью, мы, старые друзья по Кронштадтскому комитету, собрались в отдельной комнате за чайным столом. Здесь были почти все активные работники Кронштадта, вместе с которыми было мало прожито, но так много пережито в каких-нибудь четыре бурных месяца—с февраля по июль.

Вся «старая гвардия» кронштадтцев была на-лицо.

Молодой врач тов. Л. А. Брегман, только что окончивший Юрьевский (Дерптский) университет, застенчивый, с приветливой улыбкой и мягкими, добродушными глазами; он был у нас общим любимцем. Мало выступая на митингах, он принимал участие в руководящей партийной работе, и Кронштадтский комитет неоднократно возлагал на него разнообразные задания, большей частью организационного характера. Сверх того, тов. Брегман вел активную политическую работу среди команды учебного корабля «Заря Сво-

боды» (бывший «Александр II»), который, к этому времени, сойдя на положение старой калоши, сохранил свое вооружение, состоявшее из восьми 12-ти дюймовых орудий в 40 калибров.

Этот архаический корабль был нашей главной боевой силой и настроению его команды придавалось первостепенное значение. К чести «Зари Свободы» нужно сказать, что его команда все время была стойкой и непоколебимой опорой партии большевиков. Позже, во время Октябрьской революции, «Заря Свободы» была отправлена в Морской канал для обстрела банд Керенского и Краснова на случай их приближения к Питеру.

Другой кронштадтский работник, тов. В. И. Дешевой, выступал на митингах на Якорной площади, писал статьи в редактировавшемся мною и Смирновым органе Кронштадтского комитета «Голос Правды», а также вел научно-пропагандистские занятия с рабочими и матросами Кронштадта.

Тов. П. И. Смирнов, студент Политехнического института, с большим увлечением ушел в литературную работу, просматривал поступавший материал, писал статьи, следил за технической постановкой нашей газеты и ночами просиживал в типографии. Тов. И. П. Флеровский принимал непосредственное участие в работах партийного комитета, посещал заседания Кронштадтского Совета, на-ряду с другими товарищами руководил деятельностью его большевистской фракции и вел пропагандистскую работу, систематически читая лекции. Тов. Энтин являлся митинговым агитатором, выступавшим от имени Кронштадтского комитета в тех случаях, когда требовалось участие нашей партии; в результате частых выступлений он хорошо натренировался в полемике с меньшевиками и анархистами. Кроме того, тов. Энтин сотрудничал в «Голосе Правды», где одно время он вел «Обзор печати».

Для довершения нашей тесной, дружеской компании в этот вечер не доставало только одного товарища — С. Г. Рошаля, первоклассного митингового агитатора, чрезвычайно популярного среди кронштадтцев.

За разговорами мы засиделись глубоко за полночь, и когда, наконец, было решено разойтись, я отправился на свой корабль «Освободитель» (бывший «Рында»), где числился вахтенным начальником. На корабле я узнал, что во время

моего тюремного сидения команда выбрала меня старшим офицером. Разумеется, это было только знаком сочувствия, так как ввиду перегруженности политической работой, я физически не имел возможности служить на корабле в той или иной должности. Кают-компания, при старом режиме служившая недосягаемым запретным местом для матросов, быстро наполнилась членами судового комитета и другими моряками из состава команды «Освободителя», заставившими меня еще долгое время рассказывать о «Крестах» и делиться оценкой политического момента.

Переночевав на «Освободителе», я на следующее утро в обществе того же неразлучного Пелехова вернулся в Питер.

В Смольном заседание съезда Советов Северной области уже было в полном разгаре. Меньшевики и эсеры, убедившись, что решительное большинство не на их стороне, только что ушли со съезда. Это была генеральная репетиция той предательской тактики, которую позже они применили на Всероссийском съезде Советов. Но этот уход оказался символическим: он ознаменовал уход меньшевиков и эсеров со сцены истории, где в течение всего первого периода революции они играли такую жалкую и постыдную роль.

На трибуне был тов. Лашевич.

Громким, раскатистым голосом хорошего соборного протодьякона, сопровождая свои слова энергичной жестикуляцией, он выражал резкое осуждение изменникам революции. Это звучало, как анафема.

Наконец, взял слово тов. Троцкий.

Он подвел итоги умирающему режиму Керенского и связавшим с ним свою судьбу партиям меньшевиков и эсеров. С особенным вниманием он остановился на корниловской авантюре и на участии Керенского в этом позорном заговоре против революции.

Шельмуя соглашателей, тов. Троцкий все время тщательно подчеркивал, что имеет в виду только эсеров правого крыла, тем самым выделяя левых эсеров.

Вскоре после его речи был объявлен перерыв.

Я оделся и вышел из Смольного.

Разыскав на Екатерининской улице министерство юстиции, я вошел в большую приемную типичного бюрократического вида, с казенно расставленными вдоль стен стульями,

на которых восседали одинокие, понурого вида, просители и ходатаи. У противоположной от входа двери стоял прилизанный молодой человек с бумажкой в руках и что-то озабоченно записывал.

Это был секретарь министра, присяжный поверенный Данчич. Я не спеша подошел к нему и заявил, что мне нужно видеть министра Малянтовича.

— Будьте добры, как ваша фамилия?—спросил меня нафабренный блондин, изображая на своем лице заранее приготовленную для каждого посетителя угодливую улыбку.

Я назвал свою действительную фамилию. Улыбка на лице Данчича сменилась изумлением.

— Вы — Раскольников кронштадтский? — с пытливым любопытством, смотря мне прямо в глаза, спросил он.

Я подтвердил, что до ареста работал в Кронштадте.

— А вы по какому делу хотите видеть министра?—снова испытующе спросил Данчич.

— Об этом я сообщу самому министру, — оборвал я нашу некстати затянувшуюся беседу.

Данчич записал меня в очередь и попросил подождать.

С улицы вошел мальчик лет десяти, в неуклюже топорщившейся военной шинели и, обливаясь слезами, всхлипывая навзрыд, стал рассказывать грустную семейную повесть: его отец убит на войне, он сам только что вернулся с фронта и узнал, что его мать умирает в материальной нужде. Он был уже у Керенского, но и там не нашел ни сочувствия, ни помощи. В поисках правды и справедливости он явился теперь к министру юстиции. Данчич хладнокровно отправил его в какое-то другое бюрократическое учреждение, и убитый горем мальчик, размазывая слезы по грязному лицу, с безнадежным видом вышел в коридор.

Прождав около двух часов, я, наконец, был приглашен в кабинет Малянтовича.

Бывший большевик, когда-то охотно предоставлявший в своей московской адвокатской квартире убежище нелегальным партийным работникам, присяжный поверенный Малянтович, в качестве меньшевика, состоял «министром-социалистом» в правительстве Керенского.

Едва я перешагнул порог солидного, но темного и мрачного кабинета, заставленного по стенам шкафами и книж-

ными полками с многотомным сводом законов и толстыми юридическими справочниками, Малянтович вежливо поднялся мне навстречу и протянул руку.

— Чем могу служить?—скорее с адвокатской, чем с министерской манерностью предложил он вопрос.

Я оговорился, что пришел к нему не с просьбой, а только с целью выяснения одного непонятного мне факта: почему задерживается в тюрьме Рошаль, в то время как я на свободе? Указав, что мы оба привлечены по одному общему делу, каковое обстоятельство лишает всяких оснований ставить меня в более привилегированное положение, я особенно подчеркнул, что мои товарищи по руководству демонстрацией, в том числе и Рошаль, просили меня, как военного человека, взять на себя единоличное командование во время шествия в Петрограде, что я и сделал. Поэтому на мне лежит бо́льшая ответственность, чем на других товарищах-кронштадтцах, тем более, что я состоял еще комендантом дома Кшесинской и в целях его обороны вызывал военную силу, тогда как Рошалю такое обвинение предъявлено быть не может.

Малянтович, уставив на меня живые, много видевшие на своем веку глаза и поглаживая седеющую шевелюру, неторопливо ответил, тщательно взвешивая слова, что на основании наших показаний у временного правительства создалось убеждение, что я не уклонюсь от суда, тогда как относительно Рошаля —«у нас,— подчеркнул министр,— такой уверенности нет».

Я заявил, что это соображение опровергается фактом добровольной явки тов. Рошаля в «Кресты».

Министр мягким жестом развел руками и снова повторил свою последнюю фразу.

Выяснив, что тов. Рошаль освобожден не будет, и поняв, что он, все время служивший жупелом для буржуазии, должен явиться козлом отпущения, я счел свою миссию законченной, распрощался с министром юстиции и отправился в Смольный.

В одном из длинных коридоров Смольного я встретился с тов. Л. Б. Каменевым.

— Вот кто поедет вместо меня—Раскольников,—стремительно схватывая меня за рукав и широко улыбаясь, проговорил тов. Каменев обступавшим его со всех сторон военным:

Но товарищи, согласившись на предложение, все-таки продолжали настаивать, чтобы кроме меня обязательно приехал и Каменев, так как химикам уже объявлено об его выступлении и даже напечатаны и расклеены афиши. Лев Борисович усиленно пытался освободиться от этой поездки, но представители химиков оставались неумолимы. Делать нечего, Льву Борисовичу пришлось подчиниться.

— Хорошо,—сказал он,—только подождите минуту, мне нужно еще кое с кем переговорить.

Вскоре он возвратился, и, захватив с собой в автомобиль С. Я. Богдатьева, мы поехали в запасный огнеметно-химический батальон.

Приехав на Петербургскую сторону, мы прошли в какой-то большой манеж.

Он был до половины уставлен скамейками, уже занятыми химиками, солдатами соседних полков и рабочей публикой. За недостатком мест многие стояли. Мы взошли на импровизированную эстраду, посреди которой возвышался председательский стол.

Тов. Каменев предложил мне выступить первым.

Я начал с заявления о том, что только вчера передо мной раскрылись железные двери тюрьмы.

Затем, обрисовав всю вопиющую возмутительность нашего дела, мошеннические проделки царских следователей и прокуроров, за волосы притянувших к нашему делу политической демонстрации спекулянтские и шпионские подвиги никому не ведомой гражданки Суменсон, нечистоплотные деяния сомнительного украинского деятеля Скоропись-Иолтуховского и лживые, провокаторские показания раскаявшегося немецкого шпиона Ермоленко, я от этого частного вопроса перешел к общей критике политического режима Керенского. Речь я закончил буквально теми же словами, как на Кронштадтской пристани, т.-е. призывом к восстанию.

Уже с первых слов я почувствовал между собой и аудиторией тесный контакт, самое близкое взаимодействие. Речь, видимо, находила отклик у слушателей, а их настроение, в свою очередь, влияло на меня. Поэтому тон речи непрерывно повышался, и резкость ее выводов все нарастала.

Я был поражен боевым, революционно-нетерпеливым настроением митинга. Чувствовалось, что среди этих тысяч солдат и рабочих, каждый в любую минуту готов выйти на улицу с оружием в руках. Их бурные чувства, их клокочущая ненависть против временного правительства меньше всего склоняли к пассивности. Только в Кронштадте, накануне июльского выступления, я наблюдал аналогичное кипение жаждущих действия революционных страстей. Этот факт еще больше укрепил мое глубокое внутреннее убеждение, что дело пролетарской революции стоит на верном пути.

После меня выступил тов. Каменев. Он сразу начал говорить очень горячо. Резкость всего его выступления имела большой успех. Со стороны, судя по его словам, трудно было предположить, что в действительности он являлся противником немедленного восстания. Напротив, брызги революционного огня искрились в его зажигательной речи.

Из всей его критики, из всей оценки положения логически вытекала неизбежность и целесообразность немедленной вооруженной борьбы. Слушателям оставалось лишь сделать практические выводы. Своими подлинно-революционными, как по характеру, так и по настроению, речами тов. Каменев оказал крупнейшие услуги делу пролетарской революции, перед величием которой меркнет его ошибка, от которой через короткое время он отказался.

Обстоятельства были сильнее людей, и даже сторонники более осторожной тактики были вынуждены произносить самые резкие речи. Наконец, независимо от субъективных настроений, к этому обязывала партийная дисциплина.

Прямо с митинга я пошел на ночевку на Выборгскую сторону, а на утро 13 октября явился в ЦК, помещавшийся в то время на барственно-тихой Фурштадтской улице.

После больших комнат, сверху до низу заставленных связанными тюками литературы, я спустился на несколько ступенек вниз и, пройдя по коридору, в небольшой комнате налево, отыскал Я. М. Свердлова. Он встретил меня с тем органическим, внутренним доброжелательством, которое вообще свойственно многим старым партийным работникам, познавшим ценность товарищеского общения в тюрьме, в ссылке, на каторге. Не теряя времени, Яков Михайлович

с места в карьер ввел меня в курс деловых вопросов. Ознакомив прежде всего с последними решениями ЦК, тов. Свердлов пояснил, что вся работа партии сейчас заостряется на подготовке свержения временного правительства.

— Конечно, в Кронштадте вам делать нечего; там уже все хорошо подготовлено,—тоном, не допускающим возражений, пробасил тов. Свердлов, дыша на снятое пенснэ и протирая его носовым платком,—а вот вам придется немедленно поехать в Лугу—там не все благополучно.

И тов. Свердлов обрисовал мне положение Луги, где Совет находится в руках соглашателей и где в последнее время наблюдается сосредоточение войск, преданных временному правительству. Тов. Свердлов подчеркнул выдающееся стратегическое значение Луги, как крупнейшего промежуточного пункта на магистрали Петроград—фронт. Мне поручалось произвести глубокую разведку относительно настроения лужского гарнизона и создать там благоприятную для нас атмосферу.

Едва мы успели в общих чертах закончить наш разговор, как в комнату вошла группа руководителей Новгородского партийного комитета, во главе с Михаилом Рошалем, младшим братом Семена. Новгородские товарищи заявили, что на-днях у них состоится губернский съезд советов, на котором необходимо присутствие оратора «из центра».

— Вот, дайте нам Раскольникова,—потребовали они.

Яков Михайлович сперва не соглашался под тем предлогом, что у меня есть другая ответственная работа, но затем, после недолгого раздумья, уступил, однако с условием, что, пробыв два-три дня в Новгороде, я оттуда поеду в Лугу.

Мне еще нужно было повидать Семена Рошаля, чтобы рассказать ему как об общем политическом положении, так и о его личной участи.

Я прошел в «Кресты». Меня провели в кабинет начальника тюрьмы. В этой должности состоял длинноусый прапорщик, член партии эсеров, которого заключенные недвусмысленно подозревали в хозяйственных злоупотреблениях.

Во всяком случае, несмотря на октябрьские холода, он держал камеры без отопления и кормил тюрьму такой

вонючей пищей, один запах которой вызывал тошноту даже у голодного человека.

В этот период начальник тюрьмы, учитывая рост политического влияния большевиков, самым бесстыдным образом заискивал перед нами.

Надев на свое подловатое и плутоватое лицо маску приторной любезности, он вызвал Рошаля в свой кабинет, хотя обычно свидания давались в особой комнате через двойную решотку.

Мало того. Он предупредительно вышел из кабинета, оставив нас наедине. Это, конечно, сильно облегчило мне передачу секретных сведений. Семен казался удрученным и даже заикнулся о самоубийстве. Было видно, что за эту пару дней он сильно пал духом.

Я посвятил его в партийные дела, ознакомил с последними постановлениями ЦК, поделился своими впечатлениями и наблюдениями, не скрыв от него своей оптимистической оценки будущего. Семен, в духовной жизни которого настроения, вообще, играли крупную роль, заметно приободрился.

Коснувшись его личной судьбы, я не мог утаить от Семена, что, по всей вероятности, ему придется быть козлом отпущения, но зато обнадежил его, что пролетарская революция через несколько дней принесет ему освобождение.

Действительно, 25 октября, с первым залпом «Авроры», Семен вышел на свободу и тотчас с головой ушел в кипучую боевую деятельность активного, самоотверженного революционера, которая, к сожалению, вскоре трагически оборвалась расстрелом тов. Рошаля на Румынском фронте.

Из Крестов я двинулся в Смольный на заседание Бюро Советов Северной области, членом которого я был выбран на заключительном заседании этого съезда.

Перед заседанием ко мне подошел Филипповский, инженер-механик флота, правый эсер, по сравнению с другими членами его партии производивший более приличное впечатление, но не по заслугам неожиданно выдвинувшийся на роль одного из руководителей Петроградского Совета и его Исполнительного Комитета. Филипповский стал уговаривать меня, как кронштадтца, согласиться на снятие тяжелой артиллерии с форта «Обручев» ввиду того, что стратегиче-

ские соображения требуют установки этих орудий на морской тыловой позиции.

Я дал отрицательный ответ, сославшись на то, что покушение на частичное разоружение Кронштадта в данный момент приобретает политический характер и не без основания может быть истолковано массами, как контр-революционный маневр временного правительства. Другие кронштадтцы—И. П. Флеровский и Людмила Сталь—меня горячо поддержали.

Филипповский попробовал возражать.

Покончив этот бесплодный спор, я перешел к столу, где сидели члены Бюро Советов Северной области—т. т. Крыленко, Бреслав и др. Первым стоял вопрос о выборах президиума Бюро. На должность председателя были выдвинуты две кандидатуры: тов. Крыленко и моя. Но Николай Васильевич категорически отказался, ввиду крайнего обременения работой, и, таким образом, был выбран я. Нам предстояло распределить районы работы между отдельными членами Бюро. Я заявил, что ЦК партии уже командировал меня в Новгород и Лугу.—Бюро Советов, с своей стороны, возложило на меня поручения по части советской работы в этих двух городах.

Наше заседание продолжалось очень недолго, и все несложные вопросы, стоявшие на повестке, скоро были исчерпаны.

На следующий день я вместе с младшим Рошалем и другими товарищами выехал в иногороднюю командировку.

В большой тесноте и давке мы доехали до Новгорода и сразу направились в большевистскую коммуну, где жили Михаил Рошаль, Валентинов и другие члены Новгородского комитета. Там я застал одного солдата-большевика, только что приехавшего из Старой Руссы. Таким образом мне удалось получить сведения о партийной работе как в Новгороде, так и в старой Руссе.

В Старой Руссе местный Совет состоял из 36 членов, но большевиков было настолько мало, что даже не существовало фракции. Однако на губернский съезд в Новгород были присланы четыре делегата, оказавшихся большевиками. Одним словом, в последнее время обозначался резкий рост большевистских симпатий.

В общем, в Старой Руссе и в Новгороде картина была одна и та же. Симпатии подавляющего большинства солдат и рабочих определенно склонялись на нашу сторону; офицерство и буржуазия, вместе с зажиточной интеллигенцией, были настроены в пользу временного правительства; эти слои находили себе опору среди казаков и ударников; за пределами городской черты—среди крестьян—работа велась очень слабо.

Все сведения о партийной работе, о численности организации, о боеспособности Красной гвардии, о настроении частей новгородского гарнизона, о количестве войск, готовых с оружием в руках выступить за временное правительство и против него,—все эти цифры я тщательно заносил на страницы своей записной книжки.

В общем, в Новгородской губернии соотношение сил было, повидимому, в нашу пользу. Квартировавший в самом Новгороде 177 запасный полк был большевистски настроен. Казаки-ударники стояли за временное правительство, но и среди них имелись большевики. В Кречевицах влияние на гвардейский запасный кавалерийский полк оспаривали большевики и эсеры. В Старой Руссе настроение гарнизона отличалось своим большевизмом. Там были расположены: 178 запасный полк и автомобильная мастерская 5 армии (300 человек—сплошь большевики). Стоявшие в Старой Руссе две сотни казаков были настроены против солдат. В селе Медведь—175 запасный полк и в Боровичах—174 запасный полк были настроены в нашу пользу. В самом Новгороде партийная организация состояла из 176 членов (за полторы недели до моего приезда было 102). По социальному составу члены партии распределялись так: 150 солдат, а остальные—рабочие. При этом коллективов по предприятиям еще организовано не было. Губисполком состоял из 30 человек, почти исключительно эсеров и меньшевиков; большевиков было только трое. Ясно, что губисполком не отражал действительного соотношения сил в данный момент.

Товарищи решили не терять времени и в тот же день устроить митинг 177 запасного пехотного полка, стоявшего в городе. Для созыва митинга мы направились в казармы. Там было грязно, душно, пахло кислыми щами. На не-

опрятных деревянных нарах обедали солдаты. Тов. Рошаль пошел разыскивать членов полкового комитета. Через несколько минут он сообщил, что митинг состоится на воздухе.

Мы вышли на двор и прошли на прилегающую к казармам площадь. Здесь возвышалась небольшая, видимо когда-то наспех сколоченная трибуна. К нашему приходу на площади еще не было ни души.

Но вскоре, очевидно, по зову или сигналу, группами и поодиночке стали сбегаться солдаты. Их набралось несколько сот человек.

Для одного полка это было достаточно. Почти все свободные от работ и службы товарищи стеклись послушать большевистских ораторов. Я поднялся на трибуну и стал говорить.

Аудитория слушала внимательно, но без особенного пыла. Только когда я перешел к вопросу о войне и мире, живо волновавшему чувства и помыслы каждого крестьянина в серой солдатской шинели, слушатели насторожились, и на их лицах тотчас отразились глубокие внутренние переживания, мучившие каждого из них по поводу этой больной темы. Как Дамоклов меч висевшая над головой каждого из них опасность внезапной отправки на фронт и естественное, здоровое отвращение к чудовищной империалистической бойне создавали благоприятную почву для восприятия антимилитаристических идей. Это настроение не было голым шкурничеством, как объясняла себе успех большевистской пропаганды вся буржуазная печать. Эгоистичными, своекорыстными шкурниками могут быть отдельные лица, но никак не огромные массы, вовлеченные в грандиозное движение революции.

После меня выступило несколько местных работников. В общем, удалось разъяснить положение и поднять настроение солдатской массы. Чувствовалось, что если эта воинская часть и не проявит большого энтузиазма в борьбе, то, во всяком случае, она никогда не выступит против нас. Весь митинг продолжался немногим более часа.

На другой день мне пришлось побывать на митинге кавалерийского полка. Он был расквартирован далеко за городом, в кречевицких казармах. На грузовом автомобиле,

по плохой, ухабистой, давно не ремонтированной и размытой дождями дороге мы приехали в этот полк. В ожидании, пока товарищи соберутся на митинг, председатель полкового комитета пригласил Михаила Рошаля, Валентинова и меня в офицерское собрание; мы согласились. В офицерском собрании все дышало специфическим ароматом старого режима. На окнах висели чистые и аккуратные занавески, столы были накрыты белоснежными прокрахмаленными скатертями, за ними сидели туго затянутые в корсеты ротмистры и корнеты в рейтузах и кителях с золотыми погонами. Изящно сервированную закуску подавали услужливые официанты.

Только наша компания своим оживленным и бесцеремонным поведением, своим демократическим видом внесла диссонанс и грубо разрушила иллюзию старого режима, которая старательно культивировалась в этих уютных, словно языком вылизанных, комнатах. Мы ловили на себе косые, недоброжелательные взгляды соседних столиков. Наконец, мимо нас, лихо поигрывая бедрами, походкой самоуверенного глупца, прошел какой-то офицер с фантастически-широкими, как на шарже, рейтузами.

Михаил Рошаль, как вольноопределяющийся, был одет в военную форму.

При виде жеребца в золотых погонах он из чувства дисциплины приподнялся с своего стула. Но офицерик этим не удовлетворился.

По-военному развернувшись на месте, он вперил свои бесстрастные, но вдруг налившиеся злобой глаза в лицо Рошаля и с привычной интонацией, выработанной в течение долгих лет службы в казарме и на плацу, неистово завопил:

— Вольноопределяющийся, как вы смеете, стоя перед офицером, держать руки в карманах? Я вас научу дисциплине... и т. д.

Мы поспешили вмешаться и прекратить безобразную сцену, напомнив зарвавшемуся офицеру, что дни старого режима миновали и у нас, к счастью, произошла революция. Он как-то сразу притих, но, отойдя к группе своих золотопогонных друзей, еще долго высказывал гневное возмущение святотатственным потрясением самых основ военной дисциплины. Я решил об этом рецидиве офицерского самодурства довести до сведения солдатской массы.

Вскоре нас пригласили в полковой театр, где должен был состояться митинг.

Это был совершенно отдельный, огромный сарай, со сценой и длинными рядами скамеек. Зал был наполнен солдатами.

Я говорил около двух часов. Охарактеризовав весь режим Керенского, я с особым вниманием остановился на деле Корнилова и подробно осветил весьма недвусмысленную роль Керенского во всей этой авантюре. Солдатская масса заброшенного в захолустье полка, повидимому, не была избалована визитами новгородских ораторов. С изумительным интересом внимали они каждому слову, упоминание о некоторых общеизвестных фактах являлось для них свежей новостью, едва ли не сенсацией, а участие Керенского в контр-революционном заговоре Корнилова, которого он из трусости предал на полпути, явилось для публики неожиданным откровением и вызвало необычайное возбуждение против временного правительства и страстные выкрики по адресу Керенского: «Позор предателю революции».

После меня выступали новгородские товарищи: Рошаль и Валентинов.

Атмосфера собрания накалилась до высшего предела.

Редко мне приходилось видеть такой сильный подъем, такое страстное воодушевление и столь неистовую политическую ненависть. Не было сомнений, что люди, охваченные таким жгучим энтузиазмом, готовы итти в бой, готовы погибнуть или победить в борьбе с ненавистным временным правительством. К неописуемой радости новгородской организации, кавалерийский полк по своему настроению оказался не только вполне надежной, но еще, пожалуй, и лучшей опорой пролетарской революции, чем другие армейские части, стоявшие в городе.

Впрочем, относительно последних также не было ни сомнений, ни подозрений. Со стороны всего новгородского гарнизона наша партия могла ожидать только поддержки.

Любопытно, что на обоих митингах мы не встретили оппозиции: меньшевики и эсеры сочли за благо вовсе не появляться на трибуне.

По окончании политических речей я снова взял слово и сообщил о факте «цукания» в офицерском собрании. Это

произвело большое волнение. Солдаты повскакали с мест, и, размахивая кулаками, возбужденно крича, приготовились итдти в офицерское собрание, чтобы покарать виновного офицера. С большим трудом нам удалось успокоить товарищей и отговорить их от самосуда над сторонником царской дисциплины.

Когда мы на грузовике возвращались в Новгород, шедшие с митинга кавалеристы радостно приветствовали нас фуражками.

На следующий день в Новгороде открылся губернский съезд советов. Председателем съезда был избран приехавший из Питера «новожизненец» А. П. Пинкевич, автор научно-популярных работ по естествоведению. Большевистская фракция выдвигала в председатели мою кандидатуру, но большинство съезда оказалось не на нашей стороне, и, получив по числу голосов второе место, я вошел в президиум в качестве товарища председателя.

Выборы «новожизненца» в руководители съезда чрезвычайно ярко изобличили физиономию его большинства.

Здесь в большом количестве были представлены крестьяне, делегаты различных уездных и волостных советов. Рабочий класс, вообще сравнительно немногочисленный в губернии, был представлен слабо. Солдатские делегаты съезда в подавляющем большинстве являлись теми же крестьянами.

В этом отношении Новгородский губернский съезд был довольно типичен для настроения крестьян предоктябрьского периода.

Меньшевики и эсеры, поддерживавшие временное правительство, к тому времени окончательно обанкротились. Вопрос о земле, жгуче волновавший всех крестьян бывшей Российской империи, был отложен до учредительного собрания, а созыв учредительного собрания, в свою очередь, отсрочен на неопределенное время.

Между тем, неодолимое стремление к увеличению земельных наделов, старинная жажда «земли», страстное, но несмелое вожделение раздела помещичьих и казенных земель было всеобщей заветной мечтой крестьянства. Научно-статистическая деятельность занявшегося сельско-хозяйственными обследованиями и вычислениями министра земледе-

лия Чернова внушала крестьянам чувство разочарования и гнетущего острого недовольства. Это бесплодное топтание на месте временного правительства, его страх перед окончательным разрешением аграрной проблемы рушили крестьянские надежды, настраивая его на оппозиционный лад.

Но, с другой стороны, крестьянское середнячество в то время еще чуждалось рабочего класса, инстинктивно, хотя и безосновательно страшилось резкой, непримиримой тактики его политической партии, опасалось национализации мелкой и средней земельной собственности. Поэтому, за исключением сельских пауперов, безлошадных и малоземельных бедняков, и, наконец, представителей сельско-хозяйственного пролетариата — батрачества,— деревня в то время не выражала больших симпатий к большевизму и еще не тяготела к партии рабочего класса.

Естественно, что для воплощения этих крестьянских настроений пригоднее всего оказались межеумочные группировки «новожизненцев» и левых эсеров. И в самом деле,— среди крестьян Новгородской губернии они пользовались влиянием и придавали всему съезду определенный колорит.

После докладов с мест, довольно полно обрисовавших безотрадную картину разрухи в губернии, началась политическая борьба.

Доклад по текущему моменту был сделан мною. В прениях участвовали Пинкевич, левый эсер Ромм и др. Пинкевич, вообще производивший очень приличное впечатление, полемизировал мягко. Возражая против нашей тактики, он особенно порицал нас, большевиков, за подготовку переворота, угрожающего гражданской войной.

Отвечая ему, я закончил свои возражения лозунгом: «Да здравствует гражданская война».

Лидер новгородских левых эсеров, вольноопределяющийся Ромм, заострял свои выступления, главным образом, против политики временного правительства и тщательно воздерживался от выпадов в нашу сторону. Левые эсеры в то время выравнивали свою линию по большевикам и сознательно избегали разногласий. Правые эсеры и меньшевики, представленные в ничтожной пропорции, решительно ничем себя не проявили.

Съезд продолжался всего два дня. Перед его закрытием состоялись выборы на второй Всероссийский съезд Советов. Во время предварительного заседания большевистской фракции, товарищи выдвинули мою кандидатуру в делегаты съезда, но я отказался, предложив выбирать новгородских работников.

На выборах на Всероссийский съезд наша партия получила вполне приличное меньшинство. Мы составляли примерно одну треть новгородской делегации. Но, считая вместе с левыми эсерами, добрая половина голосов была обеспечена за нами.

Однако, левые эсеры в то время еще были формально объединены с правыми под эгидой общего центрального комитета, и это упорное нежелание порвать с правыми эсерами и выкристаллизоваться в самостоятельную партию, в связи с их беспрестанными колебаниями, внушало нам серьезные опасения насчет надежности этих союзников, в которых мы всегда видели только временных мелко-буржуазных попутчиков.

В таких условиях точный подсчет наших сил затруднялся, и по возвращении в Питер я счел более осторожным доложить своему партийному начальству, что Новгородская губерния будет представлена на съезде Советов в большинстве чуждыми нам партиями, однако со значительным процентом делегатов-большевиков.

На следующий день после окончания съезда, поздно вечером я выехал в Петроград. Поезд шел из Старой Руссы и был переполнен пассажирами. Мне удалось втиснуться в первый попавшийся вагон III класса, где я, в страшной давке, проторчал на площадке. Затем, постепенно, по мере разгрузки вагона, я протиснулся в коридор и, наконец, занял место на верхней скамейке, где в сидячем положении провел всю ночь.

Приехав в Питер рано утром, я решил в тот же день выехать в Лугу.

Я поехал на Варшавский вокзал и устроился в каком-то вагоне четвертого класса с выбитыми окнами. Вечером я был в Луге, где прежде всего направился в местный Совет, помещавшийся в здании вокзала.

В небольшой станционной комнате сидели за столом члены президиума Совета—военные врачи и офицеры; все были в форменных кителях с погонами. Когда они узнали, что я большевик, то отнеслись ко мне очень холодно, но все же стараясь держать себя в пределах приличия. Заговорив с ними о моем намерении сделать доклад о задачах и тактике большевиков, я узнал, что как раз сейчас должно состояться заседание Лужского Совета. Разумеется, я не упустил этого случая для рекогносцировки местных настроений. Здесь же, в зале вокзала собрались члены Совета. В большинстве это были представители лужского гарнизона. Мне бросились в глаза несколько казаков в надетых набекрень фуражках, из-под которых выбивались пышные пряди волос.

Эти казачьи депутаты по своему внешнему виду живо напоминали тех истуканов, которые в старорежимное время постоянно стояли в карауле у царских дворцов.

Я приступил к докладу. Аудитория слушала с выражением угрюмого и равнодушного безучастия к самым животрепещущим и злободневным проблемам. Казалось, Лужский Совет по-обывательски плохо разбирался в вопросах политики. Вместо ожидавшейся бури, негодующих прерываний моей речи и, может быть, более крупного скандала, на деле даже казаки хранили гробовое молчание. Я совершенно спокойно и беспрепятственно закончил свою речь. Раздались жидкие аплодисменты: в Лужском Совете было мало наших сторонников.

С возражениями выступил приезжий из Питера правый эсер Кузьмин.

Член Совета крестьянских депутатов, он производил впечатление интеллигента старого закала, достаточно насидевшегося в тюрьме и ссылке. Высокий, худой, уже немолодой он отвечал мне тихим и ровным голосом, в спокойном невозмутимом тоне. Без запальчивой резкости, обычно свойственной эсеровским ораторам, он пытался ослабить мою критику временного правительства ссылкой на нашу неспособность в данных условиях улучшить положение вещей. «Если партия большевиков,—говорил Кузьмин,—возьмет власть в свои руки, то удастся ли ей заключить мир с Германией и прекратить экономическую разруху? Я отвечаю—нет!!» Вообще, вся его защита временного пра-

вительства была вялой. Повидимому, он сам чувствовал неизбежность перехода власти в руки большевиков. После Кузьмина взял слово какой-то неведомый моряк, который, стуча кулаком по груди, истерически выкрикивал отдельные безсвязные фразы:

Я сам был на острове Эзеле... я подвергался налету германских аэропланов... я бежал из немецкого плена... и т. д. и т. д.

Из краткого повествования о своих личных военных передрягах, он совершенно нелогично делал оборонческий вывод о необходимости продолжения «войны до конца», «войны до полной победы над Германией». Впрочем, зубодробительно-шовинистический характер речи моряка-оборонца не помешал ему на следующий день подойти ко мне и повести разговор в самых дружественных тонах.

После кровожадного оборонца я вторично потребовал слова. В этой заключительной речи я дал отповедь обоим ораторам соглашательского толка. Меня больше всего поразило то, что враждебная аудитория Лужского Совета хранила флегматичное молчание. Даже в самых «большевистских» местах моей речи, когда приходилось остро касаться больных и злободневных вопросов, никто ни пытался перебить мою речь или вставить злобную, ядовитую реплику. Это настроение удрученности, отсутствие пафоса борьбы, близкое к отчаянию недоверие к своим силам резко бросалось в глаза у наших противников.

В то время как сочувствовавшая нам аудитория повсюду шумно и страстно выражала свои политические чувства, враждебные нам элементы как-то притихли, и даже на своих собраниях, где у них было обеспеченное большинство, они предпочитали отмалчиваться. Конечно, я говорю не об отдельных лидерах соглашательских партий, продолжавших при всех обстоятельствах тянуть одну и ту же ноту, а об эсеровских и меньшевистских массовиках, чувствовавших лучше своих вождей веяние надвигающейся бури. В их рядах ощущался болезненный упадок духа, препятствовавший бурному выражению их несогласий с речами ораторов-большевиков. Запах тления и смерти стоял в зале, где подавляющее большинство скамей было занято эсерами и меньшевиками; моя речь звучала в могильной тишине, как

надгробная эпитафия над этими партиями, доживавшими свои последние дни.

Переночевав в общежитии лужских партийных товарищей, я на другое утро в их сопровождении поехал на окраину города, где была расквартирована артиллерия. «На войне, как на войне». В ожидании сбора митинга, я, уединившись с большевиками-руководителями этой части, — принялся заносить в свою записную книжку сведения о количестве вооружения, о соотношении сил, о настроении солдат. Мы готовились к серьезному решительному бою и поэтому крайне нуждались в подсчете собственных сил и в точном выяснении численного состава и вооружения, находившегося в распоряжении нашего противника—временного правительства.

На заводе Тильманса было 80 членов партии. Из воинских частей наиболее большевистскую репутацию имел 1-й запасный артиллерийский дивизион (1-я батарея—1.200 человек, 2-я батарея—от 1.200 до 1.300 человек и 3-я батарея—400 человек). В каждой батарее имелись большевики, но коллективов образовано не было. В траншейной артиллерии минометного полка (1.500 чел.) большинство было наше, но опять-таки коллектива еще не существовало, хотя для него уже было приготовлено помещение и со дня на день предполагался созыв партийного организационного собрания. В этом минометном полку, среди офицеров, сочувствующим большевикам считался прапорщик Крутов. В команде слабосильных лошадей 1-го кирасирского полка (100 чел.) больше половины солдат сочувствовали нашей партии. Оружейная мастерская и команда слабосильных лошадей (100 чел.) 5-го драгунского полка также были наши. Вооружение 5-го драгунского полка состояло из 20 пулеметов и 2.500 винтовок, но его настроение еще было неопределенное, колеблющееся. Временное правительство могло на него опереться. 4-я тыловая автомобильная мастерская Северного фронта (800 чел.) наполовину сочувствовала большевикам, наполовину — эсерам. Организованных членов нашей партии там было 35 человек. Рабочий батальон 12-й армии, недавно прибывший с Рижского фронта, уже успел избрать в Совет двух большевиков. Как раз в минувшее воскресенье в Луге состоялся митинг артилле-

ристов и автомобилистов, при чем оборонцы были на-голову разбиты. Кроме перечисленных частей, в Луге стояли 2 минометных дивизиона (в каждом дивизионе по 5 батарей, в каждой батарее по 8 минометов. Итого 80 минометов, выбрасывавших $2^1/_2$-пудовые мины). Настроение этой части имело огромное значение, но она еще не выявила своей физиономии. Во всяком случае, в список наших сил мы их не вносили. В постоянном составе артиллерийского дивизиона числилось 1.303 чел., из них 1-я батарея (300 человек с шестью трехдюймовыми орудиями) была определенно настроена против нас. Тем не менее, в лужском гарнизоне наше положение было не безнадежно.

Вскоре нас пригласили на митинг. В большом деревянном сарае все скамейки были усеяны одетыми в «хаки» солдатами. Многие из них, за недостатком мест, стояли сзади, в проходах и по бокам, у выходных дверей. Митинг открыл тот же флегматичный эсер Кузьмин, упавшим голосом сделавший краткий доклад о «текущем моменте». После окончания его сообщения раздались аплодисменты. Затем выступил я. Настроение аудитории было бурным. По крайней мере, когда сидевшие на трибуне члены солдатского комитета—эсеры из вольноопределяющихся—попробовали перебить мою речь враждебными выкриками с места, то аудитория так недоброжелательно их одернула, что они были вынуждены замолчать.

Ясно замечалось непримиримое расхождение между «комитетчиками», почти сплошь состоявшими из «соглашателей», и широкой солдатской массой, уже начавшей безраздельно отдавать свои симпатии большевикам.

Когда «комитетчики»-эсеры задали мне провокационный вопрос: «На какой день ваша партия назначила переворот?» то я ответил, что дня и часа революции никто предсказать не может. Я провел параллель с Февральской революцией, относительно которой также нельзя было с уверенностью сказать, в какой именно день она разразится, между тем как даже обыватели чувствовали ее неминуемое приближение. Точно так же и сейчас, уверенность в неизбежном падении временного правительства носится в воздухе, но никто не может точно фиксировать дату этого радостного события.

Прямота и откровенность, с которой мы, большевики, ставили вопросы о близком перевороте, чрезвычайно привлекали сочувствие солдат. Ораторам-большевикам после каждой их речи устраивались шумные овации. Настроение аудитории, без всяких сомнений, было всецело на нашей стороне.

Эсеры попытались вселить аудитории недоверие и подозрительность на мой счет, задав мне вопрос о целях моего приезда в Лугу. Но это было покушение с негодными средствами. Мне даже не пришлось давать объяснения. Каждый солдат в те дни прекрасно отдавал себе ясный отчет, с какой целью большевики развивают кампанию. На ночевку меня отвели к одному рабочему, занимавшему небольшую квартиру в маленьком одноэтажном доме. Это был пожилой, семейный рабочий, хороший, выдержанный большевик, старый член партии. Он великолепно разбирался в событиях, и разговор с ним был для меня большим удовольствием...

Вернувшись на следующее утро в Петроград, я прежде всего пошел в ЦК, где сделал подробнейший доклад тов. Свердлову об обеих провинциальных поездках. Яков Михайлович, не считаясь со временем, чрезвычайно внимательно отнесся к моему сообщению, вникая во все мельчайшие детали и особенно чутко прислушиваясь к языку цифр, рисовавших реальное соотношение реальных сил. Фактически, в тот период активной подготовки вооруженного восстания, подготовки, проводившейся через посредство военной организации и непосредственно через ЦК, все отдельные нити этой работы сходились к тов. Я. М. Свердлову.

Это был выдающийся, без преувеличения можно сказать, гениальный организатор. С редчайшим психологическим чутьем он быстро схватывал индивидуальные способности каждого работника и направлял его по пути, который более всего соответствовал его силам. Меткие характеристики тов. Свердлова, иногда в двух-трех словах, давали исчерпывающую характеристику того или иного товарища.

Наблюдательность и знание людей почти никогда его не обманывали. Исключительная сила воли, ум, коммунистическое благородство и безграничная преданность делу рабочей борьбы—ставили его в ряды лучших работников нашей партии.

От тов. Свердлова я отправился в военную организацию. Она помещалась тогда на Литейном проспекте между зданием сгоревшего окружного суда и Литейным мостом, в большом доме, выходящем своими боковыми фасадами на Шпалерную улицу и на набережную Невы.

Разыскав тов. Н. И. Подвойского, я с увлечением начал рассказывать ему о моих провинциальных впечатлениях, еще более укрепивших мой оптимизм. Николай Ильич с интересом прослушал то, что я говорил, но затем с озабоченным и печальным видом сообщил, что питерские военные работники, связанные с местными полками, придерживаются пессимистической оценки. Тов. Подвойский предложил мне остаться на заседании военной организации, которое должно было немедленно начаться.

Я согласился, и получил возможность лично убедиться в минорном настроении руководителей Питерского гарнизона. Только отдельные товарищи вносили бодрую ноту в общую, довольно неуверенную, оценку ближайших перспектив. Возможно, что, опасаясь ответственности за многообещающие заявления, большевистские руководители воинских частей невольно сгущали краски, изображая положение в более темных тонах, чем оно было на самом деле. Во всяком случае, это настроение питерских военных большевиков было характерным.

Из «военки», по Шпалерной, я прошел прямо в Смольный. В эти дни кануна Октябрьской революции мне пришлось быть участником многочисленных собраний, почти непрерывно происходивших тогда, как в актовом зале, так и в других помещениях бывшего Смольного института. Особенно врезались в мою память три заседания.

Большой зал Смольного залит огнями огромных люстр. Происходит очередное заседание ВЦИК'а. Председательствует Гоц. Вместо обсуждения стоящих на повестке вопросов, вместо выступлений официальных партийных ораторов, на трибуну всходят, один за другим, прибывшие делегаты фронтовиков. На всем их внешнем виде, на небритом лице, на обросшей волосами, нестриженной голове, на потертой, замызганной шинели, на грязных, давно нечищенных сапогах, лежит отпечаток окопов. В своей речи

все они требуют одного и того же: мира, мира во что бы то ни стало, какой бы то ни было ценой.

— Дайте нам хоть похабный мир,—говорит изможденный, измученный войной солдатский делегат.

Гоц привскакивает с места, хватается за колокольчик, судорожно звонит, но уже поздно. Депутат из траншеи успел сказать все, на что его уполномочили стоящие за ним десятки тысяч фронтовиков.

Некоторые представители солдат читают короткие резолюции, написанные карандашом на грязных, полуоборванных, потершихся на сгибах клочках бумаги. Резолюции требуют мира и указывают предельный срок солдатского терпения: фронтовики угрожают с началом зимы самовольно, всей массой, покинуть окопы. Видно, что армия больше воевать не может, а временное правительство, связанное союзными обязательствами с Антантой, не способно заключить мир.

Речи фронтовых делегатов косвенно подтверждают целесообразность немедленной революции.

Второе заседание. Тот же зал, но при менее парадном освещении. На председательской трибуне вместо Гоца тов. Троцкий. С портфелем под мышкой деловито пробегает, здороваясь на ходу, секретарь Петроградского Исполкома Л. М. Карахан.

Стулья заняты только солдатскими шинелями и гимнастерками: сплошной цвет «хаки». Происходит собрание гарнизонных представителей. Ораторы говорят исключительно в нашем духе. Редко, редко мелькнет на трибуне тень соглашателя, встреченная всеобщим неодобрением. Настроение Питерского гарнизона красноречиво свидетельствует, что он созрел для пролетарской революции и готов постоять за нее.

Третье заседание. Одна из просторных комнат, очевидно, прежде служившая квартирой классной дамы, или дортуаром для институток. Но сейчас здесь происходит секретное собрание ответственных представителей районов. В зал пропускают под строгим контролем. Позади стола, прислонившись к стене, стоит т. А. А. Иоффе. Он берет слово и произносит горячую речь. Он занимает позицию на левом фланге и, как сторонник выступления, поддерживает линию ЦК. Тов. Володарский, видимо, колеблется: его точка

зрения мне не совсем ясна. Но пламенный темперамент трибуна влечет его влево, в сторону немедленной революционной схватки с душителями революции. Затем, берет слово т. Чудновский, этот героический солдат революции, вскоре после октябрьской победы погибший на красном фронте. Поддерживая свою забинтованную, недавно раненую на войне руку, он садится на край председательского стола и прерывающимся от волнения голосом произносит возбужденную речь. Он сомневается в успехе переворота. Он приводит знакомые доводы. Однако большинство аудитории, видимо, не на его стороне. Еще более правый фланг составляет тов. Д. Б. Рязанов. Он решительно против вооруженного выступления. Наконец, я тоже прошу предоставить мне слово. Высказавшись в пользу свержения временного правительства, я признаю серьезность препятствий, стоящих на нашем пути. Вкратце сообщив о положении дел в Новгороде и Луге, я указываю, что Лужский Совет настроен контр-революционно и, в случае занятия Луги войсками временного правительства, охотно отдаст свое Советское знамя в распоряжение врагов пролетарской революции. Таким образом наши враги приобретут возможность соблазнять массы, используя обаяние и ореол Совета.

После меня говорили другие товарищи; собрание затянулось до поздней ночи.

20 октября ЦК назначил мою лекцию в цирке «Модерн», озаглавив ее: «Перспективы пролетарской революции». Тема предоставила мне полный простор для резкой постановки назревшего вопроса о свержении временного правительства. Я широко использовал этот удобный случай и без всяких стеснений, критикуя политику временного правительства, в заключение призвал пролетариат и гарнизон Питера к вооруженному восстанию. Многочисленная толпа рабочих, работниц и солдат, сверху донизу переполнявшая ветхое здание цирка, целиком солидаризировалась со мной.

X. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.

Во время лекции в цирке «Модерн» 20 октября я сильно простудился и слег в постель.—«Поздравляю, революция началась! Зимний дворец взят, и весь Петроград в наших руках»,—возвестил мне утром 26 октября один из товарищей, входя в мою комнату. Я тотчас вскочил на ноги, мысленно послал к чорту лечение и с чувством физического недомогания, с повышенной температурой, устремился в Смольный. Главный штаб пролетарской революции был многолюден, как никогда. Несмотря на упоение первыми победами, все участники Октябрьского переворота живо чувствовали, что революция еще только начинается и предстоит тяжелая борьба. Керенский бежал на фронт—ясно, что он не успокоится и постарается мобилизовать полки, оторванные от бурного кипения всей остальной революционной России. Наконец, можно было ожидать белогвардейской попытки восстания изнутри. Поэтому всем революционерам, способным владеть оружием, приходилось готовить патроны. Этими боевыми приготовлениями больше всего и были озабочены толпы рабочих и солдатских представителей, наводнявших Смольный. Весь Смольный был превращен в боевой лагерь. Снаружи, у колоннады—пушки, стоящие на позициях. Возле них пулеметы. Пулемет внутри, с дулом, направленным в проходную дверь. Почти на каждой площадке, все те же Максимы, похожие на игрушечные пушки. И по всем коридорам—не тот ищущий, надоедливый, плетущийся шаг просителей, к которому привыкли стены Смольного, а быстрая, громкая, веселая поступь солдат и рабочих, матросов и агитаторов. Волны революционного прибоя вливались в широкое устье подъезда, дробились по этажам, разбегались направо и налево по огромным прямым коридорам, рассачивались по сотням комнат, чтобы,

соединившись с кем-то нужным по телефону, найдя искомую справку, получив инструкцию, связавшись с соседним революционно-боевым участком, опять вернуться в общее русло и, помахивая невысохшим, на лету подписанным мандатом, хлопнув ни на минуту не закрывающейся дверью, перескочив через три ступеньки мраморного крыльца, броситься на верховую лошадь, на подножку перегруженного грузового автомобиля, или в бархатное комфортабельное купе закрытого Фиата, готового нести своих случайных, в трепанные шинели и кожаные куртки одетых пассажиров по покрытым жидкою грязью улицам Питера во все концы пролетарской столицы.

По этим же длинным коридорам едва слышно уже стелились неясные слухи о приближении к Питеру верных временному правительству войск. В городе обывательская молва уже творила чудовищные легенды о близкой и неминуемой гибели новой власти, и эти фантастические слухи, молниеносно разносившиеся по всему городу, опьяняли надеждой всю контр-революцию и в первую очередь белогвардейски настроенных юнкеров. Контр-революционная молодежь военно-учебных заведений и два казачьих полка, квартировавших в Питере, сосредоточивали на себе самое пристальное внимание, как огнеопасные, самовоспламеняющиеся реторты внутреннего мятежа.

По лестнице, красневшей нашими плакатами и лозунгами, я поднялся в верхний этаж и, повернув по коридору направо, в одной из боковых комнат нашел товарища В. А. Антонова-Овсеенко. Он сидел, низко склонившись над столом, водя близорукими глазами почти вплотную по бумаге, и что-то бегло писал. Густые и длинные, с легкой проседью волосы свешивались ему на лоб, иногда нависали на глаза, и он часто отбрасывал их назад быстрым, нетерпеливым жестом руки. Окончив свою краткую записку, один из бесчисленных приказов, которые ему пришлось собственноручно написать и подписать в эти исторические дни,— он порывисто вскочил и сам побежал ее передавать кому-то для отправки. На ходу, поправляя очки, он поздоровался со мною. Его утомленные глаза говорили о нервной напряженности работы и выдавали нечеловеческую усталость от бессонных ночей.

— А, здравствуйте, хорошо, что вы пришли, а то я уже начинал думать... и, не договорив шутливой фразы, он потушил улыбку в кончиках книзу опущенных усов.

Неожиданно вошел тов. Ленин. Он был без усов и без бороды, сбритых во время нелегального положения, что, впрочем, не мешало его узнать с первого взгляда. Он был в хорошем настроении, но казался еще более серьезным и сосредоточенным, чем всегда. Коротко переговорив с тов. Антоновым, Владимир Ильич вышел из комнаты.

Вошел запыхавшийся и раскрасневшийся от мороза Бонч-Бруевич.

— В воздухе пахнет погромами. У меня на них особое чутье: сейчас на улицах определенно пахнет погромами. Надо принять необходимые меры, разослать патрули.

Вернулся Ильич. Спросил на лету, как бы между прочим:

— Какие меры вы приняли бы по отношению к буржуазной печати?

Этот вопрос застал меня врасплох. Тем не менее, быстро собравшись с мыслями, я ответил в духе одной из статей Владимира Ильича, как раз незадолго прочитанной в «Крестах», что, по-моему, прежде всего следует подсчитать запасы бумаги и затем распределить их между органами разных направлений, пропорционально количеству их сторонников; тогда я не учел, что это была мера, предлагавшаяся во время режима Керенского, и теперь, после революции, уже устаревшая. Ленин ничего не возразил и снова ушел.

В это время откуда-то получилось известие о наступлении на Питер самокатчиков. Военно-Революционный Комитет командировал меня встретить их отряд, разъяснить положение и призвать его к соединению с восставшими рабочими и солдатами Питера. Предполагалась торжественная встреча, чтобы сердечным товарищеским приемом расположить их в нашу пользу. В соседней комнате, где уже обосновалась канцелярия, был от руки написан на бланке Военного отдела Исполкома Петросовета следующий мандат: «Военно-Революционный Комитет делегирует тов. Раскольникова для встречи войск, прибывающих с фронта, на Варшавский вокзал и назначает его комиссаром прибывающих войск». Мандат подписал тов. Н. Подвойский.

Я направился на Варшавский вокзал и в пассажирском поезде скоро добрался до Гатчины. Здесь никаких самокатчиков не было. Тогда, в поисках этих таинственных самокатчиков, я пошел на Гатчинский вокзал Балтийской железной дороги. Подходя к вокзалу, я заметил пару круживших в небе аэропланов Гатчинской авиошколы. Но на путях было пусто. У железнодорожного сторожа я осторожно позондировал почву насчет проходивших эшелонов. Он спокойно ответил, что никаких воинских поездов в сторону Петрограда не проходило. На товарной и пассажирской станциях тоже никто не имел никакого понятия о движении войск. Вся Гатчина произвела на меня впечатление более, чем мирного—просто сонного городка. Тревога оказалась ложной. Прождав около часу, я на первом попутном поезде уже в сумерки вернулся в Питер. Сделав отчет о результатах поездки, я поспешил в большой актовый зал на заседание съезда Советов. В зале ярко горели все люстры и боковые огни. И первое, что бросилось в глаза, это специфически-народный, рабоче-крестьянский состав съезда.

В то время как на заседаниях меньшевистско-эсерского Совета и на первом съезде Советов «выпирала» интеллигенция, блестели погоны офицеров и военных врачей, раздавались иностранные слова и парламентские обороты, здесь была однообразная черно-серая масса рабочих пальто и пестревших защитными пятнами солдатских шинелей. Я никогда не видел более демократического собрания.

В перерыве, прогуливаясь с Семеном Рошалем по одному из бесконечных коридоров, я заметил, что он обменялся поклоном с товарищем, носившим черные усы и небольшую остроконечную бороду.

— Кто это?—невольно спросил я, первый раз видя товарища, которому любезно поклонился Рошаль.

— Как, ты не узнаешь? Да ведь это тов. Зиновьев.

Я был поражен необычайным изменением наружности тов. Зиновьева. В то время как бритая внешность Ленина все же с первого взгляда обнаруживала его знакомые черты, Зиновьев был буквально неузнаваем. Встретясь с ним в таком виде на улице, я бы ни за что не узнал его.

Когда мы с Семеном вышли из Смольного на двор, разыскивая там свой автомобиль, к нам быстро подошел тов.

Володарский и, взяв нас под руки, взволнованно сказал:— «У меня к вам дело,—пойдемте». Он подвел нас к закрытому автомобилю, в котором уже сидел тов. Шатов, анархо-синдикалист, с первого дня революции дружно работавший с нами. Мы все сели в автомобиль и поехали в казармы Егерьского полка. В пути Володарский рассказал, что Егерьскому полку необходимо немедленно выступить в поход на царскосельский фронт, и нам следует его «раскачать».

В казармах мы разыскали дежурного и предложили ему срочно разбудить членов полкового комитета и ротных представителей. В связи с нашей победой в Питере, положение было таково, что, независимо от политических симпатий ночного дежурного, он не мог отказаться от такого поручения. Часы показывали два ночи. Но, несмотря на позднее время, быстро собралось около 50-ти товарищей. Перед этой небольшой аудиторией первым выступил тов. Володарский. Он произнес одну из своих самых блестящих и талантливых речей. Это необычайно подняло настроение солдатских делегатов и создало благоприятную для последующих ораторов атмосферу. Тов. Володарский обрисовал политическую обстановку, отметил критическое положение революционных завоеваний, ознакомил товарищей с первыми декретами Советской власти, разъяснил их колоссальное значение для рабочих и крестьян и в заключение призвал славный Егерьский полк к защите революции. После тов. Володарского также с большим воодушевлением говорил тов. Шатов. Наконец собрание закрылось выступлениями Рошаля и моим.

Присутствовавшие на собрании товарищи, увлеченные искренним чувством ораторов, разошлись по ротам, поклявшись немедленно вывести полк на аванпосты революции. И они сдержали свое слово. Ранним утром полк, действительно, выступил на фронт.

27 октября я явился в штаб Петроградского Военного округа. Здесь главная работа сосредоточивалась в руках Чудновского. С рукой на перевязи от полученной на фронте раны, нервный, необычайно подвижной, он ни одной минуты не оставался в покое. Едва подписав какую-нибудь бумагу, он спешил к телефону или бросался к ожидавшим его посетителям. Чудновский был героем революции, рыцарем без страха

и упрека. Чудновский, не переставая быть вдумчивым и осторожным работником партии, никогда не терял свою трезвость и уравновешенность политического бойца, он вместе с тем горел каким-то романтическим чувством. Всю жизнь я буду помнить лицо Чудновского, бледное от непрестанного внутреннего сгорания, с капельками пота на высоком лбу, еще не успевшем остыть от творческого жара, измученного и счастливого. Как известно, впоследствии в 1918 г. тов. Г. И. Чудновский геройски погиб на Южном фронте.

Утром 27-го мне нужно было узнать у тов. Чудновского положение на фронте, где, по слухам, Керенский формировал экспедиционный корпус для похода на Петроград. Но в штабе округа, как и в Смольном, точных сведений еще не было. Какой-то молодой офицер Измайловского полка уславливался с тов. Чудновским относительно своей поездки в Гатчину. Он командировался туда для выяснения военной обстановки и для организации гатчинской обороны. Ему предстояло немедленно выехать, автомобиль уже был приготовлен. Меня тоже тянуло на боевой фронт,—в Питере, как мне казалось, нечего было делать. Я вызвался поехать к измайловцам для организации политической работы. Кроме того, я рассчитывал, что в случае неустойчивости войск Керенского, путем разъяснения действительного положения в Питере, их удастся перетянуть на нашу сторону. Тов. Чудновский сочувственно отнесся к моему предложению.

Прежде всего мы заехали в Измайловский полк. В помещении полкового комитета, как сонные мухи, одиноко бродили гвардейские офицеры в состоянии полной растерянности.

Члены полкового комитета отсутствовали; создавалось впечатление, что его не существует вовсе. Впрочем, возможно, что так и было на самом деле: старые члены разбежались, большевики еще не были избраны. Измайловский полк имел репутацию одного из самых отсталых. Наспех закончив несложные дела, мы с измайловцем прямо из казарм отправились за Нарвскую заставу и мимо Путиловского завода поехали в Гатчину.

Странное впечатление производил мой спутник: по внешности, по кругозору он был типичный гвардейский по-

ручик старорежимных времен, что, однако, не помешало ему с головой окунуться в революцию в жажде кипучей работы. Неизвестно, чем именно, и с какой стороны захватило его движение. Вероятнее всего дело решил простой случай. С таким же увлечением он мог бы работать и на стороне белогвардейцев. Но было что-то детски наивное в этом служении пролетарской революции молодого, изящного офицерика, который, едва сознавая смысл происходящих событий, до самозабвения работал против своего собственного класса. Такие славные оригиналы, выходцы из чуждого нам класса, встречались тогда редкими одиночками.

Возле Красного Села выбежавшие на дорогу солдаты знаками остановили автомобиль. Тов. Левенсон, «межрайонец»-интеллигент, руководивший большевистским движением в Красном Селе и в частности в 176-м запасном полку, где он служил вольноопределяющимся, подошел к нам и сообщил о занятии Гатчины войсками временного правительства. В Красном Селе наших войск не было, если не считать местного 176 запасного полка, целиком стоявшего на страже Октябрьской революции и в любой момент готового вступить в бой с бандами Керенского.

Кроме постоянных красносельских партийных, советских и полковых организаций, здесь не было никакого штаба, способного принять на себя руководство военными операциями в сколько-нибудь широком масштабе. По совету тов. Левенсона, мы направились в Царское Село, где всего естественнее было ожидать хотя бы подобия оперативного центра. Но там тоже еще не было никакой организации. В местном военном штабе одиноко сидел полковник Вальден, симпатичный, пожилой офицер, отдававший по телефону свои, едва ли исполнявшиеся, приказания. Полученное на войне тяжелое ранение ноги позволяло ему передвигаться только опираясь на палку. Тов. Вальден был одним из первых военспецов, честно послуживших Советской власти. Его имя не пользовалось широкой известностью ни до, ни после Октябрьской революции. Но в самый тяжелый ее момент, когда нас преследовали временные неудачи, угрожавшие погубить все дело, этот скромный военный работник самоотверженно и бескорыстно пришел нам на по-

мощь своими военными знаниями и всем боевым опытом штаб-офицера.

Но в тот момент мы застали тов. Вальдена одного: вокруг него не было абсолютно никакой организации. Оставив ему в помощь измайловского офицера, я в автомобиле тов. Ульянцева вернулся для доклада в Питер. Тов. Ульянцев, матрос-кронштадтец, старый каторжанин, был в Царском Селе по поручению военной организации и теперь возвращался в Питер. Мы ехали в темноте, в атмосфере пронизывающей серой слякоти, под частой сеткой скучного дождя. Противная погода и невеселые сведения, собранные в Красном и Царском Селах, не располагали к оптимизму, но мы оба не теряли уверенности в том, что таинственный завтрашний день даст победу русскому пролетариату. Тов. Ульянцев, вообще большой энтузиаст, нисколько не сомневался в будущем, хотя от его внимания, конечно, не ускользали дефекты нашей организации. Трагична была дальнейшая судьба тов. Ульянцева. В 1919 году, когда в тылу буржуазно-националистического муссаватского Азербайджана, на Мугани образовалась Советская власть, тов. Ульянцев был одним из самых активных руководителей. Незадолго до падения Мугани тов. Ульянцев, командовавший Красными войсками, доблестно погиб на поле сражения в борьбе за мировую революцию.

После получасовой езды наш автомобиль остановился у штаба военного округа. Несмотря на поздний час, все окна были ярко освещены. В одной из комнат этого обширного военно-чиновничьего дома происходило заседание активных работников «военки» под председательством тов. Н. И. Подвойского. Мы с Ульянцевым сделали доклад о безрадостном положении на фронте. Тотчас были приняты решения о срочной отправке броневиков. Одновременно, ввиду недостаточности этой меры, было постановлено ускорить формирование рабочих отрядов и отправление на фронт рабочих полков.

Едва кончилось заседание, как я был вызван т. Лениным.

Владимир Ильич сидел в большой комнате штаба округа, на конце длинного стола, который обычно покрывался зеленым или красным сукном, но сейчас зиял своей грубой деревянной наготой. Это придавало всей комнате нежилой,

неуютный вид обиталища, только-что брошенного своими хозяевами. Кроме Ленина, в этой пустой и унылой комнате находился Троцкий. На столе перед Ильичем лежала развернутая карта окрестностей Питера.

— Какие суда Балтийского флота вооружены крупнейшей артиллерией?—с места в карьер атаковал меня Владимир Ильич.

— Дредноуты типа «Петропавловск». Они имеют по двенадцати двенадцати-дюймовых орудий в 52 калибра, в башенных установках, не считая более мелкой артиллерии.

— Хорошо,—едва выслушав, нетерпеливо продолжал Ильич,—если нам понадобится обстреливать окрестности Петрограда, куда можно поставить эти суда? Можно ли их ввести в устье Невы?

Я ответил, что, ввиду глубокой осадки линейных кораблей и мелководья Морского канала, проводка столь крупных судов в Неву невозможна, так как эта операция имеет шансы на успех лишь в исключительно редком случае весьма большой прибыли воды в Морском канале.

— Так каким же образом можно организовать оборону Петрограда судами Балтфлота?—спросил тов. Ленин, пристально глядя на меня и настораживая свое внимание.

Я указал, что линейные корабли могут стать на якорь между Кронштадтом и устьем Морского канала примерно на траверзе Петергофа, где, помимо непосредственной защиты подступов к Ораниенбауму и Петергофу, они будут обладать значительным сектором обстрела в глубь побережья. Тов. Ленин не удовлетворился моим ответом и заставил меня показать на карте примерные границы секторов обстрела разнокалиберной артиллерии. Только после этого он несколько успокоился.

Вообще, в этот день Владимир Ильич был в необычайно повышенном нервном состоянии. Занятие Гатчины белогвардейцами, видимо, произвело на него сильное впечатление и внушило ему опасения за судьбу пролетарской революции. В течение всей беседы т. Троцкий не проронил ни слова.

— Позвоните по телефону в Кронштадт,—обратился ко мне тов. Ленин,—и сделайте распоряжение о срочном формировании еще одного отряда кронштадтцев. Необходимо

мобилизовать всех до последнего человека. Положение революции в смертельной опасности. Если сейчас мы не проявим исключительной энергии, Керенский и его банды нас раздавят.

Я попытался вызвать Кронштадт, но ввиду позднего времени не мог дозвониться. Владимир Ильич предложил мне связаться с кронштадтскими товарищами по Юзу. Мы вошли в телеграфную комнату, где неугомонно жужжали прямые провода. Облокотившись на стол одного из бесчисленных аппаратов, стоял тов. Подвойский. Мы подошли к нему. Мысли невольно были устремлены на фронт, где сейчас решалась судьба революции. После известия о взятии Керенским Гатчины, никаких существенных сообщений с боевого фронта не поступало. Падение Гатчины всеми переживалось тяжело. Однако, все знали, что в ближайшие дни необходимы безграничное напряжение, колоссальная работа по организации стойкого вооруженного сопротивления, массовый уход на фронт всех боеспособных элементов Питера и окружающих его городов.

— Да, теперь положение таково, что либо они нас, либо мы их будем вешать—сказал тов. Подвойский.

Никто ему не возражал.

Моя попытка связаться с Кронштадтом по прямому проводу также не увенчалась успехом.

— Ну, хорошо, вот что,—ответил мне Владимир Ильич, когда я доложил ему об этом,—поезжайте завтра утром в Кронштадт и сами сделайте на месте распоряжения о немедленном сформировании сильного отряда с пулеметами и артиллерией. Помните, что время не терпит. Дорога каждая минута...

* * *

Ранним утром 28 октября я был в Кронштадте. Пустынные улицы этого казарменного города обнаруживали, что Питер и Гатчинский фронт уже выкачали из Кронштадта значительную массу бойцов.

В Кронштадтском Совете я нашел засилье левых эсеров. Пленум Совета, где огромное, подавляющее большинство состояло из членов нашей партии, в эти дни не созывался. Но его исполнительный аппарат кипуче работал. И вот

именно здесь, ввиду ухода на фронт всех активных коммунистов, главными действующими лицами внезапно для самих себя очутились левые эсеры. Несмотря на то, что в Исполкоме их было меньшинство, однако в эти революционные дни они поднимали много шуму: с увлечением звонили по телефону, с горячностью отдавали какие-то распоряжения, самодовольно и не без важности разговаривали с посетителями, одним словом, пребывали в полном упоении своей новой ролью. Особенно суетились Горельников и Кудинский. Горельников, довольно полный матрос, выше среднего роста, с бритым лицом и курчавой шевелюрой, играл роль центрального лица и распоряжался снабжением кронштадтских отрядов. Другой левый эсер, Кудинский, имел вид штабного писаря. Залихватски закрученные кверху черные усики, темные, блестящие глаза, театрально накинутая шинель и высокая, заломленная на-бок папаха придавали ему кокетливый вид шоколадного солдатика. Он широко афишировал свои сборы на фронт, производил какие-то военные приготовления, именовал себя начальником отряда.

Эти полукомические персонажи не могли быть признаны благоприятными исполнителями ответственного поручения, возложенного на меня тов. Лениным. Поэтому я решил воспользоваться своими личными связями и принялся непосредственно отдавать распоряжения по фортам.

Настроение и вооружение отдельных частей было мне достаточно хорошо известно, чтобы самостоятельно справиться с задачей и двинуть на фронт лучшие силы.

Прежде всего я позвонил на Красную Горку. К телефону подошел комиссар этого крупнейшего форта тов. Донской. Я информировал его о критическом положении на Красновском фронте и просил в срочном порядке выслать в Питер все наличные резервы, подкрепив их достаточно сильной артиллерией. Точно такое же приказание я сделал по телефону комиссару форта Ино, расположенного на финляндском берегу залива. Оба комиссара обещали в самый короткий срок снарядить соответствующие пехотно-артиллерийские отряды.

Закончив Кронштадтские дела, я, не теряя ни минуты, поспешил обратно в Питер. На том же катере ехала

Людмила Сталь. Помню, она показала мне очередной номер эссровской газеты «Дело Народа», где был напечатан грозный приказ казачьего генерала Краснова, возвещавший поход на Петроград и призывавший столичный гарнизон к полному повиновению власти временного правительства.

Проходя Морским каналом, я заметил крупный силуэт учебного судна «Заря Свободы». Когда я пристал к борту, ко мне спустился по трапу комиссар корабля матрос Колбин. Я спросил его о заданиях, полученных «Зарей Свободы». Он объяснил, что кораблю приказано производить обстрел банд Керенского, в случае их приближения к Петрограду. Однако выяснилось, что таблиц стрельбы на корабле не имеется. Так как огонь пришлось бы открыть по невидимой цели и без всякого наблюдения, то ясно, что стрельба должна была явиться совершенно недействительной. Да и само по себе учебное судно «Заря Свободы» (бывший броненосец береговой обороны «Император Александр II»), несмотря на свои двенадцать двенадцатидюймовых орудий в 40 калибров, представлял собою такую старую галошу, что его стрельба по берегу боевого значения иметь не могла. Единственный смысл вывода неимоверно устарелого корабля на позиции в Морском Канале заключался в том, что его грозный вид мог послужить стимулом морального подъема питерских рабочих и солдат. Впрочем, ничего лучшего Кронштадт предложить не мог, так как тогда главные силы Балтфлота были сосредоточены в Гельсингфорсе.

В Питере я прежде всего зашел на посыльное судно «Ястреб», только в этот день ошвартовавшееся у набережной Васильевского Острова. На «Ястребе» находился штаб кронштадтских отрядов. Здесь были И. П. Флеровский и П. И. Смирнов. Кроме них, в состав руководителей штаба входил вольноопределяющийся Гримм, молоденький левый эсер, впоследствии принявший активное участие в восстании Красной Горки против Советской власти во время первого наступления Юденича, весной 1919 г. Но в октябре 1917 года он производил приличное впечатление и тогда еще стоял на платформе Октябрьской революции.

Наконец, здесь же на «Ястребе» можно было видеть, как горячился в спорах анархо-синдикалист Ярчук, вообще очень дружно работавший с нами. Он с энтузиазмом поддерживал низвержение буржуазии, рассматривая это событие, как неизбежный этап на пути к царству анархии. Я вкратце рассказал товарищам о результатах моей поездки. Вскоре откуда-то появился Сима Рошаль, и, захватив с собой Ярчука, мы в закрытом автомобиле поехали в Смольный.

Еще отчетливее, чем когда-либо прежде, здесь чувствовалась непосредственная близость фронта. Все дышало лихорадочной, чисто-боевой напряженностью. Вдоль выбеленных сводчатых коридоров недавнего института «благородных» девиц сновали беспрерывные вереницы вооруженных рабочих в штатском пальто, но в полном походном снаряжении, с пулеметными лентами, крест-на-крест переплетавшими спину и грудь. Серьезная, вдумчивая сосредоточенность их напряженных лиц, непроницаемая молчаливость и судорожное сжимание винтовки—обличали тревожное, неустойчивое положение новорожденной Советской республики.

В самом деле, едва мы вошли в первую попавшуюся комнату, как нас оглушила жуткая новость: «Царское Село занято бандами Керенского-Краснова». Судьба революции подвергалась смертельной опасности. Эту новость нам сообщил тов. Н. И. Подвойский, который от волнения выглядел бледнее обыкновенного. Я прошел в следующую совершенно пустую комнату, где за единственным небольшим столом сидел согнувшись над картой тов. Н. В. Крыленко и показывал начальникам уходивших на фронт отрядов назначенные им боевые участки. Отпустив торопившихся на позиции красногвардейских командиров, Н. В. обернулся ко мне. Я рассказал ему, что с нетерпением жду кронштадтцев, чтобы вместе с ними отправиться на защиту Питера.

Тов. Крыленко снова склонился над картой окрестностей Питера и показал мне черневшую там точку: «Вот ваше место. Это около Царскосельской железной дороги. Здесь имеется мост, который вам и придется защищать». Я предупредил главковерха, что время прибытия кронштадтцев в точности еще неизвестно, а потому до занятия ими указан-

ных позиций, в данном месте окажется зияющая брешь. Тов. Крыленко кивнул головой. Его внешний вид и с трудом повиновавшаяся ему речь свидетельствовали о нечеловеческом утомлении. Все мы в эти дни ходили и работали почти в сомнамбулическом состоянии и, вероятно, если взглянуть на нас со стороны, походили на полусумасшедших.

Из Смольного я возвращался на автомобиле с полковником Муравьевым, который при Керенском формировал ударные батальоны, а, впоследствии, летом 1918 года командовал Восточным фронтом, но изменил Советской власти и был убит в Симбирске. В Октябрьские дни он принимал участие в командовании красными войсками. Муравьев ехал со мной недолго — всего до Сергиевской улицы, где находилась его квартира, но все же я успел уловить его настроение. Когда я заговорил с ним о положении на фронте у Царского, он мне ответил подавленным голосом, в тоне которого чувствовалась полнейшая растерянность и неуверенность в нашей победе: «Что ж, дела очень плохи. Вероятно, Петроград будет взят».

* * *

Ночь с 28 на 29 октября я провел у кронштадтцев, на «Ястребе». Утром я собирался в Смольный, чтобы предупредить тов. Крыленко, что, вопреки ожиданиям, порученные мне сводные отряды кронштадтских фортов еще не прибыли. Уже садясь в автомобиль, я узнал о восстании юнкеров. Были получены сведения, что офицеры и юнкера, заняв гостиницу «Асторию», обстреливают оттуда наших пулеметным и ружейным огнем. Рошаль сейчас же вызвался вместе с другими моряками итти на штурм «Астории». В Смольном я встретил Подвойского, который сообщил о разрастающемся восстании юнкеров и, между прочим, сказал, что у Смольного нет никакой связи со штабом округа, ввиду чего он попросил меня съездить туда и по телефону сообщить ему, чтó именно там происходит.

На улицах, казалось, ничто не свидетельствовало об юнкерском восстании. Повсюду, где я проезжал, текла мирная, будничная жизнь. Но когда я подъехал к штабу округа, на Дворцовой площади, мне бросилось в глаза какое-то

зловещее затишье. Площадь перед Зимним дворцом напоминала пустыню. Не видно было даже отдельных, случайных пешеходов, обычно нередких в эти часы. В штабе округа, внутри подъезда, стоял пулемет Максима. Около него возилась группа солдат. Я поднялся вверх по лестнице. Огромное здание, с бесконечной амфиладой комнат было совершенно пусто, как вымерший или покинутый дом. Только кое-где слонялись редкие фигуры курьеров и штабных писарей, с вялым и сумрачным видом. Никого из ответственных работников я не встретил. В это время кто-то из случайно проезжавших по Морской рассказал о занятии юнкерами телефонной станции и об аресте на его глазах ехавшего на автомобиле Антонова-Овсеенко. Я позвонил в Смольный, вызвал тов. Н. И. Подвойского и сообщил ему о полученных сведениях. Из его слов можно было понять, что он уже знал об этом. Но все же он сообщил, что дела идут хорошо и восстание скоро будет ликвидировано. Мне показалось, что нас подслушивают и, поэтому, когда после окончания разговора тов. Подвойский повесил трубку, я свою задержал еще у самого уха. И, действительно, я отчетливо различил отдаленный голос, кому-то услужливо сообщавший: «сейчас Раскольников вызывал Подвойского». Затем последовала точная передача наших переговоров. Не было никаких сомнений, что юнкера, владевшие телефонной станцией, давали нам сноситься между собой с целью подслушивания наших разговоров. Мы условились с тов. Подвойским, что пока я останусь в штабе. Я собрал нескольких писарей, посадил их за машинки, а одного, наиболее смышленного, назначил своим секретарем, и работа закипела. Откуда ни возьмись, появились посетители, стали приходить начальники частей, нужно было давать им словесные указания, подписывать распоряжения или заготовлять документы. Ввиду близости штаба округа от телефонной станции, я ждал визита юнкеров и поэтому принял меры по обороне здания. В первую вырвавшуюся свободную минуту я позвонил своему брату Ильину-Женевскому, который в то время состоял комиссаром в Гренадерском полку. Меня интересовало положение на Петербургской стороне, в районе его полка, так как именно там были сосредоточены Владимирское и Павловское военные училища. Брат ответил, что он только что воз-

вратился с осады Владимирского училища, что восстание ликвидировано, юнкера арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость.

Вскоре ко мне явился молодой подпоручик и отрекомендовался представителем отряда, только что прибывшего с форта Ино. Он явился в штаб округа за получением инструкций. Это был один из тех отрядов, прибытия которых я ожидал с таким огромным нетерпением. Передав штаб одному из товарищей, я вместе с прибывшим офицером устремился к отряду, на Финляндский вокзал. Уже сгущались сумерки, когда среди вагонов, на одном из запасных путей, мы разыскали долгожданный отряд форта Ино.

На открытых платформах рельефно выделялись поднятые к небу дула орудий. Оказывается, товарищи привезли с собой две трехдюймовых полевых батареи, то есть целых восемь орудий. Какая радость! Комиссаром отряда был молодой, но толковый, служивший на форту Ино, солдат крепостной артиллерии, которого я знал по Кронштадтскому Совету, где он состоял членом нашей фракции. Командир отряда—прапорщик запаса, средних лет, веселый и добродушный, производил впечатление «отца-командира». Он абсолютно ничего не понимал в политике, но честно следовал за своими солдатами и они его очень любили. Он отправлялся воевать против казачьих банд Керенского-Краснова в том настроении возбужденной приподнятости, в котором ехали на фронт империалистической войны кадровые офицеры. Я заявил, что поеду вместе с отрядом на фронт, и распорядился, чтобы эшелон был перекинут на Московско-Виндаво-Рыбинскую жел. дорогу. Долгое время нам не подавали паровоза. Очевидно, действовал «викжелевский» саботаж. Наконец, поздно вечером паровоз прицепили, и мы поехали. Очень медленно и с частыми остановками наш поезд передавался по соединительной ветке, включавшей Финляндскую дорогу в общую сеть Российских железных дорог. Глубокой ночью мы приехали на Большую Охту и остановились перед большим железнодорожным мостом. Предстояла передача состава на противоположный берег Невы.

В наш вагон третьего класса, тускло освещенный огарками, вошел железнодорожный служащий и спросил начальника эшелона. Ему указали на меня. «Мною только что

получена по телеграфу служебная записка с категорическим приказанием развести мост, чтобы задержать ваш состав,— заявил железнодорожник,—но я этого не исполнил. Я знаю, что вы за рабочих. Пускай потом меня за это повесят, но через мост я вас все-таки пропущу». Мы крепко пожали руку честному товарищу и от души поблагодарили его за преданность пролетарскому делу.

Едва мы успели задремать, как нас разбудили. Оказывается, эшелон прибыл на пересечение соединительной ветки с линией, ведущей в Царское Село. За окнами еще стояла густая тьма. Выйдя из вагона, мы направились в партийный районный комитет Московской заставы. Несмотря на ранний час, так как дело происходило перед рассветом, в райкоме шла оживленнейшая работа. Почти весь райком был на ногах. Здесь распределялось оружие, выдавались патроны, формировались красногвардейские части, отдавались распоряжения. Одним словом, это был крупный тыловой штаб. Мы узнали, что положение на фронте—без перемен. Красновские казаки продолжали занимать Царское, но мы по прежнему удерживали за собой Пулково, где в настоящее время находился наш боевой штаб. Прибытие орудий сильно подняло настроение товарищей из райкома. Я попросил перевозочных средств для поездки в Пулково за боевым приказом. Комитет охотно предоставил небольшой грузовик. У меня не было патронов для браунинга. Заведующий вооружением, пожилой рабочий, немедленно достал из шкафа две аккуратных, кубической формы, коробочки с 25 патронами в каждой. Комиссар остался с отрядом, а командир взгромоздился ко мне на грузовик. Вместе с нами поехали в штаб двое членов райкома.

Дорога была грязная, скользкая, липкие комья земли разлетались во все стороны из-под колес автомобиля. Рассвет застал нас уже в пути. Полевой штаб помещался в одноэтажном деревянном доме, внутри которого большая комната была перегорожена невысоким барьером; очевидно, это здание принадлежало казенному присутствию или почтовой конторе. В комнате, на полу, лежали, подостлав под голову шинели и полушубки, солдаты и красногвардейцы, около них стояли прислоненные к стене винтовки. Перешагнув через целую вереницу спящих тел, мы проникли за барьер и подошли к дере-

вянному столу, на котором коптела убогая керосиновая лампа и беспорядочно были разбросаны объедки черного хлеба, остатки скудного, наспех проглоченного ужина. За столом, посреди которого была развернута карта, бодрствовал Вальден. Напротив него, облокотившись на руку, дремал тов. Дзевалтовский. При нашем появлении он вздрогнув, проснулся. Трудно сказать, какую роль он выполнял в штабе. Возможно, что он был приставлен к Вальдену в качестве комиссара, но так как функции комиссара и командира в то время были неразграничены, то он зачастую вмешивался в оперативные приказания. Вальден в этом случае сконфуженно умолкал. А, впрочем, скорее всего он был назначен военно-революционным комитетом в качестве помощника Вальдена или начальника его штаба.

Как бы то ни было, они оба обрадовались приходу на фронт двух батарей. Видно, в артиллерии была большая нужда. Собрав подробные сведения о нашей части, об ее боеспособности, о наличном запасе снарядов, Вальден дал боевой приказ об установке орудий на Пулковских высотах. Снова усевшись на автомобиль, мы двинулись обратно. В пути нам пришлось принять первое боевое крещение. Едва только мы выехали из села на открытое место, нас принялась обстреливать неприятельская батарея. Первые снаряды давали солидные перелеты, которые постепенно стали уменьшаться; затем, следующее облачко шрапнели появилось возле самого шоссе, отмечая собой маленький недолет. Было ясно, что мы захвачены в «вилку». По «целику» также стрельба велась правильно. Я стал ожидать «попадания». Но в этот момент пушка замолкла. «Еще один выстрел, и мы все склонили бы головы»,—произнес прапорщик, командир отряда.

Делясь впечатлениями, мы незаметно въехали в рабочее предместье Питера. Все жители Московской заставы были на ногах. Жены рабочих торопливо шли за провизией или спокойно стояли у ворот, с любопытством наблюдая необычное оживление. Красногвардейские отряды с развернутыми знаменами один за другим спешили на фронт. На улицах встречались только пожилые рабочие. Лишь изредка попадались молодые парни. Почти вся боеспособная рабочая молодежь была под Царским Селом.

Снова райком, деловитая, несуетливая спешка, расспросы о положении дел на фронте. Члены райкома высказали мнение, что если войска Керенского войдут в Питер, то придется их встретить на баррикадах, перенеся борьбу на улицы города.

Прибывшие с форта Ино товарищи, собравшись в поход по-военному, не захватили с собой ни одной смены белья и сильно страдали. Они обратились ко мне с соответствующей просьбой. Я отправился в огромные интендантские склады, расположенные за Московской заставой, но главный комиссар этих складов тов. Лазимир отсутствовал. Без него раздобыть чистое белье, к сожалению, не удалось и товарищам пришлось итти на фронт в чем они были. Тем временем наши орудия тронулись в путь по Царскосельскому тракту. С каждым оборотом колес их лафетов на душе становилось легче.

Вскоре, в рабочий штаб района Московской заставы пришел Сима Рошаль. Нужно было спешить в Пулково. На старом грузовике мы двинулись в путь. В дороге, незадолго до наступления сумерек, нам встретился Волынский полк, самовольно ушедший с позиции. Он шел вразброд, длинной лентой растянувшись по краю шоссе. «В февральскую революцию был первый, а сейчас последний»,—невольно мелькнуло у меня в голове. Сима не имел определенного назначения, а поэтому немедленно слез с грузовика и остался призывать солдат к возвращению на позиции. Как я узнал впоследствии, его миссия увенчалась успехом.

Прибыли в Пулково. Батареи устанавливались на склоне Пулковских холмов, довольно круто спускающихся в сторону Кузьмина и Царского Села. Еще в момент установки наша артиллерия была обстрелена орудийным огнем неприятеля. Пришлось срочно отпрячь лошадей с передками, а трехдюймовые пушки ввести в активное действие. Всеми операциями, до управления огнем включительно, руководил лихой командир батареи. Удачные попадания опытных артиллеристов форта Ино, с одной стороны, и наступившая темнота, с другой, быстро прекратили эту преждевременную дуэль. Командир-прапорщик заметно повеселел и в приподнято-бодром настроении радовался успехам истекшего дня. Тут же, на фронте, я услышал рассказы о героиче-

ских подвигах отряда моряков, сражавшегося на фронте под командой нашего старого кронштадтца, матроса службы связи В. М. Зайцева. Здесь же, на позициях, кто-то сообщил глубоко взволновавший меня слух, упорно циркулировавший в тот вечер на Пулковском фронте. По этой версии, Троцкий и Луначарский только что приезжали в Пулково, при чем передавались даже такие детали, что их автомобиль снаружи был отделан соломенной плетенкой. И будто на обратном пути вблизи автомобиля разорвался снаряд, при чем тов. Луначарский был убит наповал одним из осколков, попавших ему в голову, а тов. Троцкий едва успел уехать, отделавшись только потерей шляпы.

Обилие красочных деталей придавало рассказу правдоподобный вид. Подобно многим другим, я поверил этому слуху и оплакивал погибшего товарища. Велика была моя радость, когда на следующий день я воочию увидел живого Луначарского. Очевидно, подобные легенды сознательно фабриковались врагами с целью создания паники и уныния в наших рядах. Под тяжелым впечатлением этого слуха, мы покинули Пулковские позиции и вошли в какую-то крестьянскую избу. Наступление ночи давало нам передышку до раннего утра. Поужинав солдатскими мясными консервами, мы вповалку легли спать на полу и на крестьянских полатях.

* * *

С раннего утра, 31 октября, славным батареям форта Ино пришлось отбивать атаки неприятельской кавалерии. Красновским казакам не только не удалось захватить наших позиций, но им, вообще, пришлось с потерями отступить в исходное положение.

Около полудня встретил одного из кронштадтских артиллерийских офицеров—тов. Юрьева. Он пригласил меня пить чай к себе в избу, в которой он остановился. Старик-крестьянин, владелец хорошо сколоченной избы, при виде разрыва падавших поблизости снарядов, кряхтя, проворчал: «Господи-боже, какие ужасы. И когда только все это кончится?»—«А вот, разобьем Керенского, тогда и кончится», — задорно ответил я. Старик горестно покачал головой. Этот «кулачок», видно, слабо разбирался

в политике, но, дрожа за свою шкуру и за свое добро, искренно желал прекращения боевых действий, или, по крайней мере, их перенесения в другое, более отдаленное место. Однако никакой вражды со стороны крестьян не замечалось,—быть может, из боязни нашей вооруженной силы. Наоборот, в эти дни кулачество прилежащих к Питеру деревень, скрывая свои истинные настроения, из кожи лезло вон, чтобы оказать нам гостеприимство. Нечего и говорить, что крестьянская беднота, особенно в лице своей молодежи, не только за страх, но и за совесть была на стороне Советской власти.

После полудня, на фронт приехал из Питера тов. Подвойский. Шел промозглый дождь. Шоссе было покрыто неимоверной грязью. Я встретил тов. Подвойского, когда он, шагая через лужи, пробирался в штаб. Николая Ильича сопровождало несколько офицеров-большевиков, активных членов нашей «военной организации». Он приехал в Пулково для наблюдения за ходом операций, так как около этого времени был назначен военно-революционным комитетом на должность командующего войсками. Пробыв некоторое время в штабе, Подвойский, ввиду срочности дел, ожидавших его в Смольном, должен был вернуться. Немного позже я также поехал в Питер. В Смольном, в военно-революционном комитете, в его текущей работе наибольшее участие принимали тогда, как мне показалось, А. А. Иоффе и покойный, безвременно погибший от руки эсеровского убийцы, М. С. Урицкий.

* * *

Ранним утром 1 ноября, я уже возвращался в Пулково.

Еще подъезжая к Пулкову, я узнал, что в течение ночи и раннего утра красновские казаки по своей инициативе эвакуировали Царское Село. Поэтому нужно было спешить использовать победу. Я направился выяснять судьбу наших батарей. Оказалось, что они стоят на старых позициях. Я приказал им срочно передвинуться вперед и выбрать себе место по ту сторону Царского Села, в направлении к Павловску. «Есть»,—по-морскому ответил командовавший батареями прапорщик. По пути в Царское я видел массу убитых

казачьих лошадей, лежавших по краям дороги; трупов людей не попадалось, очевидно, их успели убрать. В самом Царском я застал штаб в полной мере функционирующим в своем старом штабном помещении.

За недостатком работников товарищи попросили меня остаться в штабе. Тогда еще не было определенных должностей и строго разграниченных функций, а каждому приходилось одновременно заниматься несколькими делами. Если где-нибудь оказывалось пустое место, то туда автоматически втягивался первый подвернувшийся под руку товарищ, и, несмотря на этот недостаток правильной организации, несмотря на отсутствие у каждого из нас административного опыта, работа спорилась гладко и дружно. Политический инстинкт и революционный энтузиазм подсказывали нам то или иное решение, даже в незнакомых вопросах. И, несмотря на то, что наша работа часто переплеталась до такой степени, что порою несколько товарищей совершенно непроизводительно выполняли одно и то же дело, никаких недоразумений не происходило.

Я затрудняюсь точно классифицировать характер моей работы и круг выполнявшихся мною обязанностей, по размеру не ограниченных никакими пределами полномочий, это не была даже работа начальника штаба. А, между тем, целый ряд товарищей, вопреки основным положениям военной науки, выполнял тогда аналогичные обязанности, приближающиеся к функциям начальника штаба. Пожалуй, вернее всего сказать, что это был штаб с коллективным управлением. Однако вообще очень трудно обозначить определенным военно-техническим термином должность, тогда занимавшуюся каждым из нас.

Если сейчас товарищ расставлял на позициях вновь прибывшую на фронт артиллерию и командовал ею, то в следующий момент он уже проверял пехотные окопы, затем стремглав летел в штаб, и если там в нем была неотложная нужда, то он оставался некоторое время на посту штабного работника и, наконец, во главе какого-нибудь наспех сформированного отряда отправлялся на новый участок фронта, на боевую работу. Каждый член партии тогда буквально кипел и не имел ни одной свободной минуты. Деятельность каждого большевика на фронте была поистине летучей.

Туда, где острее всего ощущалась какая-либо невязка, где образовывалась зияющая прореха, туда сейчас же с молниеносной быстротой бросались большевики и энергичнейшей, напряженнейшей, можно сказать, нечеловеческой работой быстро восстанавливали пошатнувшееся положение.

Днем в штаб приехала из Питера многочисленная делегация, в состав которой, между прочим, входили: видный работник профессионального движения тов. Анцелович, матросы Балтийского флота т. т. Шерстобитов, Любицкий и другие товарищи. Делегация была избрана питерскими рабочими, матросами и солдатами для разъяснения одураченным казакам действительного политического положения в Питере, для внушения им симпатий к целям и задачам борьбы пролетариата и, наконец, для призыва к прекращению братоубийственной гражданской войны. Делегация запросила наше мнение о целесообразности миссии, порученной ей питерскими рабочими. Голоса товарищей, работавших в штабе, раскололись. Одни, указывая на поспешное отступление из Царского Села банд Керенского-Краснова, усматривали в этом признак разложения контр-революционных войск и находили полезным углубление этого морального развала смелой командировкой в лагерь врагов питерской делегации. Другие, напротив, решительно возражали против ее поездки, открыто высказывая свои опасения насчет возможного расстрела делегации, мотивируя свои соображения тем, что, несмотря на существующее разложение, выступившее против нас казачество еще целиком находится во власти своего офицерства, которое, в отместку за поражение в открытом бою, в любой момент будет готово кровожадно расправиться с выборными депутатами питерских рабочих. В ожидании благоприятного момента перехода линии фронта, члены делегации разбрелись по всем комнатам нашего штаба.

Незаметно наступил вечер. Дыбенко, Рошаль и я, в целях объезда позиций и выяснения обстановки на соседнем участке, отправились в автомобиле в Красное Село. Шел проливной дождь и верх нашего автомобиля был поднят. Со всех сторон нас окутывала густая, непроницаемая тьма. Мы проезжали пустынным трактом. Однако, несмотря на ливень, постепенно перешедший в мелкий осенний дождь,

почти на каждой версте нас останавливали свои, революционные патрули внимательно просматривали документы.

В штабе Красного Села я встретил друзей: недавних тюремных сидельцев «Крестов» Сахарова и Сиверса, а также молодого измайловского офицера, с которым 27 октября я ездил в Гатчину, но попал в Царское Село.

Товарищи осветили нам военную обстановку на их участке фронта: в общем, все было спокойно, но положение признавалось ненадежным, ввиду сомнительной стойкости находившихся на позициях войск. Выяснив их нужды и пообещав по возможности удовлетворить их, мы направились в обратный путь.

Стоявшие на постах матросы, красногвардейцы и солдаты петроградского гарнизона часто останавливали наш автомобиль для выяснения личности пассажиров. Сразу бросалось в глаза, что организация сторожевого охранения и напряженная бдительность стоявших на посту часовых были безукоризненны.

По возвращении в Царское Село, мы открыли оперативное совещание для обсуждения плана дальнейших действий. В процессе жарких прений оформились два совершенно определенных мнения. Группа, возглавлявшаяся товарищем Дзевалтовским, стояла против немедленного наступления, полагая, что первоначально необходимо произвести сосредоточение сил и путем разведки выяснить расположение и численный состав неприятеля.

Напротив, Рошаль и я категорически требовали немедленного наступления по горячим следам противника, считая, что главная задача заключается в том, чтобы не дать противнику оправиться и получить свежие резервы. По нашему наблюдению, сил у нас было достаточно и наши массы не только не были утомлены, но, как раз наоборот, в буквальном смысле этих слов, нетерпеливо рвались в бой. Большинство склонилось на нашу сторону и приняло решение о переходе с рассветом в решительное наступление по всему фронту. Совещание закончилось глубоко за полночь. До рассвета оставалось мало времени: всего несколько часов. Нужно было в экстренном порядке проводить в жизнь принятое решение о подготовке наступления.

Хороший обычай боевых приказов в ту пору еще не существовал. Распоряжения отдавались путем устных приказаний или записками, зачастую бегло набросанными карандашом. Наши кронштадтские батареи уже стояли на аванпостах Царского Села. Я готовился выехать к ним, чтобы с рассветом двинуться в поход. Но не успели еще разойтись участники военного совещания, как вдруг в нашу накуренную, до самого потолка заполненную дымом комнату, поспешно вошли, почти вбежали двое молодых людей в военных шинелях. Один из них, вольноопределяющийся с выхоленным барским лицом, отрекомендовался каким-то князем с громкой фамилией. «Гатчино в руках Советской власти. Казаки сдались. Краснов арестован. Керенский бежал. В Гатчине находится Дыбенко» — короткими отрывистыми фразами, весь запыхавшийся от волнения, рапортовал титулованный вольноопределяющийся.

Кто он? Свой или чужой? Сочувствующий или испуганный интеллигент или скрытый белогвардеец? В тот момент это было неважно. Из груди многих присутствующих вырвался радостный вздох облегчения. Все были в каком-то праздничном настроении. На лицах было заметно нескрываемое ликование.

За отсутствием пристанища, мы с Д. З. Мануильским («И. Безработный») направились для ночлега в Александровский дворец. В просторных покоях дворца еще все дышало недавним присутствием семьи Николая Романова. Валялись визитные карточки высокопоставленных особ. Отрывной настольный календарь показывал давно прошедший день. Возможно, что со времени отъезда царской фамилии листки никем не отрывались. Мы легли спать, воспользовавшись диванами, предоставленными в наше распоряжение гостеприимно-услужливым комендантом дворца, назначенным Советской властью.

* * *

Утром 2 ноября, уже с комфортом, в вагоне железной дороги, я возвратился в Питер.

В комнате военревкома застал К. С. Еремеева, Н. И. Подвойского и др. Они спали прямо на стульях.

— Вот и хорошо, что вы пришли,—сказал, подымаясь, тов. Подвойский,—вам придется сегодня принять командование над отрядом моряков и ехать на поддержку московских товарищей. Там еще продолжаются бои и положение, знаете, неважно. Вот Константин Степанович тоже поедет вместе с вами, —после минутной паузы прибавил Николай Ильич.

В комнате С. И. Гусева встретил А. В. Луначарского, который имел встревоженный вид.

— Как я рад вас видеть в живых, Анатолий Васильевич! Ведь, знаете, на фронте ходили упорные слухи о вашей гибели, — обратился я к нему.

Это пустяки, —с волнением ответил тов. Луначарский,— что значит жизнь отдельного человека, когда здесь культурные ценности погибают? В Москве разрушен снарядами храм Василия Блаженного. Это гораздо хуже...

В его словах слышалась неподдельная горечь.

Вечером, я вместе с Ильиным-Женевским был на Николаевском вокзале. Здесь уже находились Еремеев, доктор Вегер (отец), тов. Пригоровский и др. Кроме отряда моряков в Москву отправлялся один из квартировавших в Выборге полков, под командой полковника Потапова. Это был 428-й Лодейнопольский полк. Сводный отряд уже погрузился в вагоны и весь эшелон стоял совершенно готовым к отправке у пассажирского дебаркадера; но еще не был подан паровоз.

Я прошел в вагон третьего класса, где помещался штаб отряда моряков и сообщил гельсингфорсскому матросу-партийцу, тов. Ховрину, о моем назначении в качестве начальника отряда моряков. Он с полной готовностью передал мне «бразды правления». Мы условились, что он будет комиссаром отряда. В ту пору должность военкома не имела никакой ясности. Тогда комиссар понимался просто как ближайший помощник начальника. Когда комиссар был приставлен к беспартийному спецу, он осуществлял не только политический контроль и, в случае разногласий, считал себя вправе вмешиваться в оперативные распоряжения командира. На почве неясных отношений здесь нередко возникали конфликты. Но комиссар при партийном начальнике был совершенно определенной величиной и в полной мере выполнял функции его непосредственного помощника.

Кроме Ховрина, из наиболее видных моряков в отряде состояли: анархист Анатолий Железняков, получивший известность в связи с дачей Дурново и позднее благодаря его случайной роли в роспуске учредительного собрания; кронштадтец, член нашей партии, Алексей Баранов и матрос Берг.

Нужно сказать, что анархизм во флоте почти никакого влияния не имел, и даже те немногие моряки, которые называли себя анархистами, по крайней мере в лице своих лучших представителей, были анархистами только на словах, а на деле ничем не отличались от большевиков. На практике они самоотверженно с оружием в руках отстаивали Советское правительство, и, например, славный, удивительно симпатичный тов. Железняков погиб геройской смертью на Южном фронте в борьбе за рабоче-крестьянскую власть. Анатолий Железняков еще до моего назначения занимал должность адъютанта отряда и после моего вступления в командование по-прежнему продолжал числиться в этом звании. Но фактически он был одним из равноправных членов руководящей группы нашего коллегиального штаба.

К ней присоединялись: А. Ф. Ильин-Женевский и левый эсер, прапорщик Незнамов, вместе с которым в 1912 году мне довелось сидеть в «предварилке»!

Посовещавшись с товарищами-моряками по поводу организационных вопросов, я вышел на платформу. Паровоз еще не был прицеплен, и наш поезд выглядел, как безголовая гусеница. Железнодорожная аристократия, сосредоточенная в «Викжеле», изо всех сил тормозила отправку нашего отряда. Нам даже пришлось арестовать начальника движения и применить репрессивные угрозы по адресу других путейских администраторов. Вдруг ко мне подошел один незнакомый железнодорожник и, отрекомендовавшись машинистом (кажется, Машицким), заявил о своем беззаветном сочувствии пролетарскому делу и объяснил, что задержка с подачей паровоза является результатом саботажа железнодорожников, находящихся под влиянием соглашательского «Викжеля». Преданный революции товарищ с готовностью предложил свои услуги машиниста. «Я берусь достать паровоз. Всю ночь спать не буду, а уж доставлю вас в Москву», — заявил он решительным

тоном, в котором чувствовалась глубокая убежденность. Конечно, я стремительно ухватился за это ценное предложение, выводившее нас из состояния неопределенного и в высшей степени томительного ожидания.

В самом деле, не прошло и одного часа, как впереди нашего состава появился густо дымивший, вполне готовый к отправке паровоз. Едва только сцепка была закончена, как раздался мягкий толчок, и платформа с вокзальными зданиями и железнодорожными пристройками медленно поплыла нам навстречу.

Матросский отряд шел головным. На паровозе находилось двое вооруженных матросов.

С каждой минутой мы приближались к объятой восстанием Москве, где судьба пролетарской революции еще не была окончательно решена. Эта мысль невольно настраивала на воинственный лад. Всем морякам нестерпимо хотелось сломить сопротивление приверженцев буржуазного режима, и, в предвкушении неизбежных боев, разговоры вращались вокруг происходящих революционных событий. Велика была злоба и ненависть всех без исключения моряков против врагов пролетарского строя. Буквально каждый матрос рвался в бой и с огромным, едва сдерживаемым нетерпением ожидал решительной встречи с врагом. Разговоры с моряками поистине доставляли неизъяснимое наслаждение: их каждое слово было густо насыщено бодрым духом непреклонной отваги и борьбы, обвеяно ароматом героической революционной эпохи. Пылкий революционный энтузиазм, безграничная преданность рабочему классу и страстное желание во что бы то ни стало добиться победы, на-ряду с высоко-развитым классовым самосознанием и ясным, правильным чутьем интересов пролетариата и смысла обострившейся политической борьбы,—все это, вместе взятое, создавало из матросов превосходный боевой материал. Недаром в первый период Октябрьской революции до момента сформирования регулярной Красной армии, на всех фронтах республики, отряды моряков на-ряду с фабрично-заводской молодежью, составившей ядро Красной гвардии, были основным оплотом молодой и неокрепшей власти советов.

Отведя душу в разговорах с моряками, я прошел в вагон, где ехали т.т. Еремеев и Вегер. Они представляли собой

наше «начальство», так как стояли во главе всего сводного отряда, состоявшего из моего отряда моряков и еще из 428-го Лодейнопольского пехотного полка, специально вызванного из Финляндии, находившегося под командой военспеца Потапова. Однако наши отношения меньше всего напоминали какую бы то ни было «табель о рангах». Мы представляли собой одну тесную и дружную компанию; мы понимали друг друга с полуслова, все решения принимались сообща. Никто никому не приказывал: каждый сознавал свой партийный долг и без всякого принуждения сам торопился его выполнить как можно скорее и как можно лучше. Не военная субординация, а узы товарищеской солидарности и коллективное управление определяли собой весь строй наших взаимоотношений. Конечно, такая система была возможна только в начальный период кустарного строительства партизанских отрядов, до тех пор, пока, наконец, в гражданскую войну не были втянуты миллионные массы, потребовавшие правильной и четкой организации в строгом соответствии с принципами военной науки.

На каждой станции спешили на телеграф, где производили выемку всех входящих и исходящих телеграмм. Разбором депеш преимущественно занимался К. С. Еремеев, который затем сообщал нам извлеченные этим способом сведения, сколько-нибудь стоящие внимания. В телеграфном отделении на станции Тосно мы таким образом перехватили одну очень важную служебную депешу, сообщавшую о движении от Новгорода к Чудову бронированного поезда. Мы тотчас покинули Тосно, чтобы перехватить его. Но когда наш отряд достиг Чудова, то оказалось, что блиндированный поезд, перейдя с новгородской ветки на Николаевскую жел. дорогу и взяв направление на Москву, уже был далеко впереди. Нами тотчас была отправлена телеграмма в Акуловку и Бологое о задержании вражеского поезда. В то же время нужно было неимоверно торопиться. Перед нами неожиданно выросла новая задача — захвата бронированного поезда, очевидно, спешившего на помощь нашим врагам.

Мы попросили машиниста развить максимальный ход, чтобы скорее настичь неприятеля. Но бронированный поезд

временного правительства также не терял времени. Делая короткие остановки и то лишь на больших станциях, он на всех парах летел в Москву.

* * *

На станции Акуловка, мы получили сведения, что бронированный поезд задержать не удалось, что он укомплектован ударниками, имест при себе ремонтную партию и великолепно снабжен необходимыми ремонтными материалами. Между прочим, тут же открылось любопытное обстоятельство: оказалось, что белогвардейцы в панике удирают от нас. По крайней мере, на вокзале они с тревогой рассказывали, что за ними гонятся 5.000 матросов, которые хотят их перерезать. В действительности, нас, моряков, было только 750 человек. «Скоро ли будет Москва?»—в волнении спрашивали они железнодорожников. Тут же, в Акуловке, какой-то станционный служащий, повидимому, «викжелевец», с нескрываемым раздражением жаловался мне, что наша погоня за броневиком прерывает нормальное движение поездов и сбивает заранее составленный график пути. Я невольно улыбнулся этому наивному брюзжанию по поводу того, что революция не укладывается в график движения Николаевской железной дороги, и решительно потребовал ускорить отправку нашего эшелона.

Уже в темноте мы прибыли в Бологое. Здесь, ввиду нам личия больших железнодорожных мастерских отношени- к нашему эшелону было гораздо более благожелательно. Нае сообщили, что белогвардейский броневик был в Бологом задержан, но сравнительно недавно прорвался, свернув на Полоцкую ветку. Посовещавшись, мы единогласно решили продолжать наше преследование, тем более, что дистанция между обоими поездами все время заметно сокращалась. Бологовские железнодорожники приложили все усилия, чтобы не задержать наш состав. Почти без остановки на этой крупной узловой станции, мы были переведены на Полоцкую ветку и тронулись дальше. Чсрез несколько верст т. т. Ерсмеев, Вегер и другие сошли на одном полустанке и организовали здесь полевой штаб. Мы продолжали двигаться по следам неприятельского броневика. Уже было поздно. Стояла звездная ночь. Мы шли по-боевому, с потушенными огнями. Для без-

опасности паровоза он был прицеплен в самом конце, и, таким образом, подталкивал наши вагоны сзади. В голове состава были поставлены две открытых платформы с установленными на каждой из них двумя 75-миллиметровыми морскими орудиями. Комендоры-матросы, в напряженном ожидании боя, словно застыли у заряженных пушек. Мы медленно шли на сближение. Справа от полотна виднелись повисшие книзу ряды телеграфных проводов. «Ага, мерзавцы, решили оборвать нашу связь со своим тылом»,—промелькнуло у меня в голове. Было заметно, что толстая проволока обрезана мастерски, с полным знанием дела и с помощью специальных инструментов. Так мы достигли четырнадцатой версты от Бологого.

Стоя на передней орудийной площадке и зорко всматриваясь в окружающую со всех сторон темноту, я вдруг замечаю, что впереди, на повороте, чернеет какой-то длинный бесформенный силуэт. Я даю машинисту сигнал о замедлении хода. Наш поезд приближается к злополучному месту все тише, все медленнее. Наконец, не доходя нескольких сот шагов до неопределенного силуэта, который, наконец, приобретает совершенно отчетливые контуры поезда, я приказываю остановиться. Несколько человек добровольно вызываются пойти на разведку. Я составляю делегацию из трех человек и отправляю их в лагерь противника, а сам с нетерпением жду подхода наших главных сил. Мы, находившиеся в авангарде на своем импровизированном броневике, представляем собою незначительную горсть людей. Отряд моряков, следующий за нами другим эшелоном, застрял где-то позади. Его отсутствие заставляет нас волноваться. Наконец, возвращаются. Оказывается, что солдаты из расположенного впереди села Куженкина на большом расстоянии разобрали путь и тем самым преградили путь блиндированному поезду ударников. Он оказался в ловушке, так как сзади него стоял поездной состав, сформированный из одних классных вагонов, где помещалась команда броневика. Наконец, дальше вплотную подошел наш бронированный поезд, состоявший, как было сказано выше, из двух открытых платформ, вооруженных четырьмя орудиями и шестью пулеметами. Вместе с ними приходит делегация от ударников в составе двух солдат во главе

с офицером. Я провожаю делегацию в вагон и вступаю с ней в «дипломатические» переговоры. Вся наша задача сводится к тому, чтобы в ожидании матросского отряда выиграть время и до его прибытия не открывать военных действий. Едва выговаривая слова от волнения, делегаты ударников, спеша и перебивая друг друга, рассказывают о том, что их поезд идет с Гатчины на германский фронт, так как он решил принять «нейтралитет» и воздержаться от участия в гражданской войне. Таким образом выясняется, что это тот самый броневик, который участвовал в боях под Александровской и нанес нам серьезные потери. Вероятно, его снарядом была убита и Вера Слуцкая. Ударники рассказывают, что их отправили на царскосельский фронт под предлогом усмирения беспорядков «черни» и хулиганов. «Но когда мы разглядели, что против нас идут такие же солдаты, как и мы сами,— говорит офицер,—когда мы увидели солдатские шинели, то сразу поняли, что введены в заблуждение и решили отправиться обратно на фронт, чтобы продолжать войну с немцами». Однако выбор Николаевской железной дороги, как кратчайшего пути между фронтом и Гатчиной, кажется нам подозрительным, мы без труда разоблачаем эту версию, хотя ударники и пытаются устранить явное противоречие весьма натянутым и мало убедительным объяснением, что около станции Дно был разобран путь, вследствие чего им якобы волей-неволей пришлось повернуть на Старую Руссу и Новгород. Переходя к конкретным предложениям, ударники просят только одно: предоставить им свободный пропуск на фронт для борьбы с немцами. На словах я не противоречу. Напротив, я говорю, что им, вероятно, будет дана возможность вернуться в ставку, куда, по их словам, они направлялись.

Тем временем, к нашей неописуемой радости, подходит матросский отряд. Обстановка резко меняется. Я немедленно даю морякам приказ о выгрузке из вагонов и затем, захватив с собой тов. Берга и еще одного моряка, отправляюсь вместе с делегатами ударников к их броневику. Недалеко от него нас окликает стоящий на часах ударник. Я с любопытством осматриваю поезд. Он состоит весь из классных вагонов. «Ого, хорошо живется ударникам», невольно напрашивается сравнение их эшелона с нашим, где только штаб

занимает вагон третьего класса, а все остальные товарищи-моряки помещаются в простых, лишенных комфорта, теплушках.

Наконец, мы поравнялись с боевыми вагонами. Это были роскошные, оборудованные по последнему слову техники, обшитые толстой броней гигантские «черепахи»; из их отверстий выглядывали жерла двух трехдюймовых орудий и шестнадцати пулеметов австрийской системы. Посреди двух грозно возвышавшихся бронированных вагонов стоял зашитый в броню паровоз. Разумеется, открытое сражение в равных условиях с таким чудовищем-левиафаном было нам не под силу. Он разнес бы в щепы наши кустарно вооруженные орудиями товарные вагоны-площадки. Возвращаюсь обратно к отряду, где меня с нетерпением ждут. Ударники не чинят никаких препятствий. Вообще, среди них чувствуется большая растерянность.

Ввиду перерезанных проводов, связи со штабом, т.-е. с т.т. Еремеевым и Вегером, у нас нет. Поэтому приходится самостоятельно обдумывать вопрос: что делать дальше? Разумеется, решающее значение имело то обстоятельство, что солдаты воинской части, расположенной в селе Кузенкино, получив предупреждение о приближении ударного броневика, на протяжении нескольких верст сняли рельсы. Значит, вперед он проскочить не может, а сзади, непосредственно примыкая к его последнему вагону, стоят наши «броневые» площадки с наведенными на него дулами 75-миллиметровых пушек. Повидимому, это невыгодное положение прекрасно вооруженного белогвардейского броневика, очутившегося между двух огней, и привело в панику его личный состав. Матросы настаивают, что броневик ни в коем случае нельзя выпускать из рук. Я вполне с ними соглашаюсь. Упустить такую добычу и предоставить броневику возможность бесчинствовать в другом месте — было бы непростительной ошибкой.

Тов. Берг вызывается итти на «дипломатические» переговоры. Я придаю ему еще двух ребят, и «мирная делегация» готова. Я напутствую Берга указаниями: его задача состоит в том, чтобы выступить перед солдатской командой броневика и вынудить ее к сдаче. В случае упорства ударников, следует предъявить ультиматум, что если они не сложат

оружия, то через полчаса мы открываем огонь, и броневик будет захвачен с бою. «О, я им покажу. В таком случае придется пугнуть их террором»,—весело басит Берг и от избытка боевого чувства засучивает правый рукав своего бушлата, обнажая сильную, жилистую руку. Мы смеемся и провожаем Берга, пока, наконец, его коренастая, приземистая фигура не пропадает в ночной темноте. Я возвращаюсь в вагон и от усталости вытягиваюсь во весь рост на деревянной скамье третьеклассного вагона, положив голову на колени одного из товарищей. Едва я успеваю погрузиться в глубокий сон, как вдруг пробуждаюсь от сильного стука. Оказывается, это Алексей Баранов от радости пустился в пляс. Только что вернувшийся Берг, взволнованно разглаживая усы, усталым, охрипшим голосом рассказывает, что белые приняли ультиматум и сдались.

Мы стремительно бросаемся к ударному броневику. Тотчас разоружаем всех офицеров и объявляем их арестованными. Затем, нагибаясь в дверях, мы входим внутрь бронированных куполов и назначаем свою прислугу к орудиям и пулеметам. Желающих много—каждому лестно работать на таком прекрасном броневике. Поражаемся совершенством его технического оборудования. Особенное любопытство привлекает локомотив, весь одетый в броню, словно рыцарь в средневековые латы. Выясняется, что командир бронепоезда и часть офицеров, тотчас после решения солдат о добровольной сдаче, трусливо бежали в лес. Они избрали плохую долю. Почти все бежавшие офицеры были переловлены солдатами Куженкинского гарнизона и расстреляны ими, тогда как все, беспрекословно сдавшиеся на милость победителей, были под конвоем отправлены в Питер, в распоряжение военно-революционного комитета, и их жизнь была вне опасности. Составлявший команду бронепоезда ударный железнодорожный батальон насчитывал около 150 человек, из них 30 офицеров.

Уже светало, когда, присоединив к нашему поезду захваченный трофей, мы поехали назад в Бологое. На том полустанке, где расположился наш штаб, захватили т.т. Еремеева, Вегера и других. Они от души нас поздравляли. До Бологого я ехал в броневой коробке захваченного удар-

ного поезда. Товарищи-моряки производили учет винтовок, обнаруженных в огромном количестве. На этом же перегоне к нам в бронированный вагон вошла группа матросов нашего эшелона и преподнесла мне в подарок оружие— красивую шашку в серебряных ножнах, захваченную, как трофей, в купэ бежавшего командира бронепоезда. Недавние подчиненные беглецы рассказали, что эту шашку он получил лично от Николая за то, что, однажды, стреляя из орудия, сбил немецкий аэроплан.

В Бологом мы стояли недолго. Нужно было отправить пленных белогвардейцев в Питер и переменить паровозы для дальнейшей поездки в Москву. Прекрасно настроенные железнодорожники Бологого снова постарались нас не задержать. Для того, чтобы лучше выспаться, я выбрал себе одну из теплушек, где топилась железная печка, и улегся вповалку с товарищами. В Вышнем Волочке я был разбужен: мне сообщили, что меня вызывает к телефону из Питера тов. Рязанов. Я прошел к железнодорожной телефонной будке. Громко, ясно и медленно выговаривая каждое слово, тов. Рязанов передал мне последние политические новости, касавшиеся московских событий. Он сообщил, что между советскими войсками и белой гвардией заключено соглашение, на основании которого военные действия прекращаются и белая гвардия разоружается. Было ясно, что Октябрьская революция восторжествовала не только в Питере, но и в Москве. Я чуть не крикнул «ура» в телефонную трубку. Оторвавшись от нее, я побежал в поезд, чтобы сообщить товарищам радостную весть. Все воодушевились, хотя еще было неясно: насколько прочно закреплена в Москве наша победа и в какой степени устранена перспектива возобновления дальнейших боев на московских улицах.

На станции Клин, уже поздно вечером, кто-то в военной шинели торжественно оповестил нас, что командующим войсками Московского округа назначен солдат Муралов. Хотя никто из нас в то время его еще не знал, эта весть вызвала всеобщее ликование. Доверие внушало не имя Муралова, а его солдатское звание. Медленно подвигаясь вперед, только на рассвете мы достигли Москвы.

* * *

Едва наш поезд успел подойти к пассажирской платформе Николаевского вокзала, как мне доложили о происшедшем несчастном случае: один матрос, выйдя из вагона, пошел в город, но недалеко от вокзала, на мосту, вследствие неосторожного обращения, у него взорвалась ручная граната и он был разорван на куски. Мы были искренно огорчены этой первой случайной жертвой на улицах Москвы. Москва имела мирный, спокойный вид. Только многочисленные кучки прохожих, горячо обсуждавших политические вопросы, выдавали необычность положения. Зал первого и второго класса был переполнен народом. Заняты были не только все столики, но даже в проходах и вдоль стен, прямо на полу, сидели и лежали многочисленные пассажиры. В буфете стулья имели свою очередь кандидатов, стремившихся тотчас занять освободившееся место. Я подсел к столику, за которым уже сидели: Еремеев, Вегер, Потапов. Я потребовал себе чаю, и старорежимный официант проворно скрылся за прилавком, на котором мирно красовались огромные розовые окорока ветчины. Одним словом, по всему было видно—и жирные окорока это безмолвно подтверждали,—что нормальная жизнь вступает в свою колею. Только обилие пассажиров, вынужденных в ожидании своего отъезда ночевать на вокзале в ожидальной комнате и даже в буфете, служило красноречивым свидетельством долгого перерыва в движении поездов.

Нужно было отправиться за инструкциями в Московский военно-революционный комитет. Никаких средств передвижения не было: пришлось итти пешком. На Мясницкой бросились в глаза обильные следы пуль, изрешетивших стены и окна домов. Еще большую картину разрушения представлял собою «Метрополь», где виднелись следы меткого попадания снарядов, где были выбиты целые рамы, снесены карнизы и повреждены наружные мозаичные украшения. Проходившие мимо меня какие-то москвичи услужливо пояснили, что во время минувших боев в «Метрополе» засели юнкера, которых пришлось «разносить» из орудий.

В военно-революционном комитете, помещавшемся в здании Московского Совета, мне прежде всего попался на

глаза тов. В. П. Ногин, разговаривавший с посетителями в большой и светлой канцелярии, одновременно служившей приемной. В комнате заседаний комитета находился тов. Г. И. Ломов (Оппоков), который выполнял всю текущую работу. Ему непрестанно приходилось выбегать в соседнюю канцелярию, чтобы отдать для переписки на машинке ту или иную заготовленную им бумажку. Я вынес впечатление, что он в Москве производил организационную работу, аналогичную той, которую в Питере, в первые дни революции, нес на себе В. А. Антонов-Овсеенко. Тов. Ломов имел крайне утомленный вид—на его лице явственно отпечатлелись следы бессонных ночей. Однако эта физическая усталость ничуть не отражалась на работе, которая в его руках спорилась быстро и аккуратно. Тов. Ломов без всякой задержки выдал мне все нужные документы. Из военревкома я направился на Пречистенку, в штаб Московского военного округа. Вне очереди меня провели в кабинет Муралова. «А, здравствуйте, товарищ»,—необычайно приветливо встретил меня Н. И.— «Вы—Раскольников-Рошаль?»—был его первый вопрос. Мне пришлось дать пояснения, что я только Раскольников, а Рошаль—это мой большой друг, с которым мы вместе работали в Кронштадте и в одинаковой мере подвергались неистовой травле буржуазной печати, сделавшей из нас братьев-близнецов.

Тов. Муралов выразил радость по поводу приезда нашего отряда. Знакомя меня с политическим положением, создавшимся в Москве, он указал, что несмотря на победу советских войск, в городе еще осталось много враждебных нам элементов и не исключена возможность новой вспышки белогвардейского восстания или, что еще вероятнее, хулиганского погрома. Мы условились, что вечером пойдем на заседание военно-революционного комитета, чтобы наметить дальнейшие задачи нашего отряда. При выходе из кабинета Муралова, в его приемной, где ожидало множество посетителей; главным образом, бывших офицеров, я встретился с тов. А. Я. Аросевым, ближайшим помощником Муралова по военной работе. Я знал его еще по апрельской партийной конференции и по Кронштадту, куда он приезжал незадолго до июльских дней. Он взял меня под руку и повел к себе в кабинет. В его приемной стояла еще более длинная

очередь просителей, чем у Муралова. Большинство бывших офицеров, желавших его видеть, приходили за новыми советскими документами, за письменным разрешением на право ношения оружия или с просьбой об отпуске. Аросеву часто приходилось прерывать прием, так как от времени до времени адъютант штаба приносил ему на подпись увесистые груды бумаг и удостоверений. Кроме тов. Аросева, выполнявшего техническую штабную работу, ближайшими помощниками Н. И. Муралова состояли: по политической части—старый партийный работник тов. Мандельштам («Одиссей») и по войсковым передвижениям—молодой офицер, левый эсер Владимирский, занимавший должность начальника военных сообщений. Для отдельных поручений Муралов использовал тов. Чиколини. Были еще и другие ответственные работники в его штабе.

С Пречистенки я возвратился к нашему эшелону. Товарищи-моряки жаловались на тяжелые условия жизни в теплушках и просили перевести их в город. Ховрин, Железняков и я пошли искать помещение. Недалеко от вокзала Николаевской железной дороги, у Красных Ворот, мы наткнулись на огромное трехэтажное здание «Института для благородных девиц». Мы вошли в канцелярию и потребовали к себе кого-либо из лиц административного персонала. Вскоре к нам вышла начальница, окруженная свитой классных дам. Они все имели крайне встревоженный вид. На их вопрос: «Что вам угодно?» мы отрекомендовались представителями прибывшего из Питера матросского отряда и заявили, что, нуждаясь в помещении, хотим осмотреть помещение «института». Дамы запротестовали, а начальница, худая и невысокая пожилая женщина, с проседью в волосах, все время повторяла: «Но ведь, у нас девочки.... у нас девочки». Мы успокоили волновавшуюся старуху, что институтки могут спокойно оставаться в своем помещении, а мы займем только свободные комнаты первого этажа. «Мы будем вас защищать»,—не без гордости произнесли сопровождавшие меня матросы. Классные дамы отнеслись к этим словам с определенным, ясно выраженным недоверием. Мы приступили к осмотру. Здание оказалось чрезвычайно большим. В первом этаже помещались: красивый и просторный вестибюль, канцелярия, преподавательская

и другие служебные комнаты. Во втором этаже находился колоссальной величины актовый зал и классы для занятий. В третий этаж мы даже не поднимались: было ясно, что он не понадобится. Мы заявили, что на первых порах ограничиваемся занятием первого этажа. Начальница и классные дамы в отчаянии даже не пробовали протестовать.

В короткое время весь наш отряд был переведен в это здание. Удалось раздобыть только несколько кроватей, остальным пришлось спать на полу. Через пару дней нам все же понадобилось оккупировать второй этаж, главным образом, ради его большого зала, моментально превращенного в общежитие.

Вечером я присутствовал на заседании Московского военно-революционного комитета. Здесь участвовали: М. Н. Покровский, Г. И. Ломов (Оппоков), Г. А. Усиевич и много других товарищей. Одним из видных руководителей военно-революционной организации в Москве был тов. Покровский. По каждому вопросу он обстоятельно и деловито высказывал свое мнение, которое в большинстве случаев принималось собранием в основу решения. Все свои мысли Михаил Николаевич облекал в законченные литературные периоды, и эта ясная, строго логическая формулировка чрезвычайно облегчала взаимное понимание и весь ход работ комитета. Наш вопрос был разрешен очень скоро. Москвичи, приветствуя прибытие питерского отряда, постановили задержать его у себя для ликвидации ожидавшихся белогвардейских вспышек восстания и для борьбы с погромно-уголовным бандитизмом.

На следующий день мне снова пришлось быть в штабе округа. По сведениям штаба, в большом Чернышевском переулке, непосредственно примыкающем к зданию Московского Совета, скрывалась тайная квартира крупной бело-офицерской организации, располагавшей складом оружия. Отряду моряков было предложено произвести в этом квартале повальный обыск. ЧК тогда еще не успела возникнуть и, за отсутствием разделения труда, чекистские функции выполнялись военными отрядами. В строгом порядке, в походном строю, мы подошли к месту назначения и оцепили подозрительный квартал. Обыск начался с того конца переулка, который наиболее отдален от Московского

Совета. Я лично руководил отрядом, совершавшим все обыски. Первый дом, оказался церковным домом, в котором обитало со своими семьями духовенство соседней приходской церкви. Здесь обыск прошел благополучно и быстро, без всяких инцидентов.

В подъезде следующего дома, на стекле входной парадной двери было вывешено печатное извещение, гласившее, что весь дом находится под защитой шведского посольства. Этот клочок бумаги, возможно прикрывавший собой белогвардейскую организацию, произвел на нас магическое действие, на которое он и был рассчитан. Мы миновали этот небольшой каменный дом, предусмотрительно укрывшийся под сень интернациональных законов, и перешли к его менее благополучному соседу.

На нашем пути теперь стоял одноэтажный дом, занимавшийся редакцией и конторой «Русских Ведомостей». В помещении этой либерально-профессорской газеты мы застали нескольких почтенных старцев благообразной наружности, от которой издали пахло лампадным маслом кадетского «народолюбия».

Громко стуча прикладами об пол, наши морячки к неподдельному ужасу либеральных народников, продефилировали по длинному ряду неуклюжих и полупустых комнат, заглядывая во все углы, роясь в шкафах и ящиках. Только за дверью одной маленькой комнаты, которую нам пришлось взломать, так как она была заперта, мы нашли винтовку устарелой системы. Хитрые старички из «Русских Ведомостей» оказались настолько дальновидны, что заблаговременно успели подготовиться и даже очистить от бумаг все ящики письменных столов. Естественно, что нам не посчастливилось найти здесь ничего интересного.

От редакции «Русских Ведомостей» нам предстояло перейти к повальному обыску многоэтажного каменного дома. Мы пригласили председателя домовой организации присутствовать во время обыска. Этот дом состоял, главным образом, из богатых, роскошно меблированных квартир. Здесь нам удалось собрать значительное количество винтовок, револьверов и охотничьих ружей. Относительно последних мы не имели никаких указаний и отбирали их «на всякий случай», предлагая владельцам на следующий день

зайти к нам для обратного их получения, в случае согласия военно-революционного комитета. Обыск этого дома продолжался несколько часов и порядочно нас всех утомил. По окончании его, на квартире председателя домовой организации мы составили акт, уложили отобранное оружие в корзину и наложили печать. Некоторые жильцы рассчитывали на обратное получение своего оружия в целях организации домовой охраны. Но эти надежды были тщетны. Между прочим, на другой день председатель домового комитета явился к нам, чтобы выразить благодарность общего собрания жильцов этого дома за добросовестное проведение обыска. Очевидно, эти господа, составив себе представление о матросах на основании фантастических вымыслов буржуазных газет, предполагали, что наш отряд не оставит камня на камне от всей их буржуазной обстановки. Нами было отвечено, что мы только выполняли свой долг и никакой благодарности ни с чьей стороны не заслужили. Через несколько дней, по заданию штаба округа, нашему отряду моряков была поручена организация облавы на Хитровом рынке.

Товарищи-моряки жаловались на отсутствие чистого белья и просили переменить износившуюся обувь. Меня направили к тов. Оболенскому (Осинскому). Я нашел его в одном из казенных зданий на Садовой. Без всякой проволочки он выдал ордер на получение всего необходимого для нашего отряда. На автомобиле мы съездили в Замоскворечье, в огромные интендантские склады и беспрепятственно получили белье. Сапоги пришлось получать на Ходынке, где в большом сарае, прямо на полу, лежали тысячи пар высоких солдатских сапог. В другой раз мне с Потаповым понадобились деньги для наших отрядов. После ряда мытарств, советские чеки были, наконец, признаны полусаботажничавшими чиновниками, и в казначействе, на Воздвиженке, нам удалось получить нужную сумму.

Однажды мне довелось увидеть странное шествие: по улицам Москвы медленно двигалась похоронная процессия; целая вереница нарядных катафалков с роскошными балдахинами сопровождалась крестным ходом и облаченным в белые ризы духовенством. За гробами следовали юнкера,

офицеры и хорошо одетая буржуазная публика. Это хоронили погибших белогвардейцев. В Москве вообще было поступлено оригинально: в один день хоронили наших, а на следующий день—юнкеров. Разумеется, белая гвардия не преминула устроить из похорон своих жертв религиозно-церковную и контр-революционную демонстрацию.

В течение короткого пребывания в Москве наши матросы все же успели устроить «Митинг моряков». От руки были разрисованы аршинные плакаты, и тов. Берг лично ходил расклеивать их по углам улиц. Место для митинга было выбрано не совсем удачно: на Театральной площади. Эта идея принадлежала тов. Бергу, который со смаком предвкушал, как в центре буржуазного квартала матросы в своих речах будут «громить буржуазию».

Рабочих, в самом деле, пришло немного. Зато проходившая мимо богато одетая публика была привлечена несовсем обычным на московских площадях зрелищем матросов-ораторов. Выступавшие товарищи разъясняли значение пролетарской революции, после чего со всей страстью обрушивались на саботаж интеллигенции. Вероятно, многие из собравшихся слушателей были задеты за живое место, но никто из них не подал виду. Публика стояла молча и по окончании речей выражала свое одобрение довольно шумными аплодисментами. Особенно мощно рычал на всю площадь сильный бас тов. Берга. Я также выступал в этот день.

«Митинг моряков» прошел без всяких инцидентов. Буржуазные зрители были настолько терроризованы одним видом красных матросов, что никто из них даже не осмелился вставлять недоброжелательные реплики.

Вскоре стало известно, что Каледин собирает на Дону казачьи полки для выступления против Советской власти. На заседании Московского военно-революционного комитета было вынесено решение об отправке нашего отряда на юг—на борьбу с белогвардейским казачеством и на выручку Донецкого угольного бассейна. В большом актовом зале «института для благородных девиц» был собран на митинг весь отряд моряков. Выступали: т. т. Павлуновский, Ховрин и я.

Товарищи с огромным энтузиазмом отнеслись к идее похода. К сожалению, я не мог выступить вместе с отрядом,

так как только что получил телеграмму, срочно вызывавшую меня в Питер для работы в Морском комиссариате. Поэтому я предложил отряду выбрать командный состав. Начальником отряда был единогласно выбран тов. Ховрин, комиссаром — тов. Павлуновский и начальником штаба — тов. Ильин-Женевский.

Отряд лихорадочно приступил к сборам в далекий поход. Месяц спустя, уже в Питере, я с радостью узнал, что он геройски принял боевое крещение в районе Белгорода, Курской губернии.

Я выехал в Питер, чтобы принять участие в строительстве Красного флота. Начинался новый этап пролетарской революции. Мы вступали в эпоху гражданской войны...

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.

И.

К.



ОГЛАВЛЕНИЕ.

Материалы, справочники и др.

	р. к.
Соц.-демократические издания. (Указатель соц.-демокр. литературы на русском языке, 1883—1905 г.г., под редакцией Л. Б. Каменева)	— 30
РКП в постановлениях ее съездов и конференций, под редакц. Л. Б. Каменева.	1 25
Л. Б. Каменев. Отчет РСДРП VIII Межд. Соц. Конгрессу в Копенгагене. Перевод с французского	— 45

Новые книги Истпарта, вышедшие за последние месяцы.

РКП в постановлениях ее съездов и конференций, под редакцией Л. Б. Каменева с дополн. и примечан. М. Лядова. 2-е изд.	2 —
„Вперед“ и „Пролетарий“, вып. I, II, III и IV	3 —
Парфенов, П. Гражданская война в Сибири	1 —
Якова Ено, В. Записки партизана	1 —
Бош, Е. Год борьбы. 1917—1918 г.г. на Украине	1 80
Волнович, И. Начало социалистич. рабочего движения в бывшей русской Польше.	1 50
Техника большевистского подполья. 2-е издание. Оба тома в одной книге	2 25
Протоколы Петрогр. Общегородской и Всеросс. Конференции РСДРП (б) в апреле 1917 г.	— 85
Борец за освобожд. работницы—К. Н. Самойлова. (Сб. воспом.)	— 40
Медведева, С. Герой революции (товарищ Камо)	— 20
„Пролетарская Революция“. Ежемесячный журнал. Вышли книги 1—37	— —
Памятник борцам пролетарской революции, погибшим в 1917—1921 г. г. 3-е дополненное издание	4 50

Находятся в печати.

„Протоколы IV Объединительного съезда РСДРП.
„Пролетарий“, вып. V и VI.
„Новая Жизнь“.
„Искра“.
Как родилась партия большевиков. (Сборник).
И. В. Бабушкин. Автобиография.
Революция и РКП в материалах и документах. Т. III (1905 г.) 2-е издание.
„ „ „ „ „ Т. IV (1906 г.).
Рябинский, К. Революция 1917 г. Хроника, т. V (октябрь).
Антонов-Саратовский, В. П. Под стягом пролетарской революции.
Шаповалов, А. И. По дороге к марксизму, ч. III.
Раскольников, Ф. Кронштадт.
Шляпников, А. 17-й год. Книга 2-я.

Готовятся к печати.

Протоколы I—XIII съездов и всех конференций и совещаний всероссийского характера.
Революция 1917 г. Хроника, т. VI (ноябрь—декабрь).
Революция 1918 г. (Хроника).
Революция и РКП в материалах и документах. Т.т. 8—10 (Октябрьская Революция).
Сборники памяти Я. М. Свердлова, В. П. Ногина, М. С. Урицкого, В. В. Воровского и Е. Б. Бош.

Адрес Истпарта: Москва, Старая площадь, 4. Тел. 2-50-71.

---

2 руб.



